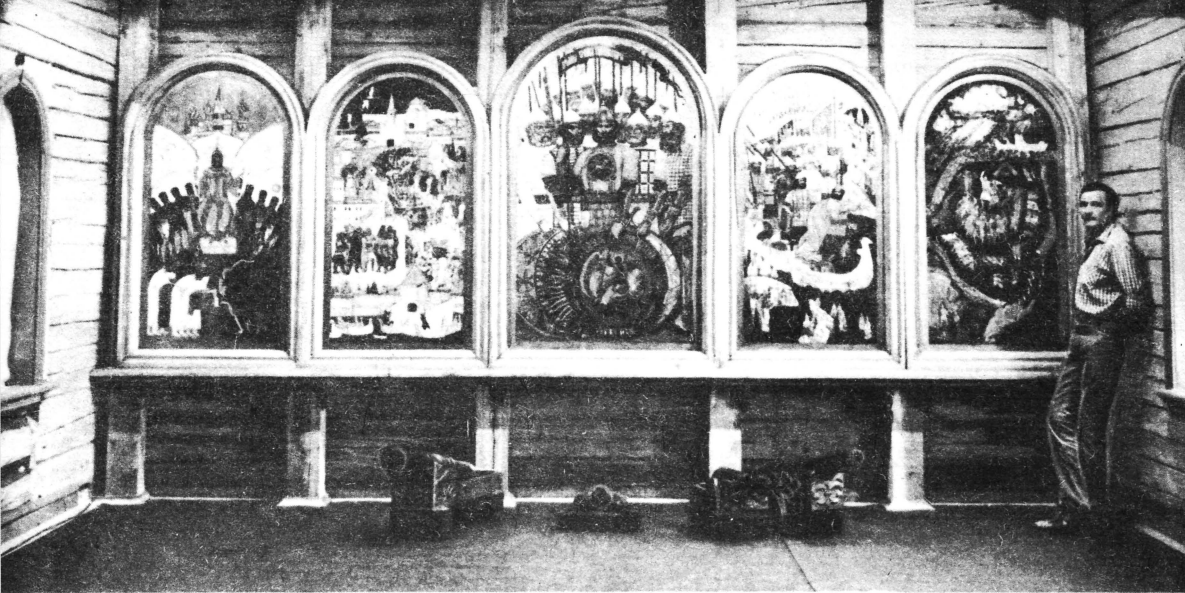




УРАЛЬСКИЙ

Следопыт

7 '90



ПОХОД ЕРМАКА.
 (Слева направо:
 «Посольство Ермака
 к Ивану IV»,
 «Проводы в Чусовском
 городке»,
 «Ермак с дружиной»,
 «Ермак на Чусовой»,
 «Гибель Ермака»)
 1986—1987 гг.,

НА ТИХОМ БРЕГЕ...

Все начинается с детства: неосознанно, постепенно, как снежный ком, накапливаются впечатления, они заполняют тебя, дополняются знаниями, осмысливаются, растут, переполняя все твое существо, и настойчиво требуют выхода наружу.

Вот так случилось и с моей темой Ермака — все началось с народной песни «Ревела буря...». Она магически притягивала, будила воображение, заставляла содрогаться; захватывала таинственным, суровым, первозданным, дремучим богатырским образом, манила в неведомую даль, будоражила, затем — открытия: школьный учебник — история о покорении Сибири, затем — Рылеев — стихи о гибели Ермака — вот она, песня, оказывается, сочинил ее поэт-декабрист Рылеев! А все считают ее народной! Почему?.. У меня родилось жгучее желание написать картину «ЕРМАК НА ЧУСОВОЙ», и то, что экспедиция начиналась в наших краях, тоже было для меня открытием!

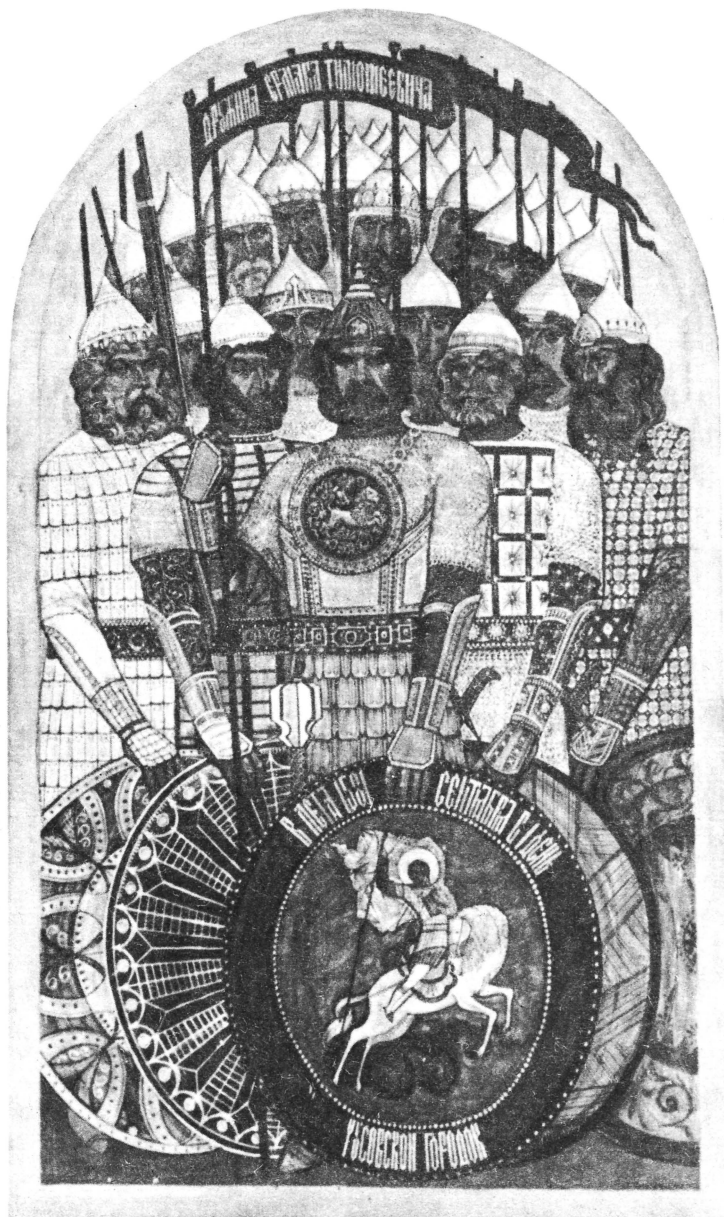
Однажды основатель и создатель спортшколы «Огонек» и школьного музея Ермака, беззаветно любящий свое дело и прививающий детям любовь к родному краю и народному наследию, заслуженный работник культуры Леонард Дмитриевич Постников предложил мне для их музея написать портрет, либо картину, об их земляке. Радости моей не было границ: вот где, наконец-то, я смогу выложить все то, что я вынашивал в себе все эти долгие годы!

Могучей глыбой всплыл образ Ермака, все чаще и настойчивей требовал своего воплощения, облекаясь в живую форму, и я буквально выплеснул на полотно все то, что переполняло мое существо!

Это было в 1985 году, 5—6 августа, в день 400-летия со дня гибели Ермака. Совпадение поразило меня, когда Леонард Дмитриевич сообщил мне об этой дате во время работы.

Было торжественное открытие портрета, собрался народ. Это воодушевило меня, и я не мог остановиться — «огонек» разгорелся в пламя; мне захотелось до конца, во всю силу, спеть песню о славных героях-земляках, которые прославили уральский край, землю русскую своими ратными подвигами, не пошадив своих жизней, и я приступил к циклу работ «Поход Ермака».

Сложной была задача: хотелось конкретные образы людей, овеванных легендами, изобразить такими, какими их видит народ, причем народными изобразительными средствами в традициях русской иконописной школы местного, строгановского письма. Я сам, вручную, перетирал на яичном желтке краски, сам наносил левкасный грунт на липовые доски по 8—10 слоев, просушивая и полируя каждый. Порой целыми сутками не отрываясь, работал от зари до зари, до изнеможения, по многу раз переделывал каждый кусок полотна, добываясь нужного звучания красок и образов, представлял живыми персонажи картин, любил их, жил с ними, восхищался их мужеством и отвагой, и хотелось, чтобы зритель поверил в моих героев так же, как я, и полюбил бы их.



УРАЛЬСКИЙ

Следопыт



7 '90

В НОМЕРЕ:

А. Моисеев МИАССКИЕ ЭКСЫ	2
Г. Иоффе БЕЗУМСТВО ХРАБРЫХ — МУДРОСТЬ ЖИЗНИ! КРАЕВЕДЧЕСКИЙ БУМЕРАНГ	9 10
В. Киеня, С. Михалёв НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОГРАФ ГОРЬКОГО	12
Л. Осинцев ШАДРИНСКИЙ БУЛЬВАР	13
А. Чечулин И ОСЕНИ БЛИЗЯТСЯ СРОКИ. Стихи	14
Н. Березовский ПОБЕГ. Повесть. Окончание	15
С. Ильин ПЕСНЯ О НЫРОБСКОМ УЗНИКЕ	25
ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ «АЭЛИТА»	
Клф	28
В. Михайлов НОЧЬ ЧЕРНОГО ХРУСТАЛЯ. Повесть. Окончание	29
А. Хакимов МОРСКОЙ ПАУК	55
А. Рыжов ПРАЗДНИК ЛЕТА КРАСНОГО	56
Э. Молчанов НА ТРОПАХ МАНЬЧЖУРИИ	57
В. Дебердеев Ф-1: ЗНАКОМЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ	59
П. Петухов ВЕРИТЬ ЛИ ВЕРЕ ПРОКОФЬЕВНЕ!	60
В. Калмыков ОТКРЫВАЯ НЕБА КРАСОТУ	62
Э. Берроуз ТАРЗАН — ПРИЕМЫШ ОБЕЗЬЯНЫ. Продолжение	65
О. Поляков ПАРАД МЕЛОДИЙ	77
МИР НА ЛАДОНИ	77
Б. Случанко ОЖЕРЕЛЬЕ КОРОЛЕВЫ И ФРАНЦУЗ ИЗ ФЕОДОСИИ	78
А. Семенов ЭКЗОТЫ НА ОКНАХ	80

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЖУРНАЛ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА

ОРГАН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР
СВЕРДЛОВСКОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
И СВЕРДЛОВСКОГО
ОБКОМА ВЛКСМ

ИЗДАЕТСЯ
С АПРЕЛЯ 1958 ГОДА

СВЕРДЛОВСК
СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Редакционная коллегия:

Станислав МЕШАВКИН
(главный редактор),
Евгений АНАНЬЕВ,
Виктор АСТАФЬЕВ,
Виталий БУГРОВ,
Муса ГАЛИ,
Юний ГОРБУНОВ,
Герман ИВАНОВ
(заместитель главного редактора),
Сергей КАЗАНЦЕВ
(ответственный секретарь),
Владислав КРАПИВИН,
Юрий КУРОЧКИН,
Давид ЛИВШИЦ,
Николай НИКОНОВ,
Олег ПОСКРЕБЫШЕВ,
Анатолий СЕМЕРУН,
Константин СКВОРЦОВ,
Аркадий СТРУГАЦКИЙ,
Юрий ШИНКАРЕНКО

Художественный редактор
Евгений ПИНАЕВ
Технический редактор
Людмила БУДРИНА
Корректор
Ольга НАГИБИНА

Адрес редакции:
620219, г. Свердловск,
ГСП-353, ул. Декабристов, 67

Телефоны отделов:
22-36-62 (фантастики),
22-45-01 (краеведения,
секретариат),
22-10-74 (науки и техники,
писем),
22-04-81 (прозы и поэзии,
публицистики,
молодежных проблем).

Рукописи принимаются перепечатанными на машинке через 2 интервала, 60 знаков в строке, 28—30 строк на странице.

По вопросам подписки и доставки обращаться в районные отделения «Союзпечати». Бракующие экземпляры отправлять в типографию издательства «Уральский рабочий».

Сдано в набор 06.04.90.
Подписано к печати 25.05.90.
НС 15064.

Формат бумаги 84×108¹/₁₆.
Бумага типографская № 2.
Высокая печать.
Усл. печ. л. 8,82.
Уч.-изд. л. 13,54.
Усл. кр.-отт. 11,34.
Тираж 500 000.
(1-й завод: 1—250 000).
Заказ 532.
Цена 40 коп.

Типография издательства
«Уральский рабочий»,
620219, г. Свердловск,
пр. Ленина, 49.

На 1-й стр. обложки фото
Александра Рыжова, г. Курган

АЛЕНСАНДР МОИСЕЕВ

МИАССКИЕ ЭПОХЫ

Исторический
детектив



Рис. Сергея Копылова

Об этих событиях, происшедших восемьдесят лет назад в окрестностях уральского городка Миасса, в свое время шумела вся Россия, писала зарубежная пресса. Публикациями в нашей печати они до сих пор обойдены. И как бывает в таких случаях, вокруг событий клубится густой туман домыслов. Пришло время рассеять этот туман, рассказать о так называемых миасских экспроприациях, совершенных Уральской боевой организацией РСДРП.

ПЕРВЫЙ ЭКС

По многоезжему, гулкому верхнеуральскому тракту в первый день октября 1908 года мчался казенный пароконный экипаж с невеликим грузом. Но уж поистине мал золотник, да дорог. Ящикек тот был не на одном запоре, густо ошлепан сургучом охранных печатей. Трое при нем в форме почтового ведомства. Да два стражника обочь на конях трясутся.

В ящике следовала на станцию Миасс ценнозакртыя почта из казачьих казначейств Верхнеуральска и Оренбурга. Около сорока тысяч. Правда, 14 из них с пробивными знаками, а значит уже негодны, но все же сумма немалая.

Путь подходил к концу. Уже проскочили Миасс-городок, перекрестившись на пряничной красоте церковку при кладбище. Обогнули Чашковы горы, и паровозный шум на станции под Ильмен-горой слышен стал. Какая-то верста — и распрягайся.

Шел шестой час пополудни. По осеннему времени уже смеркалось. Однако ящикек разглядел, как из кустов полетел под ноги лошадам вроде как булыжник. А может, птица шальная. Не успел он чертыхнуться — ахнуло. Ярким пламенем опрокинуло коней навзничь. Ямщика шарашнуло в обочину. Ездоков с повозки смело, и стражники с коней тоже попадали.

Началась перестрелка. Вначале у всех сердце в пятки. Потом поняли: стреляют для острастки, пули поверху свистят. А охрана всерьез целилась, она при исполнении...

Расстреляв заряды — шесть на карабин полагалось, — один из стражников запрыгнул на коня и махом в Миасский завод. Ящикек тоже борзым оказался. Свалившись с

облучка, ощупал себя — цел ли — и бочком да ползком в кусты. В версте станция.

Вскоре оттуда прискакали два жандармских унтера с пятью стражниками. Вслед за ними и с Миасского завода примчались. Но перестреливаться было уже не с кем. Злоумышленники разбили ящик, рассовали ассигнации по котомкам, только их и видели.

Все, кто охранял, остались целехоньки, только рассыльного Сахарова ранило в ногу шальным осколком.

Из их путаных ответов выяснили: к повозке пятеро выбегали. Да еще один был. Тот же Сахаров слышал: «Сергей убит!» Это очень даже хорошо, что убит. Где-то здесь валяется.

Обшарили кусты. Нашли место, где лежал. Кровь. И ничего. С собой унесли. Тоже неплохо. Потаци-ка на себе. Трудно с такой ношей уйти.

Ринулись в погоню. Целый эскадрон набрался преследователей — 35 стражников да жандармов. Но не было им удачи. Конечно, в упряжи с дороги не свернешь, так ведь и дорог-то... В лесу да в горах не только шестеро — полк затеряется, как иголка в стогу.

Той же ночью в Миасском заводе начались аресты. Всех мало-мальски подозрительных взяли. Частую-то сеть и нужная рыбка не минует. А назавтра служивого народу в Миасс понахлынуло. Сам оренбургский губернатор Ожаровский прикатил. Прибыл из Уфы главный почтовый начальник Голубев. Лично просмотрел все телеграфные ленты. 29 сентября в 10 часов 58 минут пополудни — как раз накануне нападения — ушла в Миасс из Златоуста телеграмма на имя Терского: «Сергей телеграфируй Борису».

Что вроде особенного? Но почтовик Валентин Желотин не поленился, запросил в Миассе, как звать Терского. А того звать Василием. Почему же тогда телеграмма Сергею? Значит останавливался у него. И ведь одного из налетчиков, которого пулей пометили, Сергеем зовут!

Терский был на примете у охраны, но пытался отговориться: «Ну, жил у меня постоялец. Сергеем звали». Фамилия? «Не знаю, зачем она мне? Помогал столлярничать». Где он? «Уехал». Когда? Начал Терский мямлить. Соседи помогли. Исчез этот Сергей в день нападения на почту. И приметы его сообщили. Конопатый и рыжий. Лет двадцати, не более, на вид. Куда ходил Сергей? В дома Уварова да Киселева. У них, оказывается, в то время тоже жили приезжие парни. Уже горячо! А уваровский малец сообщил, что видел у дяденек ружья, такие маленькие... Понятно — пистолеты. И число парней подходящее. Пятеро их было. В Уфе заподозрили бывшего рабочего мельницы — Михаила Ефремова, лечившего огнестрельное ранение. Где ранен? «На охоте, на утей, перелет же. Кто-то ударил по камышам, где хоронился». А рана — то пулевая. Кто ж по уткам пулями садит? «Мало ли дураков».

Сфотографировали охотника. Снимки в Миасс послали. И что же? Оpoznал его уваровский малец. Соседи Терского тоже опознали — рыжий и конопатый. Один есть. Но Сергей — Михаил Ефремов — говорить что-либо отказался. Хотя и мучился раной.

Новая зацепка в Челябинске. Произвели обыск на квартире уфимского мещанина Федора Горелова совсем по иному поводу. Нашли две трехрублевки. Одна за номером 3610, другая — 614436. Из тех, что были с пробивными знаками. На одной знак замаскирован, на другой вырван. Но и Горелов не дал никаких сведений.

Год топтались следователи на месте. И как знать, может, на том бы и остановились. Но когда через год на станции Миасс свершился второй экс, один из взятых по делу, Василий Терентьев, склонился к даче показаний. Он признался в участии в первом миасском эксе. Назвал и остальных шестерых. Нападавших, оказывается, было семеро.

Трое из семерых уже нюхали порох. За Константином Мячиним три экспроприации: динамит под Усть-Катавом и денежные у разъездов Дема и Воронки под Уфой. Заведующий бомбовой мастерской уфимской боевой дружины Василий Мясников тоже участвовал в демском деле. Челябинский телеграфист Алексей Калугин — единственный к тому времени оставшийся в живых участник неудачного экса на разъезде Чумляк, где денежную выручку взять не удалось.

Для остальных четверых миасский экс стал боевым крещением: уфимцы Василий Терентьев, Никифор Козлов, златоустовец Иван Хрущев и раненный в перестрелке Михаил Ефремов, он же Сергей Сепаревский, он же Финн. Всего по делу было привлечено 13 человек.

Об аресте Михаила Ефремова мы знаем. Василия Терентьева и Никифора Козлова взяли во время охоты на участников второго миасского экса. Василий Мясников и Алексей Калугин были задержаны при переходе границы. Константин Мячин — сотник боевой дружины и организатор экспроприации, как и Иван Хрущев, ареста избежал.

Участников первого миасского экса судили в Уфе 28 февраля 1911 года военным судом. К казни через повешение были осуждены Василий Терентьев, Никифор Козлов, Василий Мясников, Алексей Калугин и Михаил Ефремов — непосредственные участники нападения на почту. Ввиду несовершеннолетия, таковыми тогда считались не достигшие 21 года, всем смертникам казнь заменили на вечную каторгу.

ВТОРОЙ ЭКС

Года не прошло после нападения на ценнозакрытую почту казачьего казначейства возле станции Миасс, как отсюда же телеграф отстучал сообщение о еще более дерзкой экспроприации.

«...С 25 на 26 сего августа на станции Миасс в 10 часов

30 минут пополудни петербургского времени было произведено вооруженное нападение на станцию, причем бомбой, брошенной в почтовое отделение, ранены почтовый чиновник, почтальон и полицейский стражник, из запятого сундука похищено, по заявлению начальника конторы, более семидесяти тысяч рублей... станционная выручка также ограблена на сумму около шести тысяч рублей...»

Эта телеграмма открывает «Дело об ограблении почты на станции Миасс 26 августа 1909 года», которое хранится в Центральном архиве Октябрьской революции (ЦГАОР) в Москве. Три голубые папки килограммов эдак на восемь-девять. Аккуратистами были сотрудники особого отдела департамента полиции, который занимался политическим сыском в России. Все до бумажек подшито, пронумеровано, проштемпелевано: телеграммы, донесения, протоколы допросов, сводки агентурных данных. Лист за листом с грифом «Совершенно секретно». Эти бумажные килограммы хранят подробности тех драматичных пятнадцатиминут (столько продолжалась экспроприация), прогремевших на всю Россию.

Экспроприаторы добирались до Миасса двумя группами. Половина высадилась утром в Тургояке и тропами вернулась обратно. Вечерним поездом подъехали остальные. Они должны были проехать до следующего разъезда и отсюда пешком вернуться. А пришлось слезть в Миасс, потому что поезд запоздал часа на три и ехать дальше было рискованно. Могли не успеть вернуться вовремя.

Они не знали точно часа, когда все начнется. Знали, что вечером, и только. Точный час должен был дать Дипломат — Владимир Алексеев. Он для этого приехал в Миасс немного раньше. Прикрытые у него было надежное. Отец, купец второй гильдии, скупал мед по всему Южноуралью и продавал оптом не только в России, но и за рубежом. Одна из его контор находилась в Миассе.

Собрались в ольховнике на берегу Ильменского озера. Нарочно выбрали гиблое место — болото, куда никто не ползет. Ждали троих: Сотника — Константина Мячина, Егора — Тимофея Шаширина и Дипломата. Они в этот вечер встречались в городском саду с Михаилом Ворониным, который работал на телеграфе и должен был окончательно уточнить, поступила ли на вокзал ценнозакрытая почта, как ожидалось.

Темнеть стало, когда подошли трое. Все в порядке. Надо спешить. Разбились на пять штурмовых групп, как было намечено заранее.

Сотник, Егор, Активный — Иван Осокин — и Азиат, он же Захар — Петр Зенцов — должны были брать почтовую комнату, где находилась ценнозакрытая почта — главный объект нападения.

Шпингалет — Андрей Ермолаев, Касьян — Дмитрий Чудинов и Василий Иванович (фамилия неизвестна) должны были обезоружить жандармов в помещении третьего класса.

Дипломат, Аркадий — Василий Алексакин и Семафор — Василий Терентьев — занимали кабинет начальника станции, где хранилась кассовая выручка.

Михаил — Никифор Козлов и Антип — Андрон Юрьев — выводили из строя телеграфный аппарат, чтобы прервать связь на железнодорожной линии.

Граф — Тимофей Кривов и Алеша Маленький — Иван Хрущев — должны были охранять вокзал во время экса со стороны города, а Валентин — Александр Лаптев, Филипп — Семен Осокин и Рюрик — Никифор Токарев — со стороны платформы.

Как молоды были эти семнадцать! «Старичку» Василию Ивановичу едва перевалило за тридцать. Странно, но никто из боевиков, непосредственно с ним работавших в организации, не называют его фамилии. А он ведь участвовал в уфимских событиях с пятого года, ведал с Мясниковым и Алексеевым бомбовой мастерской, участвовал в деле на разъезде Воронки. Никто не знает, кто он, откуда и куда исчез после экса. Таинственная личность. По воспоминаниям был неразговорчив, мрачноват, кражист, с валкой моряцкой походкой. Возможно, скрывался в Уфе после одного из флотских мятежей.

Самыми молоденькими, по 17 лет, были Козлов, Лаптев, Терентьев и Ермолаев.

Семнадцать заgrimировались, еще раз прикинули, кому что делать там, на вокзале. Проверили оружие...

Показания телеграфиста Абрамова: «...Дежурило нас трое. Один, Серегин, спал на столе, и вот в 10.30 петербургского времени раздался гром из бомбы. Одновременно с этим в телеграф вошел человек в чепчике, лицо его намалевано черной и красной краской, в руке револьвер, в другой топорик, и бросил холостой снаряд, от которого вылетели все стекла из рам, и скомандовал ложиться, на что двое из нас легли на пол. А я был близко у окна дежурного поста и полез в это окно. Зайдя в телеграф, человек разбил все телеграфные аппараты и лампы. Я же когда перелез в комнату дежурного поста, то полез на четвереньках к выходу на платформу, но в двери меня встретили двое таких же и заставили вернуться».

Из донесения начальника Оренбургского губернского жандармского управления полковника Левандовского: «Преступники были одеты одинаково: в черные рубахи, пиджаки. Лица измазаны черной краской. У всех бороды, очевидно, наклеены. На головах черные чепчики, только у одного, по всей вероятности, главного, чепчик красный (красный для отличия был у Сотника — А. М.).

Преступники безостановочно стреляли в дверь жандармской комнаты, чтобы оттуда не вышли жандармы. Один из стражников, запертых в жандармской комнате, Жвакин, пользуясь своим тщедушным ростом, снял обмундирование, вылез через форточку и побежал на квартиры к отдыхающим стражникам. Но когда они прибежали, преступники уже скрылись».

В третьем классе четыре стражника были обезоружены, кроме одного, который, выхватив шашку, замахнулся на Шпингалета. Что оставалось делать? Началась стрельба, полилась кровь.

Пассажиры и стражников согнали в угол, где Василий Иванович и Касьян держали их под прицелом, пока все не закончилось.

В кабинете начальника станции находились трое. Дипломат потребовал у них ключ от кассового сундука. Ключ у начальника, а он дома. Решили взорвать сундук. Кинули бомбу. В полу яма, а на сундуке только вмятина.

В почтовой комнате закрылись четыре стражника. Сотник попытался уговорить их открыть дверь добровольно. Ни звука. А дверь надежна, обита железом, не выломать. Пришлось взорвать пироксилиновой шашкой.

Из донесения Левандовского: «Начальник станции Быстрицкий и фактический контролер Наквакин находились в квартире первого и пили чай. Услышав взрывы, они подумали, что на станции пожар и взрывается динамит для соседних рудников, побежали на станцию и были схвачены в тамбуре. Под угрозой оружия Быстрицкий открыл кассовый сундук».

Показания Абрамова: «В зале третьего класса я сел в угол, и в это время мне прострелили руку. Вскоре затем привели начальника станции и велели ему стоять к стене лицом. На станции в это время были ревизоры и их тоже поставили рядом с начальником. Все стихло, я почувствовал боль в руке, встал, подошел к начальнику и говорю — меня ранили, тут вбежал один из злоумышленников, принес бинт и одному из ревизоров велел перевязать мне руку, а сам ушел».

Из донесения Левандовского: «Прибывший воинский эшелон со стороны Челябинска стоял на дальних путях. Среди прочих грузов находился и вагон пироксилина. Охрана в составе десяти нижних чинов и одного унтер-офицера полуроты Мокшанского полка пр. преступникам стрельбы не открывала. Объясняют, что не поняли, в чем дело, к ним никто не обращался, а покидать пост они не имеют права».

Трудно пришлось бы экспроприаторам, если бы вмешались мокшанцы. А так перестрелка завязалась только с ингушами из станционной охраны, но и те особого рвения не проявляли. Их отогнали выстрелами.

И тут сигнал Сотника. Все сделано. Пора уходить. Сбе-

жались на перрон. Пересчитались. Все семнадцать. На всех лишь одна царапина. Азиату куском штукатурки ободрало лоб, когда взрывал дверь почтовой комнаты. Ушло на все 15 минут.

В этот момент на станцию втянулся товарняк из Златоуста. Стали отцеплять паровоз, сцепку завело. Пришлось брать локомотив с первым вагоном. Паровозную бригаду попросили сойти. Свой машинист есть — Филипп, в помощь ему Касьян, тоже работал на железке.

Позаскакивали на паровоз. Пока разворачивали его на обратный путь, до самого выходного семафора Василий Иванович, Егор, Рюрик и Граф бежали по обеим сторонам, следили, чтобы не захватили врасплох. Но вот и семафор — выбрались из рельсовой путаницы на магистральное полотно. Четверо вскочили на подножки. Филипп дал полный ход.

Левандовский записал в своем донесении: «Когда паровоз тронулся, преступники запели «Марсельезу».

Да, они пели «Марсельезу». Радостно им было: все сделано, как намечалось, без малейшего сбоя. И тревожно. Скоро, скоро затрубит рог большой охоты на них. И каждому, кто будет схвачен, грозила виселица.

Первая остановка в Тургояке. Разбили телеграфный аппарат. То же сделали в Сыростане. Чтобы прервать связь, задержать хоть на час охоту за ними. В Сыростане небольшая задержка. В вагоне обнаружили фрукты, а при них татарина — сопровождающего. Никан он не хотел вылезать: хозяин накажет. Остаться в вагоне ему было нельзя. Потому что, не доезжая разъезда Хребет, и сами боевики высадились, а паровоз вместе с вагоном пустили назад. Под горку, с Уральского хребта: если за ними уже налажена погоня, паровоз влетится эшелону в лоб.

Обошлось. Своим ходом домчал он до Тургояка, где, как свидетельствует донесение Левандовского, расторопный «начальник разъезда запасной агент (охранки) Шатохин перевел стрелку на запасной путь». Боевики же, высадившись у моста через речку Сыростан, вазелином сняли грим, разложили добычу из чемоданов по заплечным мешкам и двинулись дальше. Их путь лежал на Уреньгу. Недалеко от вершины хребта — Голой горы находился их лесной стан. Здесь они готовились к экспроприации, здесь решили и отсидеться после нее.

Вначале они держались железной дороги, срезая прямоком ее зигзаги, но от железки пришлось уходить раньше, чем предполагалось. В ночной тиши услышали вдруг шум поезда, идущего из Златоуста. Мимо на всех парах пронесся состав. В открытых дверях «телятников» промелькнули драгуны и кони. Значит уже началась на них охота. Ненадолго, получается, задержала ее порча железнодорожного телеграфа.

Объяснение нашлось в донесении Левандовского: «Через полчаса после того, как преступники скрылись, ротмистр Андреев передал с городского телеграфа сообщение о нападении по всем станциям Самаро-Златоустовской железной дороги».

Впрочем, опасность экспроприаторам уже не грозила. Трудно было их найти в пихтовых джунглях на склонах Уреньги. На хребет они выбрались удачно — совсем недалеко от своего стана возле Голой горы.

Расставили часовых и забились в балаганы. Натянули на себя что нашлось сухого и — спать.

Все они были членами боевых организаций народного вооружения (БОНВ), появившихся на Южном Урале к началу 1906 года. Их организаторами стали братья Кадомцевы. Двое из них — Эразм и Михаил — получили военное образование. Кадомцевы разработали четкую, по армейскому образцу, структуру и стратегические планы БОНВ. Они возглавили штаб боевых организаций, которые находились под непосредственным руководством и контролем комитетов РСДРП. Устав и стратегический план БОНВ были приняты для боевых организаций всей России в 1906 году на конференции в Таммерфорсе.

Боевики ставили своей главной задачей «развитие в

народных массах правильного понимания вооруженного восстания». Боевым организациям много внимания уделял В. И. Ленин, особенно в 1906 году, когда они оформлялись (за год он посвятил им до десяти выступлений и отдельных статей). Он защищал право их на существование перед меньшевиками, которые после поражения революции пятого года были вообще против вооруженной борьбы.

Боевики охраняли рабочие организации от нападения черносотенцев, казнили провокаторов и наиболее оголтелых врагов революции. Экспроприациями добывали средства на нужды партии.

Боевая работа была свернута решением Пятого (Лондонского) съезда РСДРП летом 1907 года. Партия тогда была объединенной. В нее входили, помимо большевиков, меньшевики, бундовцы, польские и латышские социал-демократы. Например, среди делегатов съезда было 105 большевиков, а меньшевиков — 97. Меньшевики сумели провести свою резолюцию о роспуске боевых организаций, прекращении партизанских выступлений и экспроприаций.

На Урале свертывание боевой работы затянuloсь. В сентябре 1907 года Уральская конференция РСДРП распустила автономные боевые дружины, но разрешила партийную милицию, то есть вооруженные группы из членов партии при местных комитетах. В 1908 году была распущена уфимская дружина, однако весной 1909 года ее остатки стали ядром Уральской боевой организации при РСДРП.

Так случилось, что большинство ее членов-южноуральцев к тому времени собралось в Златоусте. Здесь находился и их штаб, возглавляемый Константином Мячиним, до этого он входил в уфимский штаб БОНВ. Создавшееся положение обсуждалось на конференции, состоявшейся в июне 1909 года в окрестностях Златоуста — за Таганем у горы Магнитной. Решили пока ограничиться учебой и подготовкой к будущей вооруженной борьбе. Создать партийную «школу по подготовке идейных и практических руководителей в будущем вооруженном восстании» — офицеров-инструкторов революции. Такую школу за рубежом (в Италии) согласилась организовать группа «Вперед» — одна из фракций РСДРП. Решено было организовать нападение на тобольскую тюрьму, чтобы освободить Михаила Кадомцева и других заключенных боевиков.

На все это нужны средства. Добить их можно только экспроприацией. В партии пролетариата миллионеров не было. Покровителей среди имущих совсем немного. Партия существовала на скудные членские взносы и средства, добытые из царской казны экспроприацией экспроприаторов. Трогать частных лиц категорически запрещалось.

Вот что дали самые крупные экссы: московский — 875 тысяч рублей, кавказский — 200 тысяч, тифлисский — 250 тысяч, экс на станции Дема — 250 тысяч, на разъезде Воронки — 30 тысяч рублей, первый миасский — около 25 тысяч, второй — 85 тысяч рублей.

Только на деньги, добытые уральскими боевиками, Уралобком издавал газеты: «Солдат», «Пролетарий» и на татарском языке, а местные комитеты — свои газеты. На эти деньги собирался Лондонский съезд партии, конференция БОНВ в Таммерфорсе. Содержались партийные школы в Лонжюмо, Болонье и на Кипре, школы бомбистов и инструкторов во Львове, Киеве и Финляндии. На эти деньги «держалась граница» — организовывался провоз из-за рубежа литературы, оружия, переход нелегалов.

Деньгам велся строжайший учет. «Бухгалтерские книги» обертывались в фольгу, помещались в бутылки и закапывались для будущей «великой ревизии». Она наступила после Октября. Правда, найти все «бухгалтерские книги» было уже невозможно, многие из тех, кто их закапывал, погибли по приговору царского суда.

ТРУБИТ ТРУБА БОЛЬШОЙ ОХОТЫ

Телеграмма из Оренбурга в С-Петербург: «Грабители укрываются в Златоустовском уезде, куда отправлен сотрудник из Пермского района, филеры; вокруг Миасского завода выставлены заслоны и посты, в Челябинске проис-

ходит проверка административных, розыски ведутся совместно Златоустовской, Челябинской и Троицкой полицией, на месте находятся губернатор, прокурор Пермского района; указания оренбургской агентуры на готовившееся преступление не было, по-видимому, организовано в Златоусте. Полковник Бабич».

Под «Пермским районом» подразумевалось Пермское районное охранное отделение, которое занималось политическим сыском на всем Урале. Упоминаемый «сотрудник» — помощник начальника отделения коллежский советник А. Огиевич. Он руководил охотой за экспроприаторами. В «Миасском деле» немало подписанных им документов. Судя по ним, это опытный, умный сыщик. Благодаря ему уже через несколько месяцев большинство «миассцев» были схвачены.

В одну из ночей постовые боевиков заметили, что вроде как звезды опустились на Уральский хребет. На следующую ночь звездная подковка значительно приблизилась. Костры. Это стрелки прочесывали лес.

Боевики поделились на две партии. Часть рискнула обойти цепь загонщиков, прорваться через кордоны в Златоуст. Остальные решили, что надежнее пробираться сразу в Уфу. Общий сбор перед отправкой за границу назначался здесь.

Вероятнее всего было ожидать провала в Златоусте. Но первую потерю миассцы понесли среди тех, кто пошел в Уфу.

Перед нами донесение в департамент полиции уфимского губернатора Ключарева: «4 сентября от пристава 3 стана Златоустовского уезда Борисова полицейстером была получена телеграмма, что 3 сентября на Шафеевском перевозе сели на пароход трое молодых людей, поведение и вид которых наводит на подозрение, что они участники нападения на станцию Миасс. Считая необходимым немедленно послать людей встретить пароход, полицейстер остановился на приставе 67 стана Уфимского уезда Андрееве и полицейском надзирателе сыского отделения Новикове, так как оба они люди самые смелые и сильные, первый из них знает кроме того местность, где подлeжит встретить пароход.

Пристав Андреев и надзиратель Новиков, взяв с собой трех стражников, близ села Богородского стали поджидать пароход, который около 7 часов вечера приблизился. Члены полиции, на лодке выехав к пароходу и махая шапками, стали проситься на пароход, при этом они заметили, что из окон кают за ними усиленно следят какие-то молодые люди. Когда они влезли на пароход, то пристав из разговоров с капитаном узнал, что один из севших на пароход подозрительных людей находится на палубе, почему быстро подошел к нему и потребовал сойти вниз. Неизвестный опустил руку в карман, где у него оказался заряженный браунинг, но пристав схватил его и, обладая значительной физической силой, повел вниз в свободное помещение. Происшедшее было так неожиданно для задержанного, что он лишь в каюте опомнился и стал звать на помощь. Пристав, опасаясь, что его услышат другие, приказал стражникам вязать его...

При задержанных оказалось: два маузера, три браунинга, охотничье ружье, кинжал и около 500 патронов, записная книжка, сумка с перевязочными средствами, лекарства с этикетом миасской аптеки, свистки с компасами, электрические фонари с трехцветными стеклами и руководство по ведению гражданской войны. Из записей в книжке видно перечисление по сокращенным именам 19 лиц, с проставленным против каждого из них номером револьвера и числом патронов, причем номера револьверов, указанные в списке, оказались сходными с номерами револьверов у задержанных».

Двумя задержанными были Василий Терентьев — Семафор и Андрон Юрьев — Антип.

5 сентября в Златоуст прибыл А. Огиевич. На следующий день начальник Уфимского сыского отделения В. Ошурко доставил к нему Семафора — Василия Терентьева. Увы, он не выдержал допроса с пристрастием. В ночь на седьмое в Златоусте была проведена облава на подо-

зрительных квартир. На одной из них был задержан бирский мещанин Портных. Это оказался «...скрывающийся от властей бывший слесарь депо Челябинск Семен Петров Осокин, убивший в 1907 году в челябинских мастерских унтер-офицера Прошина и участвовавший в покушении на убийство ротмистра Ковалева 22 марта 1907 года...» Осокина Терентьев опознал как Филиппа.

Вместе с Семеном Осокиным была арестована Евдокия Андропова, конторщица завода Столь (партийная кличка Маленький товарищ). Невеста Семена, она привезла паспорта боевикам, необходимые им для перехода границы.

7 сентября Терентьев привел Огиевича в стан на Уренге. Искали деньги и золото, но нашли только «платроны, сумки с перевязочными средствами и записку о графике сторожевой службы» в лагере.

В этот же день Терентьев дал Огиевичу «откровенные показания», они позволили выйти на явку Брагиной в Миньяре, Тарасовой в Уфе, узнать, как готовился экс.

Терентьев назвал почти всех его участников. Правда, большинство по кличкам. Он был искренен, когда говорил, что подлинные имена ему неизвестны. Того требовали правила конспирации — знать только клички, называть только по ним, даже если знаешь имя. Он объяснил шифровку в записной книжке, найденной у него. Буквы — начало кличек, имен боевиков, числа — номера их оружия.

Следующим из миассцев был схвачен Дипломат — Владимир Алексеев. На него вышел Огиевич. При опросе свидетелей он обратил внимание, что одного из боевиков оклинули Владимиром. Подозрение пало на Владимира Алексеева, замеченного в связях с уфимскими боевиками. Подозрительной оказалась и его связь с Софьей Меклер. Имелись сведения о ее участии в боевой организации. За Дипломатом установили негласное наблюдение. Слежка оказалась безрезультатной. Ее прекратили, узнав, что Алексеев готовится к отъезду во Францию, где он обучался на третьем курсе филологического факультета в университете Монпелье. При аресте в Уфе, в доме отца, у него были обнаружены маузер и браунинг.

Оправдываться было бесполезно. В записной книжке у Семафора их номера значились при буквах «Вл». Терентьев же сообщил, что Алексеев первым должен был отбыть за границу, чтобы подготовить переход остальных. Сказал также, что Софья Меклер — секретарь организации, и у нее хранится резиновая печать Минского уезда.

Следующие провалы пришлось на Самару, здесь боевики собирались перед отъездом на запад для перехода границы: «окна» им были обеспечены.

Зацепку в Самаре охотники получили все из того же «откровенного признания» Семафора. При обыске выданной им явки у Екатерины Тарасовой в Уфе был найден самарский адрес фельдшерницы Бычковой.

Из донесения в особый отдел департамента полиции: «Из квартиры Бычковой был взят под наблюдение неизвестный молодой человек в фуражке Министерства народного просвещения, который затем посетил дом № 126 по Самарской улице и какой-то дом по Алексеевской, между Соловьиной и Полевой, где, по-видимому, и ночевал.

15 сентября получено было отношение начальника Уфимского сыскного отделения, сообщавшего о том, что через Самару намерены отправиться в Петербург участники нападения на станцию Миасс Константин Мячин, Андрей Ермолаев и Василий Алексакин. В приложенной к отношению фотографической карточке Мячина наружное наблюдение признало того самого молодого человека, который взят был в наблюдение на квартире Бычковой. Дальнейшее наблюдение выяснило, что он проживает в доме № 126 по улице Самарской.

17 сентября наблюдение за Мячиным (кличка наблюдения Капитан) установило свидание его с молодыми людьми (клички наблюдения Розин, Стрелок, Слуховой, Маленький и Большая).

Около часу ночи Капитан и Стрелок направляются на вокзал. Затем сюда подходит Маленький. Когда первые

двое были проведены филерами на вокзал, старший филер унтер-офицер Тырин заявил дежурному жандарму Панченко о необходимости ареста трех лиц, предупредив, что задержание сопряжено с опасностью, так как наблюдаемые вооружены. Неумелые действия жандарма Панченко, а главным образом промедление вследствие требования Панченко от обоих филеров удостоверений их личности способствовало тому, что Капитан и Стрелок сначала продвинулись к выходной двери, а затем по выходе из вокзала обратились в бегство».

За ними бросились два жандарма, филеры и носильщики. Началась пальба. Стрелок был схвачен, Капитану удалось скрыться. На вокзале филер Тырин с помощью носильщика задержал Маленького. Маленький назвался мещанином Уфы Дмитрием Розановым, а Стрелок — крестьянином Пензенской губернии Василием Алексакиным. Кроме паспорта в кармане Алексакина обнаружено 400 рублей денег.

В доме № 100 был взят Слуховой — Андрей Ермолаев. При нем — браунинг. Той же ночью были арестованы Ульяна Брагина и в доме № 12 — Розин (не расшифрован).

Следующая потеря произошла также в Самаре. 10 октября поступили сведения, что сюда приехали Михаил — Никифор Козлов и Азиат, Захар — Петр Зенцов. На связь с ними был послан из Уфы секретный сотрудник Мокрый. Однако ни Михаил, ни Азиат доверия ему не оказали, ничего от них он узнать не мог. Тогда за ними было установлено наблюдение. Оказалось, Козлов (кличка наблюдения Второй) остановился у Злобина в Солдатской слободке, а Зенцов (кличка наблюдения Киргиз) и с ним неизвестные (клички наблюдения Холодный и Помощница) — в доме Князева в слободке Новый Оренбург.

В ночь на 29 октября на эти квартиры был произведен налет. Были арестованы Михаил — Никифор Козлов, Касьян — Дмитрий Чудинов (Холодный), Любовь Тарасова и Активный — Иван Осокин.

Зенцова на квартире не оказалось. Его настигли в Уфе, куда он вернулся из Самары, 25 октября. Вечером этого же дня сексот Мокрый сообщил, что Захар-Азиат скрывается в доме № 122 по Центральной улице и через два дня едет в Сибирь агентом фирмы «Зингер».

Зенцова решили брать на улице. Вслед за ним пошел старший филер Плаксин, еще трое — в обход. Они решили, что он направляется в Архиерейскую слободу. Однако Зенцов свернул в сторону. Плаксин остался с ним один, но решил брать. Нападая, он ударил Азиата браунингом по затылку. Тот упал, но у Плаксина выскользнул из рук пистолет, и он остался безоружным. Зенцов очнулся, в рукопашной оказался сильнее и убежал. Однако уйти Азиату не удалось, на свою беду он завернул прямо на квартиру Мокрого, которого боевики считали своим.

Под предлогом найти надежную квартиру сексот вышел из дома, оставив Азиата, и доложил в охранное отделение об этой удаче.

Чтобы отвести от Мокрого подозрение, его арестовали вместе с Зенцовым на улице. На сей раз Зенцову не удалось вырваться. В дело включились семь филеров. Мокрого вскоре выпустили. Азиат его не выдал, сказав, что знает не знает, а встретились на улице случайно. Мокрый в организации остался вне подозрений. Кто скрывался под этой кличкой, узнать так и не удалось.

В ноябре девятнадцатого года из семнадцати экзпроприяторов на свободе остались Сотник — Костя, Граф — Тимофей Кривов, Алеша Маленький — Иван Хрущев, Егор — Тимофей Шаширин и таинственный Василий Иванович.

БУНТ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ТЮРЬМЕ

Вначале пойманных «миассцев» собрали в уфимской тюрьме, но запасались и переправили в Челябинск. Городок поменьше, народ в нем приметнее, и главное — тюрьма здесь понадежнее, оборудована, говоря современным языком, по последнему слову техники. Экспро-

приаторы стали здесь новоселами. Каждому была отведена одиночная камера в обособленном корпусе. Бежать отсюда почти невозможно, освободить — налетом тоже. И все-таки товарищи на воле не теряли надежды.

Охранка внимательно следила за всеми, кто мог помочь «миассцам». В деле — копии писем, снятые в так называемых «черных кабинетах», где просматривалась переписка подозрительных лиц. О том же говорят и сводки агентурных сведений по Уфимской и Оренбургской губерниям.

В сквере на центральной площади Златоуста сохраняется могила Н. Б. Скворцова, в городе есть улица его имени. Земляки чтят его как одного из руководителей здешней партийной организации в 1917 году, но мало кто знает, что он действовал в подполье и в годы реакции, пытался освободить «миассцев». Осенью 1909 года в Париж, где тогда находился Скворцов, с Урала пришло письмо.

«Дорогой Валерьян, обращаюсь к тебе по одному очень важному и экстренному делу. Ты, конечно, уже знаешь из газет о миасской экспроприации. По поводу ее арестована масса народу: 19 обвиняют в участии, а 36 — в укрывательстве. Дело это вопиющее, и необходимо как можно скорее организовать серьезную и компетентную защиту, которая спасла бы от виселицы товарищей.

Следствие, по рассказам родственников, приказано вести ускоренным ходом, а потому необходимо страшно спешить с организацией защиты, иначе погибнет масса людей. Не можешь ли ты взять на себя эту организацию. Ответь немедленно телеграммой по моему адресу. Очень надеюсь, что не откажешь. Ваша Лида».

Валерьян — партийная кличка Скворцова. Второе письмо адресовано ему летом 1910 года, когда он находился уже в России: «Не забудь сказать сестренке все, что только знаешь. Положительно до подробностей, дабы можно было ясно представить картину... Усиленно прошу торопиться. Напоминаю, что только последняя строчка на письме за 16/VII заставила отодвинуть намеченное на несколько дней. Ждем усиленно новостей. Твой друг Анатолий».

Письмо зашифровано, но понятно, что речь идет об организации побега. Очевидно и то, что его пришлось отложить. Анатолий — это, вероятно, Сотник — Константин Мятин. Судя по агентурным сведениям и воспоминаниям, он, как и остальные участники миасского экса, оставшись на воле, не скрылся в безопасную заграницу, а, рискуя жизнью, пытался спасти товарищей.

Сводка агентурных сведений за 1910-й год:

«19 марта. Филер Веселый. Егор — Тимофей Шашин — под фамилией Смирнова был арестован в Челябинске. Он пытался подкупить тюремных надзирателей.

20 апреля. Филер Мокрый. Костя и Граф выехали в Петербург.

Июль. Филер Идеальный. В Мотовилихе намечается съезд боевых дружин. Руководителем предполагается Сотник. Готовится освобождение преступников из челябинской тюрьмы, намечено на июль. Руководитель Сотник. В освобождении должны принять участие Алексей Архиреев, Илья Кокарев, Копылов (Миньяр), Ксенофонт, Василий Шапошников, Сыч (Мотовилиха) и Петр (Златоуст). Из-за границы для этого приехал Всеволод. Сотник передал ему 17 000 рублей для организации побега, сам прячется в Екатеринбурге. Всеволод и Валерьян одно и то же лицо»...

Попытка освобождения была сделана в середине сентября. К этому времени в одиночках челябинской тюрьмы содержалось около 30 боевиков. На первом этаже 14, на втором 16.

15 сентября одиночный корпус взбунтовался. События того дня подробно описал Филипп — Семен Осокин.

«Несмотря на жестокий режим в одиночном корпусе, сообщение между заключенными и внешним миром было организовано систематическое и надежное. Надзиратель Шульгин был сагитирован тов. Фокой (Н. И. Коростелев-

Кретов), правда, не безвозмездно, он имел оклад 50 рублей в месяц».

Досконально был разработан план побега.

Главную роль — одному напасть на вооруженного надзирателя — и дальнейшее общее руководство взял на себя Шура Калинин (был привлечен как соучастник первого миасского экса, на допросах проявил слабость и ждал реабилитации). Он обладал значительной физической ловкостью.

Часа в два Калинин, возвращаясь из уборной, у двери своей одиночки схватил стража и в один миг бросил его на пол, обезоружил, предупредив, что если он будет кричать, то будет убит. Еще момент, и откроется соседняя одиночка, тогда Вас. Мясников, взяв ключи у Калинина, будет открывать следующих, а Шура, надев мундир и преобразившись в надзирателя, с несколькими другими товарищами пойдет во двор и возьмет часового солдата.

Но откуда-то из 6-го отделения или с главного выхода случайно появился старший надзиратель Авдеев. Выбежал по лестнице на Калинина и лежащего надзирателя и выстрелил в Шуру, задев его слегка в шею. Калинин смертельно ранил старшего и выхватил у него револьвер и клинок. Лежащий постовой хотел что-то предпринять, за что был ранен Калинин ударом обуха клинка.

Дело пропало. Запели сигнальные звонки. Целая орава охраны вылетела с главного входа. Калинин несколькими выстрелами очистил коридор от стреляющих. Надзиратели и солдаты заняли позицию на мостках, и началась осада корпуса.

Временами стрельба ослабевает, тогда с главного входа кричит начальник тюрьмы Добровольский или начальник караула: «Калинин, сдавайся!» На что последний отвечает: «Придите и возьмите меня, или вы смелы только над безоружными?» Рикошетом он ранен в бок. Ползком по мосткам пробирается в свою одиночку и накладывает мокрым полотенцем себе повязку, но дверь захлопывается и запирает его. Осаждающие, услышав удар двери, с криком «закрыт, закрыт» наполнили нижний коридор и мостики верхнего ряда одиночек.

Вдруг выстрел. Грохот падающей дверки пищеподавателя. Громкий голос Калинина: «Вон, перебежь!» Оказалось, что он выстрелил в затвор пищеподавателя, открыл последний, через него повернул щеколду дверного замка. Калинин засел на мостках, и осада корпуса возобновилась с перерывами для переговоров. Уже вечером при участии всех заключенных был выработан ряд требований, которые Калинин прокричал осаждающим. Прокурор, начальник караула и начальник тюрьмы в свою очередь прокричали, что требования безусловно будут исполнены...

Было часов 7 вечера. Калинин бросил с мостков вниз два револьвера, в которых не было ни одного патрона, и начал спускаться по лестнице вниз, подняв по просьбе ожидающих его руки вверх».

Итак, вооруженный побег не удался. Николай Скворцов после событий 15 сентября стал заниматься только организацией защиты на суде, чтобы максимально смягчить боевикам приговор. Ведь всем участникам экса заранее была определена виселица.

За Бронзовым, такую кличку наблюдения дали филеры Скворцову, устанавливается непрерывная слежка. Охранка хотела через него обнаружить непойманых участников экса. Поражаешься его конспиративному чутью. За ним неотступно шли два филера, но ни одного подозрительного контакта не заметили. Бронзовый постоянно уходил из-под их опеки.

Для защиты миассцев на суде был нанят цвет не только местной, но и столичной адвокатуры. Средств партия не пожалела. Один только Керенский (нанимал его Граф — Тимофей Кривов под видом купца-мещаната) заломил дикий гонорар — 10 тысяч и проезд до Челябинска и обратно в мягком вагоне. Керенский защищал Ивана Осокина, Петра Зенцова, Веру и Екатерину Тарасовых. К тому времени он уже был известен по участию в не-

скольких политических процессах, наживал политический капитал.

Приехали в Челябинск еще три видных представителя петербургской коллегии адвокатов. Соколов защищал Козлова, Лаптева, Никифора Токарева и Сою Меклер; Кашинский — Алексеева и Владимира Токарева; Скарятин — Чудинова, Ермолаева и Игнатия Мыльникова.

Не менее Керенского защитой «политиков» в Уфе был знаменит адвокат Кийков, близкий социал-демократам. Он защищал Алексакина, Шаширина и Любовь Тарасову. Остальные адвокаты были местные: Турутин, Евреинов, Тупикин, Архангельский.

В речах защитников была тенденция поколебать в судах веру в непреложность собранных предварительным следствием улик и материалов, главным образом тех, что добыты при участии и содействии Ошурко.

Почти все выступления защиты сводились к дискредитации откровенных показаний Терентьева, пользуясь противоречием его первоначальных показаний и совершенно иным показанием, данным на суде, и его близостью к начальнику Уфимского сыского отделения Ошурко.

Терентьев на суде показал следующее. В бытность Ошурко приставом 4 части города Уфы Терентьев служил у него письмоводителем. Желая сделать военную карьеру, он по совету последнего и под его руководством стал работать по политическому сыску и вошел в кружок боевиков социал-демократической партии. Вся его деятельность была известна Ошурко, тот знал о первом нападении на почту близ станции Миасс и дал согласие на участие Терентьева в готовящемся нападении в августе прошлого года. Сам же Терентьев сумел к тому времени сойтись со многими боевиками и проникся сочувствием к общей их идее.

Хотя суд этим показаниям не поверил, но потребовал очной ставки Ошурко с Терентьевым. Ошурко на несколько требований суда ответил телеграммой, что он болен гриппом и явиться не может. Это привело крайне неблагоприятное впечатление на господ судей и дало в руки защитников большой козырь.

Странно выглядело выступление ротмистра Плотто, который заканчивал следствие. Некоторые факты из следственного материала он не смог осветить так, чтобы они приняли форму несомненности. Это создало впечатление, что ротмистр Плотто старается скрыть некоторые обстоятельства или же не знает таковых... Выходило так, что ротмистр Плотто говорит все то, что хотела защита...

Вызванный в качестве свидетеля со стороны обвинения, Овчинников принял присягу, но показаний никаких не дал. И более в суде не появлялся. Это дало повод защите открыто назвать его агентом полиции, а суду по тем же соображениям не настаивать на приводе его. На суде были оглашены его показания, крайне неблагоприятные для подсудимых и вызвавшие среди них предположение о провокации Овчинникова, чем защита и воспользовалась.

Представители защиты нашли нарушения в ведении следствия — приписки, подчистки, подлоги. Обстановка, сложившаяся в заседаниях суда, затрудняла ведение и усиливала положение защиты.

Почему Ошурко отказался приехать на суд, чтобы опровергнуть показания Терентьева? Почему мямлил ротмистр Плотто? Почему фланировал возле воинских бань и не появлялся на суде немаловажный свидетель обвинения Овчинников? На эти вопросы найти ответ не удалось. Вероятно, тайну странностей на суде унес с собой Валерьян. Судя по всему, именно он был автором «сценария». Следившие за каждым его шагом филеры отмечали, что во время суда он встречался не только с родственниками подсудимых, но и с представителями защиты.

А то, что Терентьев умышленно оговорил начальника сыска, подтверждают материалы «Миасского дела». Оказывается, ошельмованный им Ошурко позднее дал-таки объяснение, и оно подшито в деле. Он утверждает, что знать не знал Терентьева до ареста его на «Якове». Не мог знать и о готовящейся экспроприации, так как в это

время был в Петербурге на курсах. А подтверждения тому, что во время суда он в самом деле болел, — телеграмма за подписью его начальника — уфимского полицмейстера.

Бесспорно, странности судебного заседания, раскаянное «признание» Терентьева повлияли на приговор. Военный суд в Челябинске постановил: «Подсудимых крестьян Василия Львова Терентьева, Андрона Федорова Юрьева, Петра Иванова Зенцова, Андрея Сергеева Ермолаева, Василия Максимова Алексакина, мещанина Никифора Иванова Козлова и сына купца Владимира Ильина Алексеева за участие в сообществе, состоявшемся для учинения насильственного посягательства на изменение в России установленного законами образа правления, какое сообщество имело в своем распоряжении склад оружия и средства для взрыва, и за совершение разбоя, соединенного со смертоубийством, учиненного по предварительному согласию в местности, состоящей на военном положении, причем названные подсудимые признаны сообщниками, лишить их всех прав состояния и подвергнуть их, т. е. Терентьева, Юрьева, Зенцова, Ермолаева, Алексакина, Козлова и Алексеева смертной казни через повешение».

К двадцати годам каторги были приговорены Никифор Токарев и Александр Лаптев, к пятнадцати — Дмитрий Чудинов, Тимофей Шаширин, Иван и Семен Осокины. На четыре года тюремного заключения осужден Владимир Токарев, лишению прав и высылке на поселение подвергнуты Софья Меклер и Любовь Тарасова.

Семь смертных приговоров вместо ожидаемых тридцати. Однако и семерых не повесили. Борьба за смягчение участи миассцев продолжалась. За них вступилась левая фракция Думы. Партия подняла в защиту боевиков зарубежную прессу. Английская «Пестер Ллойд», французская «Юманите» и другие европейские газеты поместили «Обращение русских писателей к Европе»:

«Мы, группа живущих за границей русских писателей, узнали из вполне достоверных источников, что в городе Челябинске начался процесс в военном суде. Неумолимый суд царя, не знающий меры в своей услужливости правительству и ненависти ко всему, что находится под подозрением протеста против абсолютизма, уже готов устроить массовые избиения. Разыграна комедия суда. Палачи уже намыливают 30 петель... Принцип, которого придерживается русский суд, состоит в следующем: лучше казнить 30 невиновных, чем оставить в живых хоть одного виновного.

Честные люди мира, неужели вы можете спокойно спать, есть и работать в то время, когда 30 беззащитных юношей ждут в мрачных казематах столь ужасной смерти?..

Мы, группа русских писателей, делаем последнюю попытку, чтобы пробудить вас от позорного индифферентизма. Историк будущего поколения не должен, стыдясь своих отцов, говорить: «Они все знали и оставались спокойными».

Обращение подписали А. М. Горький и А. В. Луначарский.

Волна протеста прокатилась по Европе. Социалисты выступали в защиту боевиков в парламентах. Международное мнение, возможность широкой огласки «шероховатостей судебного разбирательства» сыграли свою роль.

«От Генграсса, командующего войсками Казанского округа министру внутренних дел: ...Ввиду ходатайств, несовершеннолетних осужденных, предполагаю казнь заменить каторжными работами, Юрьеву на пятнадцать лет, остальным без срока, прошу согласия Вашего Высокопревосходительства».

Министром внутренних дел был тогда Столыпин. В его честь петлю в России называли «столыпинским» галстуком», но даже он не мог отказать в смягчении приговора.

«Самара. Временно-командующему войсками генерал-лейтенанту Генграссу. Смягчению участи Вас. Терентьева и т. д. предложенном размере препятствий не встречаю».

Смягченный приговор был утвержден главным военным судом с небольшими изменениями.

Безумство храбрых — мудрость жизни?

Послесловие

Ликвидируем «белые пятна» истории, открываем и приоткрываем завесы над прошлым. Восхищаемся, изумляемся, негодуем. Думаю, что и это почти детективное повествование А. Моисеева вызовет противоречивые чувства.

История нашей революции и история партии в революции по «Краткому курсу» и книгам, созданным по предписанной «концепции», долго представлялась нам в голубом, благостном свете. Священный нимб сиял над головами творцов и участников революции. И вот — рассказ об экспроприациях, «эксах», в ходе которых ради добычи «презренных денег» (пусть даже для высоких целей) нередко проливалась кровь невинных людей. Как понять и оценить это? Как соединить в сознании революцию и мораль? Сегодня эти трудные, мучительные вопросы уже толкуют некоторых на самые крайние, однозначные ответы. Они уже готовы писать «Краткий курс» наоборот: зачеркнуть революцию как «ошибку» и, впадая в умиление перед царской Россией, безоглядно восславить все то, что ранее тоже не от слишком большого ума определялось одним словом — «контрреволюция».

Историки, вольно или невольно прошедшие ступени сталинской школы фальсификации истории, должны взять за это немалую долю ответственности на себя. Это они залили приторным елеем суровый лик революции. Ведь никто иной, как Ленин говорил, что «социалистическая революция не может сразу быть преподнесенной народу в чистеньком, гладеньком, безукоризненном виде... И те, кто доказывает нам противное — те либо лгуны, либо человеки в футляре».

В тысячелетней истории человечества народных революций случалось не так уж много. Почему? Потому что революция — это вырвавшийся, как лава из вулкана, открытый социальный протест, это — возмездие и крушение. Л. Троцкий с присущей ему прямоотой и прямолинейностью писал даже, что революция — это самосуд. Но тогда в чем же ее оправдание? Виктор Чернов — один из лидеров партии эсеров, мужественно и самоотверженно борющейся с царизмом, так отвечал на этот вопрос: «Оправдание революции — не в выигрыше времени и не в экономии сил. То и другое проблематично. Ее оправдание, высшее и бесспорное, в том, что она является единственным способом двинуться вперед там и тогда, где и когда упрямство и слепота господствующих, командующих групп и классов пытается глухой стеною остановить мощное и неудержимое историческое движение» (В. Чернов. Рождение революционной России. Париж, 1934, стр. 29). Но это упрямство и слепота рождают встречную реакцию — упрямство, решимость, а может быть, и слепоту угнетенных, униженных и оскорбленных. Наступает социальный катаклизм, разлом и крушение, в которых столкнувшиеся стороны действуют с безоглядной беспощадностью. Революции нужны деньги? В ее среде всегда должны были найтись люди, которые без колебаний могли сказать: силой добудем их у врага, тем более, что они заработаны потом и кровью народа. Так, в годы первой русской революции стали практиковаться «эксы». У большевиков в них, как правило, участвовали молодые рабочие парни, горячие головы, свято приверженные идее борьбы за свержение самодержавия. Тернист был их путь. Один из героев очерка А. Моисеева Константин Мячин в своих неопубликованных воспоминаниях писал: «Начиная с первого же моего выступления 5 года, пуля и намыленная веревка неотступно по пятям преследовали меня». Понимали ли участники «эксов», ка-

кую реакцию могут вызвать их поступки? Понимали. Но тот же К. Мячин писал: «По отношению к врагу все средства были хороши, и его мнение о нас было для нас безразлично».

Однако уже в те годы многим партийным лидерам становилось очевидным: «эксы» и подобные им «партизанские действия» (особенно в спаде революции) способны дискредитировать партию в кругах ее сторонников и посеять семена ее внутренней деморализации. IV, а затем и V съезды РСДРП (1906, 1907 гг.) принимали резолюции против «эксов». Резолюцией V съезда запрещались «какое бы то ни было участие в партизанских выступлениях и экспроприациях или содействие им». Боевые группы и дружины должны были быть распущены.

Ленин и часть большевиков голосовали против этой резолюции. Почему? Соглашаясь с тем, что «эксы» несут в себе определенный элемент аморализма, Ленин, отстаивая свою позицию, считал: «Дезорганизуют движение не партизанские действия, а слабость партии, не умеющей взять в руки эти действия... Деморализует не партизанская война, а неорганизованность, беспорядочность, беспартийность партизанских выступлений». В этом был весь Ленин-революционер. Без экивоков и словесных ухищрений он говорил прямо: «В эпоху гражданской войны (т. е. революции.— Г. И.) идеалом партии пролетариата является воюющая партия». Иной подход Ленин считал тогда «чисто либерально-буржуазным, а не марксистским». Однако, когда полностью выявилось поражение революции, большевистское руководство выступило против так называемой «лбощины» — неподконтрольных партии боевых экспроприаторских дружин. В начале 1908 года ЦК разъяснял: «На последнем съезде партии была принята резолюция, категорически запрещающая экспроприации... и если будет констатировано нарушение резолюций партии, то партия применит к провинившимся самые энергичные меры...»

Однако на местах «эксы» продолжались. В 1908 и 1909 годах они произошли на Урале. Об этом и рассказывается в очерке А. Моисеева. Миасские выстрелы, пишет он, стали вызовом победившей первой русской революционной реакции. Это верно. Но сегодня нам также видно: они были и тревожным симптомом того, что случилось потом, после революции семнадцатого года.

Хочется закончить словами писателя Михаила Осоргина, замечательные воспоминания которого «Времена» напечатаны в «Уральском следопыте»: «...Революция последовательна и едина, и Февраль немислим без Октября. Был неизбежен и был нужен полный социальный переворот, и совершится он мог только в жестоких и кровавых формах. Я его знаю, и я принимаю это фатально, как принимают судьбу. Но чувство не могло никогда оправдать возврата к организованному насилию, к полному отказу от того, что смягчало в наших глазах жестокость минут переворота,— отказу от установления гражданской свободы...»

С высоты нашего исторического опыта, вдумываясь в слова М. Горького, мы вправе спросить себя: мудрость ли жизни — безумство храбрых?

Генрих ИОФФЕ,
доктор исторических наук

Пушкинит Петра Вагнера

В заметке краеведа Г. Воронова («УС», 1988, № 3) рассказывалось о талантливом ученом-зоологе и писателе Николае Петровиче Вагнере. Но не менее интересна личность его отца Петра Ивановича. Судьба его тоже связана с Уралом.

П. И. Вагнер родился в 1799 году в Пинске, окончил Виленский университет и в звании лекаря приехал в Богословский завод (ныне г. Карпинск Свердловской обл.). А потом в течение 25 лет был врачом на Верх-Исетском заводе в Екатеринбурге.

В 1831 году Вагнер удостоен степени доктора медицины за сочинение «Медико-топографическое описание Богословского завода».

В дальнейшем судьба его круто изменилась — он занялся геологией. Изучая уральские кристаллы, открыл неизвестный минерал, назвав его «Пушкинитом» в честь Мусина-Пушкина В «Ученых Записках Императорского Казанского университета» появляется его статья — «Описание нового минерала «Пушкинита». В том же 1840 году П. И. Вагнер получает кафедру минералогии и геогнозии в Казанском университете и устраивает там минералогический кабинет. Затем участвует в геологических исследованиях в Казанской, Саратовской и Оренбургской губерниях, в киргизской степи и по побережью Каспийского моря. Результатом этой работы стала «Геогностическая карта Казанской и Симбирской губерний», изданная в Петербурге.

Юрий СОРКИН,
кандидат
медицинских наук.

Читатель поправляет

Автор стихов
В. И. Лебедев-
Кумач

Очерк Ольги Щербининой «Висим старинный, песенный» («УС» 1989, № 11) вызвал читательский интерес и... недоумение. Вот что написал нам

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

из Барнаула пенсионер В. И. Степаков:

«В очерке Ольги Щербининой упоминается «Колыбельная», начинающаяся стихами: «Спи, мой мальчик, спи, малыш...» Автор сообщает, что эту песенку сочинил сын Т. И. Канонеровой — Иван Кузьмич Канонеров.

Позвольте возразить. Эти стихи известны мне давно, с детских лет. Автор их — известный советский поэт В. И. Лебедев-Кумач. Стихи очень нравятся детям, и я их часто рассказывал своим сыну и дочери, а теперь и внукам.

Вот такие дела. Может быть, и пошел Иван Кузьмич Канонеров в своего деда-сочинителя, как сообщает автор очерка, но все-таки присваивать чужие стихи не надо. Да и редакции любимого журнала следовало бы проявлять большую осведомленность об авторах стихов. Вы не находите?»

Находим, Василий Иванович. Пожалуй, трудно заподозрить в корысти Т. И. Канонерову, которая услышанные от сына-сочинителя стихи невольно приписала ему. А вот упрек, адресованный нам, безусловно принимаем. Остается только порадоваться за читателей, так оперативно обнаруживших оплошность. На нее обратили наше внимание также свердловчане А. В. Павлов и Д. П. Муглев, Л. М. Черенкова из Челябинской области, Э. Н. Заика из Мурманска.

Приводим полный текст шуточной колыбельной «Папочка и мышка», поскольку она сегодня не менее актуальна, чем в... 1935 году, когда была написана.

Спи, мой мальчик, спи, малыш,
Тихо в нашей спальне,
В уголке скребется мышь,
Ты не бойся, маленький,
Не откусит мышка вдруг
Пальчики-мизинчики,
Эта мышка — папин друг
В нашем магазинчике.

Спи, мой милый, спи, малыш,
Отчего ты все не спишь?
Ш-шш... Ш-шш...
Вон и месяц в подушку
Щекою залез.
Утруска... усушка...
Утечка... провес...

В уголке скребется мышь
Бархатною лапочкой.
Эта мышь дает барыш
И тебе, и папочке.

Папа спит на мышей
Фрукты и конфеточки
И накормит до ушей
Дорогого деточку.

Спи, мой милый, спи, малыш,
Отчего ты все не спишь?
Ш-шш... Ш-шш...
Вон звезды, как свечки,
Глядятся с небес.
Утруска... усушка...
Утечка... провес...

Шкурка мышкина — пустяк,
Но из этой шкурочки
Папа выкроил пиджак
И тебе на бурочки.
И пока не тронет кот
Мышкиного ротика,
Будет маме коверкот
И пальто из котика.

Спи, мой милый, спи, малыш,
Пусть тебе приснится мышь...
Ш-шш... ш-шш...
У мышки-вострушки
Есть много чудес:
Утруска... усушка...
Утечка... провес...

Тагильчанку В. Г. Гусеву задело также то, что в очерке неправильно названы имя-отчество ее отца Григория Сергеевича Федулова. Принесим ему наши извинения.

Читатель предполагает

С берегов
Сороты —
в сказку?

Я часто встречаюсь со школьниками. Рассказываю о подпольщиках Пушкинских гор, о боях на Стрельневском плацдарме, где расположено пушкинское Лукоморье и течет голубая река Сороты.

На одной из встреч меня ждал сюрприз: ребята подготовили спектакль по «Сказке о попе и работнике его Балде». Пространство между партами и доской стало сценой. Под первой партой в «море» прятались Бес и его внук-бесенок. Особый восторг у зрителей, конечно, вызвала сцена, когда «с первого шелка прыгнул поп до потолка»...

Откуда, задумался я, возник сказочный образ? Основой Пушкину послужила, как известно, русская сказка, услышанная им в Михайловском.

БУМЕРАНГ

Но все ли в ней выдуманно, а не взято из жизни?

Я вспомнил свое детство в небольшом уральском городке Алапаевске на берегу реки Нейвы. Бытовал у нас в ту пору зимний способ ловли рыбы с применением деревянного молота на длинной рукоятке. Этот молот на Урале, да и на Псковщине, где жила Пушкин, назывался «балда». По первому зимнему льду крестьяне глушили рыбу этим молотом-балдой. Бил старший и сильный рыбак. С первого удара («шелка») оглушенная рыба, подпрыгнув, оказывалась под «потолком» прозрачного льда. Затем следовал второй удар. А после третьего оглушенную рыбу течением несло к проруби, возле которой сидел рыбак с шумовкой в руках...

Такую рыбную ловлю несомненно наблюдал и Александр Сергеевич, когда жил в Михайловском. Я побывал на Псковщине и убедился, что жители тамошних деревень по берегам Сороти и Великой ловят рыбу таким способом.

Не от этого ли промысла родился сказочный Балда?

Б. СОЛОНИН,
участник Великой
Отечественной войны,
лектор общества «Знание».

**Возвращаясь
к напечатанному**

Наши читатели спрашивают, что же меняется в судьбе Верхотурья, неповторимого памятника истории на Урале, о котором писал «Уральский следопыт» (1989, № 8). Мы попросили автора очерка держать редакцию в курсе происходящих в городе перемен.

**Верхотурье:
шаги
к возрождению**

Я несколько не преувеличивал, когда в статье о славе и бедах Верхотурья призывал к чрезвычайным мерам по спасению этого городасокровища, схожего по значимости

с Афинским Акрополем. И что же? Услышан глас вопиющего? А если услышан, то подвигнул ли он кого-нибудь на дело? Может, и не этот глас причастен к событию, но оно произошло — в Верхотурье побывала экспедиция Советского фонда культуры во главе с профессором Ю. А. Ведениным, географом и экологом. В ее составе архитекторы, историки, социологи, экономисты, краеведы...

Задача состояла в том, чтобы рассмотреть возможности возрождения Верхотурского района как уникальной исторической территории и разработать концепцию достижения этой цели. Были встречи с партийными и советскими организациями района и области, а также с населением старого уральского городка. Был выработан протокол совместных действий. Это уже кое-что, ибо сколько десятиков лет вопросы сохранения и восстановления культуры воспринимались на разных уровнях с неизменным звеном, как нечто досаждающее слуху и стоящее в ранжире на ...дцатом месте. Создан общественный совет Свердловского отделения Советского фонда культуры по программе Верхотурья.

Но были не только разговоры. Кое-что делалось и с засученными рукавами. Студенты архитектурного института и Уральского университета под руководством В. И. Симиненко выправили угловую башню и часть стены Николаевского монастыря. Экспедиция ученых Свердловского архитектурного института продолжила исследование территории Верхотурского кремля и Покровского монастыря с помощью инженерно-геофизических методов для поисков фундаментов утраченных зданий, стен, башен, подземных сооружений (ходов, тоннелей, галерей), дренажных каналов и других объектов культурного наследия в грунте.

Используя данные инженерно-геофизических исследований, археологи Пермского университета провели раскопки восточной и западной стен кремля, а также фундаментов северо-западной и юго-западной крепостных башен. Расчищены фундаменты крепостных сооружений, что поможет создать проект реставрации Верхотурского кремля.

Уже сообщалось, что Николаевский монастырь не принадлежит более колонии несовершеннолетних правонарушителей. Здесь теперь размещаются музыкальная школа, ГПТУ, производственные цехи лечебно-трудового профилактория. Часть помещений пустует и уже глядит на мир полувывитыми стеклами. Но есть и светлое пятно: первые насельники-монахи начали вселяться в Николаевский монастырь, чтобы положить конец эпохе разрушения, поругания и осквернения святых мест истории.

Вс. СЛУКИН

Читатель спрашивает

**Разгадайте
монету**



Я увлекаюсь коллекционированием старинных монет. Одна из них мне не знакома. Медная, размеры в пределах 15 мм, подтертая. Прошу помочь мне определить монету.

Сергей КОРОЛЕВ,
г. Дзержинск.



Владимир КИЕНЯ, юрист,
Сергей МИХАЛЁВ, журналист

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОГРАФ ГОРЬКОГО

Письмо А. М. Горького обнаружено в архиве управления КГБ по Свердловской области. Это стало возможным благодаря кропотливой работе сотрудников управления по реабилитации невинно осужденных в годы сталинских репрессий.

Среди нескольких тысяч дел, подготовленных к реабилитации, оказалось дело священника Режевской церкви Петра Павловича Ладыжников. Он был арестован 26 августа 1937 года и обвинен в том, что «...являлся участником контрреволю-

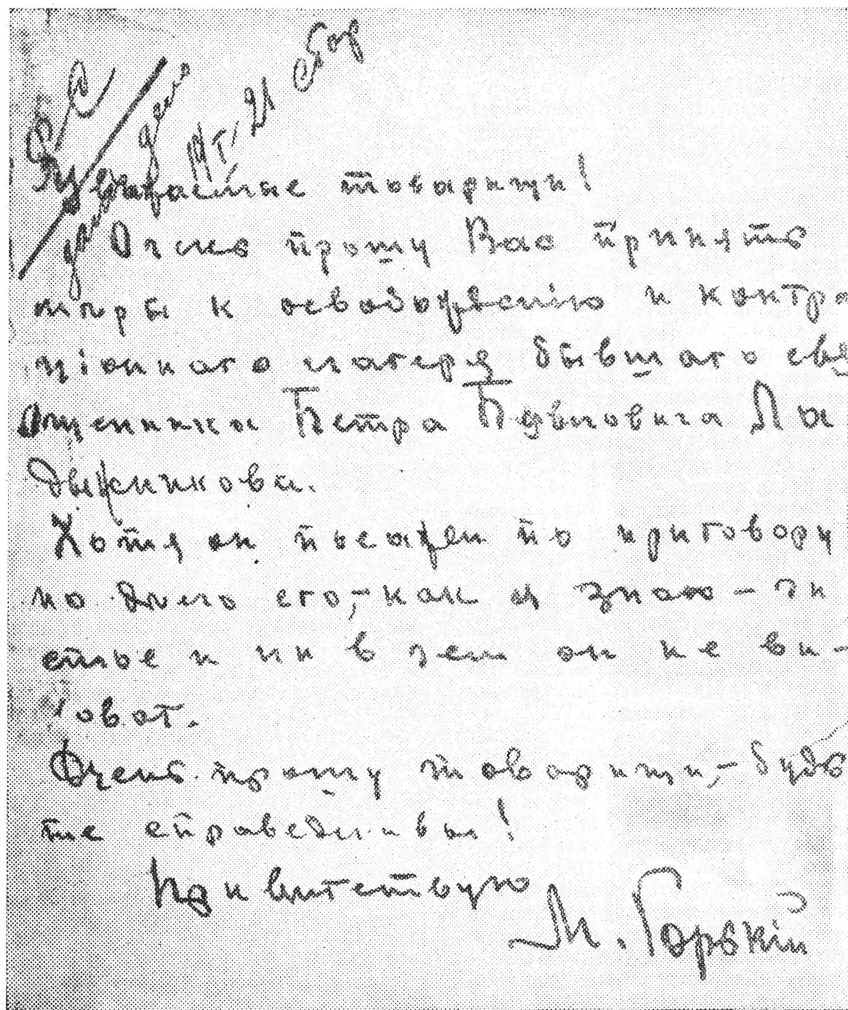
ционной организации церковников на Урале и систематически вел контрреволюционную пропаганду против политики партии и Советской власти, высказывал контрреволюционные намерения». Более конкретных обвинений в деле не было.

Свердловские чекисты внимательно изучили нетолстую папку документов, последним из которых было постановление Тройки при УНКВД Свердловской области от 13 октября 1937 года: Ладыжников приговорен к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на 10 лет. Из протокола допроса видно, что Петр Павлович категорически отрицал свою причастность к «повстанческой организации церковников» и показания епископа Петра Савельева, якобы вовлекшего в контрреволюционную деятельность в числе многих и режевского священника.

Священник в Реж не вернулся, его след затерялся в Сиблаге НКВД. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30—40-х и начала 50-х годов» П. П. Ладыжников по делу 1937 года реабилитирован полностью. Справка о реабилитации и сведения о судьбе переданы его внуку — Е. В. Ястребову, проживающему в Мытищах. Кстати сказать, о действии этого Указа в центральной печати сообщается, в основном, в связи с реабилитацией видных деятелей. А сколько было простых рабочих, крестьян, конторщиков, даже домохозяек, пострадавших в годы репрессий...

По материалам, подготовленным сотрудниками только Свердловского УКГБ за 1989 год, реабилитировано более 10 тысяч человек. Такая незаметная работа идет по всей стране, и за каждой справкой о реабилитации — возвращенное детям, внукам честное имя. Жизнь, увы, не вернешь, — от этого, поверьте, боль семей погибших становится болью сегодняшних чекистов.

Но вернемся к письму А. М. Горького. Как попало оно в дело Ладыжникова? Ниточка поиска повела в год 1920-й. Выяснилось, что в том году священник села Красноярское Камышловского уезда Петр Павлович Ладыжников был арестован Екатеринбургской губчека за то, что годом раньше он в селе Ключевском Шадринского уезда проклинал с амвона Советскую власть, приветствовал приход белых войск и даже вступил в их боевую дружину, прогоняя мужиков с отданных им помещичьих земель; с отступавшими белыми ушел в Сибирь и вернулся в другой уезд, подальше от прежних мест. С высоты сегодняшних оценок мы пони-



маем, что священник действовал по законам своего класса. Но у молодой власти рабочих и крестьян были свои законы, и даже сегодня мы должны признать, что по ним П. П. Ладыжников был арестован и осужден справедливо. Вот только приговор и по тем временам казался жестоким: бессрочное заключение. Тогда и вступился за отца Петра известный писатель М. Горький.

Ах, как хотелось бы нам в духе современного политического детектива написать, что вмешательство знаменитого писателя спасло провинциального священника. Но жизнь, как всегда, оказалась и сложнее, и проще литературы. Еще до того, как письмо М. Горького добралось до Урала, дело П. П. Ладыжникова было пересмотрено, срок заключения сокращен до минимального — до двух лет, считая со дня осуждения. Через год отец Петр был на свободе, принял церковь в Реже.

Но и такой поворот событий нисколько не умаляет цену благородного поступка писателя. Мы знаем, что А. М. Горький в первые годы Советской власти не раз ходатайствовал за конкретных людей, доходя до В. И. Ленина, добиваясь освобождения или смягчения наказания.

Откуда же ему стала известна судьба камышловского священника? Объяснение просто: младший брат П. П. Ладыжникова Иван Павлович был при царе в политической эмиграции, жил за границей вместе с А. М. Горьким. (К слову, существует версия, что В. И. Ленин познакомился с Горьким на квартире И. П. Ладыжникова.) Видимо, Иван Павлович и попросил писателя вступить за брата.

В 1937 году И. П. Ладыжников был членом комиссии по творческому наследию М. Горького. А брат жены священника И. И. Косов, член партии с дореволюционным стажем, в Москве руководил заводом. Но в то страшное время ничье ходатайство не могло...

Нельзя наказывать человека за одно и то же дважды. Сегодняшние чекисты четко определяют подобные действия как преступление. И в нынешней их широкомасштабной работе по реабилитации не найдется места тем фальсификаторам, что впоследствии попали в жернова репрессивной машины, маховик которой сами раскрутили.

...А неизвестному ранее автографу М. Горького, конечно же, должно быть место в музее писателя.

г. Свердловск

Леонид ОСИНЦЕВ,
краевед

ШАДРИНСКИЙ БУЛЬВАР

Обычай присваивать улицам имена других городов возник не сегодня. В губернских и уездных городах дореволюционной России нередко можно было встретить улицу Московскую, об этом как-то писал Д. Н. Мамин-Сибиряк. В советское время этот процесс пошел, так сказать, ширь и вглубь, и мы уже не удивляемся, если в Шадринске, например, встречаем Тобольскую, Курганскую, Челябинскую или Омскую улицы. Но, кроме названия, никаких примет этих городов мы на улицах не увидим.

Вот почему мое внимание привлекла заметка старшего эксперта Ленинградского отделения Советского фонда культуры М. Г. Талалая «Шадринский бульвар», опубликованная в «Ленинградской правде» 1 августа 1987 года.

Он предлагает в одном из новых районов Ленинграда установить скульптуры Ивана Шадра, так как многое в его жизни связано с городом на Неве. А улицу назвать Шадринский бульвар, ведь многие шадринцы жили и творили в Петербурге — Петрограде — Ленинграде.

Петроградцы вместе с шадринцами защищали город в дни гражданской войны, и среди защитников был молодой красноармеец Коля Гарнич, впоследствии писатель, ученый, генерал. Об этом отряде Николай Федорович рассказал позднее в повести «Осьмнадцатый». До прибытия красных питерцев Шадринск принял на свое попечение петроградских инвалидов войны, а также целый детский дом. После гражданской войны крестьяне шадринского села Канаши посылают в Петроград вагон муки, а в благодарность получают от рабочих киноаппарат. Можно привести и другие примеры связи двух городов. Шадринск — родина русского живописца Федора Бронникова, участника товарищества передвижных художественных выставок. Несколько его работ ныне находятся в Государственном русском музее в Ленинграде.

В Шадринск в гости к уральскому краеведу и писателю Владимиру Бирюкову в 1925 году приезжал академик А. Е. Ферсман. А Владимир Павлович был гостем Ленинграда на праздновании 200-летия Академии

наук. Теперь часть личного архива краеведа хранится в Государственной публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Мне рассказывали, что однажды группа шадринских учителей отправилась в город на Неве, чтобы послушать величайшего русского певца Федора Ивановича Шаляпина...

Но вернемся к Шадру.

Иван Дмитриевич пришел с Урала в Петербург пешком, повторил пример не только Ломоносова, но и своего земляка Ф. А. Бронникова, который прибыл из Шадринска в Академию художеств с купеческим обозом.

В столице Иван Шадр почти сразу же попал в сферы искусства, так как одновременно учился на драматических курсах у известного артиста В. Н. Давыдова, а также в школе общества поощрения художеств. Его знали и верили в его будущность художники Николай Рерих и Николай Кравченко. Отсюда, из Петербурга, Иван Шадр ездил на прием к великому Репину, и тот своими отзывами помог ему завершить образование за границей.

В столице Иван Дмитриевич некоторое время учился на оперно-музыкальных курсах, но вскоре понял, что театр — не его стихия, так как нашел себя в скульптуре. Хотя у многих была уверенность, что и в театре он создал бы себе имя.

Итак, Шадринский бульвар в Ленинграде... Как же общественность откликнулась на эту идею?

Научный сотрудник В. С. Семкин пишет, что в районе Ржевки-Пороховых сосредоточены проспекты Индустриальный, Энтузиастов, Ударников, Наставников, улица Коммуны. «Эти названия созвучны Революции, Труд, словом, тому, что вдохновляло Шадра», поэтому здесь место бульвару с копиями его скульптур.

«Работа Шадра — пролетарий, выламывающий булыжник из мостовой, — пишет ветеран войны В. А. Петров, — так и просится на угол проспектов Стачек и Ленинского. Ведь Шадр и хотел изобразить стачечника. Место — прекрасное!»

«Думаю, что Шадринский бульвар, — пишет инженер Л. М. Григорьев, — сразу станет достопримечательностью. Тем более, что в наших новых районах их практически нет, хотя Ленинград и славится своими памятниками. Все они — в центре...»

г. Шадринск

ПОБЕД

Николай
БЕРЕЗОВСКИЙ

Рис.
Владимира Ганзина



— Чего тебе? — спросила женщина Радика, как бы не замечая нас.

— Батя дома? — Радик мгновенно охрип.

— Нет Петра Петровича, — ответила женщина и попыталась закрыть дверь, но та не подалась — Радик сунул в щель ботинок.

— А когда будет? — спрашивал он, а за его спиной стояли мы, и мы видели главное, ради чего сюда пришли — в прихожей на вешалке висела светлая шинель с полковничьими погонами.

— Не знаю, когда он будет, — сказала женщина, и Радик отступил в сторону. Дверь закрылась, шелкнул замок.

— А шинель-то его висит, — сказал он уже на улице.

— Че, у него одна шинель, что ли? — сплюнул Сашка, не глядя на Радика, и Радик просветлел.

— Угу, у него и другая есть, серая, полевая, — сказал он, шмыгнув носом, а мимо, редко еще кто в плаще, шли, оглядываясь на странную троицу, люди, и не знаю, что грело Сашку, а Радика наверняка было тепло от мысли, что его отец, уходя из дому, надел другую шинель, не всегда ведь ходить в парадной.

— Вот был бы он дома, — протянул он, и мы не сомневались, что, застань он дома отца, мы бы не стояли теперь в подворотне и не ушли с пустыми руками.

— Он мне раз черновец дал, — сказал Радик.

О женщине, открывшей дверь, мы не говорили.

После обеда пришел Толик Шелков, и не один, а с Миркой Ишмухамедовой и Галей Павловой. Они принесли котлеты с картофельным пюре, хлеб, и пальто Кольке с Драчуком принесли, и заохали, заглядывая в лаз землянки, крышу которой мы уже засыпали землей и замаскировали кустиками, заохали — так им не терпелось туда спуститься. Правда, Галя больше молчала, это Мирка восхищалась за двоих, а Радик, и без того молчаливый, совсем затворился, стушевался перед Павловой. Все знали, что он к ней неравнодушен, знала об этом и она, поэтому улыбалась смущенно, а Мирка не останавливалась.

— Мальчики! Как здесь хорошо, мальчики! — восторгалась она. — Можно, я останусь с вами, мальчики?!

Бант ее порхал вокруг землянки, потом скрылся в лазе, затем вынырнул на волю, несколько потемневший, и глаза Мирки были широко распахнуты, в них билось солнце, почему-то темное.

— Даже печка есть! — сообщила она неизвестно кому. — Это ты ее сделал? — вцепилась в меня, а когда я сказал, что печь сложил Колька Радик, потускнела.

— А я думала...

— Мы вместе сложили печку эту, — буркнул Радик.

Мирка снова просветлела, а Толик Шелков помрачнел.

В интернате нас, оказывается, вовсе искали. Исаак Львович ходил к Радика домой, думал, что мы скрываемся там; Колькина мать послала его подалше, мужик, распивающий с ней бутылку, поддал коленом, и старший воспитатель вернулся красный и злой.

— Даже не заметил, что мы чужие пальто несем, — сказала Галя Павлова.

Исаак Львович и вправду не заметил, что несут девочки, наткнувшись на них в фойе школы, не до них было — так его оскорбили впервые в жизни. «Ну, погоди!» — пригрозил

он то ли мужику, то ли матери Радика, влетая в кабинет директора.

— Что с вами?! — испугалась его вида Ксения Михайловна.

— Как мальчишку... Как мальчишку... — чуть не заплакал Исаак Львович, но сдержался, дернул к себе телефон.

— Куда это вы собралась звонить, Исаак Львович?

— В милицию! — Исаак Львович не смотрел на директора.

— Я уже звонила, — сказала Ксения Михайловна. — Наших ребят, по всем приметам, они не задерживали. А у вас как?

— Пусто...

Исаака Львовича еще потрясывало от оскорбления, но принимать меры он уже раздумал, стыдно стало, что позволил себя вытолкать, не маленький ведь. Да и техникум физкультурный закончил, мог бы дать сдачи. «Струсил, что ли?» — раздумывал он, отходя, и повторил:

— Пусто там Ксения Михайловна. И духовно пусто — водку пьют.

— Предупредили хоть.

— Предупредил, — солгал Исаак Львович и устало опустился на стул, вздохнул: — Не понимаю, Ксения Михайловна, от кого они убежали? Почему? Разве мы звери?

— От зверей, насколько мне известно, потомство не бегаёт, — усмехнулась Ксения Михайловна.

— Вам весело! — взорвался старший воспитатель. — А как в горно узнают? Или случится с ними что? Первой же моя голова полетит! — рубанул он ребром ладони по затылку.

— Знаете, Исаак Львович, — сказала вдруг Ксения Михайловна, — я бы на их месте, наверное, тоже убежала...

— Почему? — ошарашил старший воспитатель.

— Запугали мы их очень. Чуть что — исключением грозим. Из-за копейного стекла следствие наводим. Радионина на подсове колонией пугаю, а надо бы с его матери начинать. И вообще — вспомните свое детство...

— У меня не было детства, — глухо отозвался Исаак Львович. — Я просидел свое детство в погребке, в Барановичах. Мою мать, мою сестру сожгли в концлагере. Когда я выполз из погреба, я ослеп. Мне было пятнадцать лет, а я учился ходить заново.

— И они у нас точно в погребке живут, — будто не слышала Ксения Михайловна. — В светлом только, в теплом. Но простора-то нет! Туда не ходи, сюда нельзя, этого не трогай, того не делай... Вы ведь, Исаак Львович, сами рассказывали, что даже вас, в тех немислимых условиях, и то иногда ночью выпускали из погреба. Вы ведь сами рассказывали — даже на качелях качались, с девочкой женщины, которая вас прятала.

— Качался, — опять же глухо подтвердил Исаак Львович.

— А вы говорите, что детства не было, — вздохнула Ксения Михайловна. — У меня его тоже вроде бы не было. Сколько себя помню, все чужих детей нянчила, хотя сама была ребенком. Нянчила — пока на рабфак не определили. А вот как старость подкралась, глаза закрою и вижу — завязываю куклам банты, в платица их обряжаю, с котенком балуюсь. Только осторожно все так делаю, чтобы зашнувшее дите в зыбке не потревожить. Своих-то игрушек не было, хозяйскими играла. Поверите ли, такое ощущение, что я там так и осталась, в детстве, со всем хорошим, что и тогда было, пусть и редко. И девочка, какую я вижу порой, точно понимает это, прижимает пальчик к губам:

тише, мол, не мешай... И порой точно током ударит осмысленное: вот сейчас, стоит только очень захотеть, и все вернется... Все мы родом из детства, Исаак Львович, только забываем об этом, к сожалению.

— Возможно,— кивнул Исаак Львович.— Может быть, и так, Ксения Михайловна. Но что же нам теперь-то делать? На матери Беликова лица нет. Мать Драчука жалобу грозится написать. Только Радионова водку хлещет... Они почему же своего детства не помнят, как вы?

— Помнят,— сказала Ксения Михайловна.— И они помнят. Только бояться в него вернуться, пусть даже мысленно. Ведь тогда все придется переосмысливать, потому что из детства будущее видится по-другому. Как из настоящего, сегодняшнего, прошлого. Все ошибки, все неверные поступки и повороты... А вот что делать сейчас, не знаю пока и я. Знаю лишь твердо одно: от себя никому не убежать. Никогда. Так что будем ждать.

— Дождемся...— хмуро пообещал Исаак Львович.— С гороно шутки плохи, Ксения Михайловна... А может, они на вокзале ошиваются? — вскочил вдруг он.— Они же наверняка удрать куда-нибудь задумали!..

Вокзал Радик называл баном.

— Зря только на бан ездили,— сказал он, когда мы вернулись на уже обжитый нами пустырь. Цена билета оглушила и его, да еще чуть на старшего воспитателя не навралась, спасибо Сашке, вовремя длинный заметил, а то бы стоять сейчас в директорском кабинете, хлопая ушами, как выражается Борька Фризин.

— А вон Борька тащится,— углядел Фризина Драчук. Фризин и вправду тащился, едва передвигая ноги: за плечами его был огромный мешок, оказавшийся вблизи матрасовкой. Борька, сбросив груз у землянки, уселся на него верхом. Лоб его влажно блестел.

— Упарился,— сказал он.

Борька, как всегда, глядел исподлобья, так глубоко были посажены глаза, и никто из учителей не мог выдержать его взгляда — настолько он казался пронзительным и тяжелым. Но по натуре Борька был добр и безотказен.

— Вот,— ткнул он кулаком в матрасовку,— пока воспитатели ушами хлопали, мы тут собрали кой-что...

Куда они подевались, те кастрюли и одеяла, подушка и матрасовка, доставленные Фризиным, я уже не помню. Наверное, эвакуировал потом кто-то из одноклассников обратно в интернат, как-никак, а вещи не бесхозные, за кем-то числились. Но вот труба, помню точно, была у Сашки за спиной, когда мы возвращались под конвоем туда, откуда убежали. И как мне ни было худо, я все же заметил, что Драчуку не по себе, что он сторонится не только старшего воспитателя, но и нас. Заметил это, вероятно, и Радик, потому что спросил, ухмыльнувшись:

— Что, отчима труснешь?

Драчук не отозвался, дернулся лишь испуганно, вздохнул печально, а Исаак Львович странно на него посмотрел, как бы с презрением. Тогда мы не придали этому значения, но теперь я точно спотыкаюсь о сумрачную фигуру и насупленную, с улывающим взглядом физиономию Сашки. И чтобы подтвердить сегодняшнюю свою догадку, начинаю прокручивать предшествующие нашей поимке события, возвращаясь к тому вечеру, когда я спросил Радика, почему он вдруг тоже решил убежать.

— А-а,— отмахнулся он,— меня все одно не потеряют.

У костра, насупившись, обхватив длинными руками острые колени, думает о чем-то Сашка Драчук. Темно. Интернат уже не проглядывается, только по территории завода шарят лучи прожекторов да слышно, как прогрохотал по улице Лизы Чайкиной трамвай — последний, наверное. Ветер раскачивает лампу под жестяным абажуром, вознесенную над строительством будущей больницы, куда меня лет десять спустя привезут с приступом острого аппендицита. Я буду лежать после операции в палате на четвертом этаже и смотреть в окно, выходящее на пустырь. Пустырь

будет прежним, зеленеющим картофельной ботвой, и, кажется, я разгляжу даже взгорок, за каким была выкопана наша землянка...

— А ты, Сашка?

— А? — отрывается Драчук от дум.

— Ты, спрашиваю, что с нами здесь потерял?

— А ну их! — говорит Сашка.— Надоело. Отчим ремнем лупцует. А у меня в дневнике опять пара.

— Какой отчим? — удивляюсь я. Насколько мне известно, Сашку и трех его младших братьев воспитывает одна мать, такая же высокая и худая, как он.

— Дядя Сема,— говорит Драчук.— Он с матерью живет...

— Приходящий? — роняет Радик.

— Он следователь,— точно не слышит Сашка.— Он воров ловит. И нас поймают,— делает вывод.

Следователь с матерью Драчука и вправду приходил в интернат, спрашивал ребят, не знают ли они, где мы скрываемся. Не знаем, отвечали ему, и тогда следователь, усмехнувшись, сказал: «Передайте Александру, если встретите случайно: ну и вздрючу я его!»

Ночью, когда я уже засыпал, сжавшись в комок под одеялом, принесенным Борькой Фризиным, меня толкнул в бок Колька Радик:

— Славка, а Славка... Спишь, что ли?

— Ну! — дернулся я недовольно.

— Ты это, Славка, слушай... Это ведь я стекло-то расколотил, слышишь?

— Слышу...

Не знаю, что сдерживало меня, но Кольке и по сей день неизвестно, что мы видели с Драчуком, как он бросил камень. Молчал и Сашка, потому что он редко говорил, если его не спрашивали.

— Ага, я,— повторил Радик, помолчав.

— Зачем?

— А черт его знает! — выругался Радик.— Точно вдруг стало — мать гудит, Маринка сама по себе дома ползает, а тут еще колонией грозят... К черту, думаю, все! Взял и швырнул кирпич. А там, в классе, это, ну... струсил. Хочешь,— приподнялся Радик на локте,— я завтра пойду и скажу, что это не ты, а я?

— Давай спать,— сказал я.— При чем здесь стекло...

— При том! — озлился Радик.— Ты вроде честный, а я... и вообще, чего они на меня все взъелись? — недоуменно спросил он.— И Исаак, и Надежда... Надежда и смотреть не хочет, даже когда я курю. А я ведь нарочно, чтобы видела,— признался он тихо и замолчал, потрескивали лишь уголья в печке, да шелестел наверху ветер, и казалось, что так покойно и по-хорошему печально будет всегда.

Утром мы отправились в парк. Парк лежал через дорогу от интерната, обнесенный железной узорной изгородью, но ворота его всегда были распахнуты, входил кто хочет, только в воскресенье пропускали по билетам, тогда ворота сторожили контролеры. Но в субботу, после уроков, нас отпустили по домам на воскресенье,— так что в парк мы ходили в будни и бесплатно.

Сейчас парк поредел, кустарниковые заросли вырубил, березовые массивы превратились в колки, и там, где раньше можно было, укрывшись, развести костер, теперь разнообразные аттракционы. Моего сына хлебом не корми — хлебу он предпочитает колесо обозрения, или самолетную вертушку, или карусель, или хотя бы комнату смеха... Много изменилось в парке моего детства, но котлован остался прежним, обрываются лишь его берега да вычистили дно, и зимой он превращается в каток, а летом здесь открывают лодочную станцию.

Весной котлован никому и ничему не подчинен. Живет сам по себе. И едва солнце затемнит зеркальную гладь катка, потеплевшая вода поднатужит спину, вспучит панцирь, а ночной свежак разгонит его льдинами, одну вскинув на ребро, другую загнав под еще крепкие забереги, третью пустив вольно по очищенной середине водоема. К чистой воде

еще можно добраться просторным шагом, не опасаясь провалиться, но уже потрескивает под ногами, уже видны расползшиеся по припаю трещины. И не днем, а опять же ночью рвет припай невидимая сила. Как было бы интересно наблюдать за ледоломом при свете и, если это рождение, приветствовать его радостью, а если смерть — печально обнажить голову.

Интерес, как ни странно, вызывает и смерть, быть может, даже больший, чем рождение. С рождением все ясно, роженицу приходят поздравить лишь ближние, а на похороны собираются невесть кто, особенно тяготеют к ним старики. И часто, наблюдая за ними, я думаю: что их заботит, что видят они, отдавая последнее уважение покойному? Свой ли последний час, свое ли последнее пристанище, обтянутое крепом, или дни, какие им еще подарит жизнь, или — нет на это ответа! — свое собственное бессмертие, потому что старики, как утверждают, те же дети, а кто из нас в детстве верил в свою смерть?

Не верил, что умру, и я, да и никто не верит, страшит лишь переход, нам неведомый, из одного состояния в другое, но и его зачем бояться, если поразмыслить: разве нам до рождения было худо? И если мне удалось вернуться оттуда, куда загаянул лишь на мгновение, то сейчас, вспоминая то мгновение, в какое вместиться успело многое, признаюсь, что страха я не испытывал, окатило только удивлением, когда увидел перед собой отца.

Отец стоял передо мной по-прежнему тридцатилетним, в том же светлом костюме, в каком его похоронили, кажется, даже отглаженном, лишь щек явно давно не касалась бритва, да шею по окружности глубоко бороздил рваный шрам, он приковал в первую очередь мой взгляд.

— А, это, — сказал отец странно равнодушно и потер шрам рукой. — Плохо зашили, — сказал он. — Студенты, видимо, зашивали. — И сделал вывод:

— Я бы зашил лучше.

Тогда он лежал на длинном и скользком столе, и лежать ему было наверняка неудобно и холодно, холодило железо, оцинкованное, да и вообще в анатомической всегда холодно. Вокруг толпились студенты. Их специально сняли с занятий, чтобы глядяно показать отчленение головы, необычное — на трамвайных рельсах, и потом, после объяснений, паталогоанатом ушел пить чай, а будущие врачи, кто скрывая брезгливость и отвращение, а кто с удовольствием, вооружившись кривыми иглами, прошили, точно мешковину, уже успевшую одеревенеть кожу, может, сделали еще что-то, и тоже затем ушли, а отец остался лежать. Такого неуютно он никогда не испытывал, и было больно, так больно, что хоть кричи, но мертвым кричать не положено, и он молчал, вытянувшись на столе, и не шевелился, потому что и шевелиться нельзя, не принято в таком состоянии, а вот думать думал, скорее мечтал, чтобы за ним поскорее приехали... Его привезли домой уже одетым, в гробу, и шва не было видно, потому что кто-то догадался положить под подбородок клок ваты, и издали казалось, что отец с бородой, но он был выбрит так чисто, как, возможно, никогда в жизни. Отца брил при мне знакомый старик, опасной бритвой, наверное, ровесницей старика — настолько истончилось ее лезвие за годы верной службы. Старик брил отца как живого, с мыльной пеной, пробуя чистоту бритвы перед каждым махом пальцем. Теперь подбородок тронул отец, поморщился, ощутив жесткость щетины, он всегда был аккуратист и чистюля, и спросил, но опять без надежды, а как бы мимоходом:

— У тебя случайно с собой лезвий нет? У нас тут плохо с лезвиями.

— Отец! — чуть не взвыл я. — О чем ты говоришь, отец?!

— О дефиците, — тускло сказал отец. — В нашем веке не умеют снаряжать в последний путь, как прежде. Вспомни скифские курганы и пирамиды — у их хозяев было все. Да и тесно у нас, как видишь, — добавил он, но я ничего не видел, кроме блеклой, словно протертой пустоты за его спиной, и он не удивился, когда я сказал ему об этом.

— Многое мы начинаем видеть только на расстоянии, когда наступает пора оглянуться, — заметил он. — Впрочем, — глянул он мне куда-то под ноги, — ты здесь на этот раз не задержишься.

— Где — здесь? — ухватился я за слово, пытаюсь, наконец, уяснить происходящее — во сне оно или наяву.

— Здесь, — туманно сказал отец. — Везде, — пояснил также туманно, на этот раз, кажется, улыбнувшись, но эта улыбка обдала меня таким холодом, что выдержать ее неостало сил, меня точно схватили за шиворот и выдернули в огненное тепло, я задохнулся...

— Очухался! — донесся голос Сашки.

— Ага, — согласился Радик, поднимая меня. — Очухался. — И приказал: — Теперь беги, а то загнешься. Беги! — и повлек за собой, схватив за руку, и на бегу я никак не мог сообразить, почему с меня течет, почему хлопает в ботинках вода, а об отце вспомнил в бреду уже к следующей ночи, когда меня свалила хвороба...

— Когда льдина нырнула, мы думали, тебе какую, — рассказывал в землянке Радик. — Был — и нету! Хорошо, Драч длинный: я его за ноги, значит, лежа, а он, лежа, к тебе — выхватил. Да ты и нагоготаться-то не успел, —



сказал он уже пренебрежительно, подбрасывая в печку топливо, а Сашка молча дудел в свою трубу, опробывая, что ли, потому что труба не играла, а точно сплевывала.

— Да заткнись ты! — прикрикнул на него Колька.

— Сейчас, — сказал Сашка. — Мундштук засорился, — и сплюнул особенно витиевато.

— А лепень твой уже высох, — через минуту сообщил Радик.

Лепенем он называл пиджак. В этот раз за пиджак сошла школьная гимнастерка. Сушились, подвешенные к потолку, и другие мои вещи. На палки, воткнутые в пол, были вдеты ботинки, от них шел особенно густой и тяжелый дух, и вообще наша землянка напоминала парильню по-черному — так в ней было мокро, жарко и душно.

— Как в бане, — сравнил Драчук, перестав прочищать мундштук.

— Угу, — сплюнул Колька и набросил на меня третье одеяло. — Банься дальше, — пробурчал он и, выхватив из гопки обугленную щепку, прижег окурком.

— Ему бы сейчас в кровать, — сказал Сашка обо мне. — И чтобы чай с малиной, — добавил он, проявляя заботу, но Радика не понравилась такая разговорчивость.

— Заткнись! — сказал он снова, а я лежал и удивлялся, как это Колька терпит огонь на губах: окурок уже успел превратиться в уголек. «Но это же Колька!» — вдруг вспомнил я. Может быть, Радик родился на свет шпаго-или огнеглотателем, какие бывают в Индии, только ему забыли об этом сказать, поэтому он выступал не в цирке, а просто так, попусту проглатывая шарики, выбитые из подшипников. Еще он умел жевать бритвенные лезвия, тоже затем их проглатывать, пил на спор кипяток, ничуть при этом не морщась и не обжигаясь. Однажды за глотанием шариков его застала Надежда Дмитриевна, ужаснулась, всполошнулась, потащила к фельдшерке Беле Ивановне, но та, уяснив суть, равнодушно и прямолинейно успокоила, отчего наша Надежда Дмитриевна залилась краской: «Про.....»

Бела Ивановна первой поставила диагноз и мне, когда нас под конвоем доставили в интернат.

— Не умрет — жив будет, — сказала она и поместила в изолятор, откуда затем мама увезла меня домой, чтобы я никогда уже не вернулся назад.

Где она сейчас, эта уже тогда пожилая и маленькая женщина с птичьим морщинистым лицом и с вечно закушенной папиросой в уголке рта? Ведать не ведаю, но вот вспомнилась, и что-то светлое и чистое, как ее халат, коснулось моей души. А ведь и внимания нам она особого не уделяла, и освобождениями от занятий не баловала, и прятались мы от нее кто где, когда наступала пора прививок, после которых вздувались под лопатками желваки, сжигала тело температура и нельзя было двинуть рукой. Впрочем, не отозвалась ли ее скрытая доброта в нашей памяти теми ярко-красными витаминными шариками, какие она с непонятной щедростью раздавала налево и направо, прямо пригоршнями? Мы катали их во рту языком, и таяли глянцево-сладкие облатки, а затем так приятно сводило кожу кислотой, в них заключенной, что и сейчас, когда я пишу эти строки, ощущаю этот вкус детства, связанный с неприметной фельдшерницей Белой Ивановной, которой, возможно, уже нет в живых.

Быть может, кто знает, вспоминает именно в эти минуты и меня мой сын, которого я с такой же щедростью пичкал белыми таблетками из стеклянных трубочек — витамином С. Он так его любил, а я помнил свое детство.

— Опять! — сдвигала брови жена, находя в костюмчике сына, или в кармане его шубки, или просто на полу пустые стеклянные гильзы из-под витамина С, и читала очередную лекцию о вреде бессистемного приема лекарств, пусть даже витаминов. И я, переживший и испытавший на себе эту бессистемность, здоровый, быть может, благодаря именно этой бессистемности, молчал, чтобы на завтра, забежав с сыном в аптеку, купить ему очередную порцию.

Конфет сын не терпел — как настоящий мужчина. А может, просто не привык к ним, потому что, еще не изведав их вкуса, уже знал, что от них портятся зубы. Кажется, его мать всегда знала, что такое хорошо и что такое плохо. Она и на развод подавала в убеждении, что так будет лучше не только мне и ей, но и человеку, для которого первым словом было — папа.

— Так будет лучше нам всем, — сказала она, подогнав к бывшему нашему дому машину, чтобы перевезти мебель и вещи к своей матери. А погрузив их, добавила, как, думала она, требовал ее долг врача: — Ты уже куришь десятую сигарету. Сколько я тебе раз говорила, что это вредно! Подумай о своем здоровье...

Долг был исполнен, машина уехала, минуло уже три года. Мне тридцать лет, сыну — шесть, иногда мы видимся, но мельком, и все же я успеваю сунуть ему столбик витаминов, каждый раз переживая, что сыну трудно будет его спрятать: теперь витамины стали почему-то выпускать не в стеклянных трубочках, а обернутыми в целлофан, который громко шуршит, когда его разворачиваешь.

Бела Ивановна, судя по ее поступкам, не задумывалась, что такое хорошо и что такое плохо, она не подсчитывала в интернатском борще калории, а определяла пробой — вкусен ли он, прежде чем дать добро на обед, и не говорила, ставя укол, мол, не бойся, колнет комарик — и все, а предупреждала загодя, что будет больно, и боль не казалась уже такой болевой, как представлялось. Но Бела Ивановна была всего-навсего фельдшерницей, быть может, даже медсестрой, а у мамы моего мальчика врачебный диплом, но я бы не хотел попасть в число ее больных. Странно, что ценность человека познается лишь со временем, но было бы лучше, будь иначе, — кто знает...

— Знаешь, — сказал Радик на второй день побега, — я это, я, наверное, школу вовсе брошу, работать пойду. Маринка растет, ей учиться... А-а, — не договорил он, и я не понял тогда, причем здесь Маринка, только много позже дошло: Радик сознательно убежал от своего будущего, чтобы облегчить в него дорогу сестре. Мать вряд ли бы сумела поставить ее на ноги. Из всех нас Колька повзрослел первым. Даже Толик Шелков с его целеустремленностью был тогда все-таки ребенком, потому что не ощутил еще ответственности за ближнего. А Радик думал о сестре, о ее завтра, и действительно помог. Когда я недавно встретил их мать, та сказала — на этот раз желтизна расплывалась под обоими глазами:

— А Кольку, слышь, Марка-то заместо отца почитаешь... Рубель не дашь?

Не стал ли мой сын вроде рубля, которым я откупился от бывшей жены, забыв о ней самой, о том, что я ответственен и за нее, как и за нашего сына? Ведь были до его рождения и снегопад для нас двоих, и рука в руке в душном зале кинотеатра, и шалости, когда забывалось, что мы взрослые... Да мало ли что было, а потом кануло неведомо куда, обернулось холодом и отчужденностью.

— Вот и живи теперь со своей пишушей машинкой, — сказала еще жена, уходя.

Может быть, это был ее побег. Но стоит ли убегать, если ясно, что погони не будет?

За нами погоня была. Нас искали, не подозревая, что мы рядом, в двухстах метрах от территории интерната, стоит лишь перелезть через забор, пройти картофельным, еще не подернутым ботвой, полем, обогнуть взгорок — и наткнешься на землянку. Правда, нас трудно было застать днем, но ночи мы проводили в своем убежище, и если кто-то не поленился бы выйти в ночь, то непременно заинтересовался выбрасываемыми из-под земли снопами искр. Топили мы печку непрерывно, землянка словно втягивала в себя остатки зимнего холода, но нагревалась она быстро, и тогда стены слезились, на полу скаплива-

лись лужицы, и пришлось застелить его стянутыми на той же больничной стройке поддонами. Радик предложил обшить досками и стены, но предложил лениво, и мы промолчали, каждый про себя знал, что мы здесь не задержимся, мы уже начали уставать быть беглецами и потому, наверно, всюду шуравили топку, бессознательно надеясь, что зарево в ночи привлечет внимание взрослых.

— Жар костей не ломит,— говорил Радик, подбрасывая в печку очередную порцию дров.

— По весенней поре лучше жить при жаре,— подбрасывал я другую, а Сашка Драчук, закрыв глаза, выдувал из трубы непонятную, но шемящую мелодию. Теперь я предполагаю: прикидываясь музыкальной занятостью, он думал, как сообщить в интернат, где мы находимся. Или я не понял намека старшего воспитателя? Тогда необходимо встретиться с Сашкой.

— Это правда?— спросу я длинного и нескладного прапорщика с медной трубой в руках.

— Я не мог поступить иначе,— тотчас поймет он мой вопрос и устало вздохнет.— Если бы ты был на моем месте,— скажет он еще.

И он действительно не мог иначе, его ждала мать, о чем сообщила Галя Павлова. Мать, поступившаяся своим личным счастьем ради сыновнего. И Сашка, осознав это, искал лишь веский повод для нашего раскрытия, чтобы, пусть и тайно, быть честным перед собой и перед нами. Он сразу же понял, едва я провалился под лед,— вот он, этот повод, и уцепился в правомерности своего следующего поступка, когда меня свалил жар. Рано утром, посланный Радиком за дровами, Сашка юркнул на территорию интерната, пробрался, прижимаясь к стене бытового корпуса, к окну комнаты, где жил старший воспитатель,— а тот жил долгое время при интернате, пока не получил долгожданную квартиру,— и затарабанил в стекло косячками грязного кулака, и стук этот показался ему сильнее грома.

Возможно, все было совсем не так. Но важно ли это, если, сочиняя исповедь, воскрешаешь не столько прошлое, сколько сегодняшнее свое представление о нем...

Интернат еще спал, оживала лишь кухня, где повара тетя Клава и ее помощницы приступали к раскладке завтрака, да затеплилась труба коцегарки— это коцегар дядя Иван, старый солдат, раздувал очищенную от ночного шлака топку. Давно был на ногах и старший воспитатель. Последнюю неделю Исааку Львовичу было не до сна, особенно после вызова в горно. Уже выбранный до снєвы, он варил кофе, помешивая чайной ложечкой в кофеварке, но выпить его так и не довелось, кофе сбежал, наполнив маленькую квартиру горьким чадом,— углядев через окно Драчука, он забыл выключить газ. Выключил его потом, когда Сашка подался обратно, нутро кофеварки обгорело, сода не брала, пришлось скоблить дно и стенки ножом, и это было так же неприятно, как и просьба воспитанника, на какую Исаак Львович точно наткнулся, распахнув дверь:

— Только вы никому не говорите, Исаак Львович...

— Ну!— подавил неприязнь к неожиданному и сейчас уже нежеланному гостю старший воспитатель.— Что еще скажешь?

— Славка заболел,— сказал, не поднимая глаз, Драчук.— Мы здесь, рядом, на пустыре. Дым идет...

Славке было действительно худо. Лежала перед ним на столе початая пачка «Беломэрканала», два обгоревших мунштука уже скрючились в пепельнице, а отец протягивал третью папиросу. Славка выкурил ее, а на четвертой грудь рванул кашель, кухня неестественно вытянулась, сундук всучился, а его самого стало выворачивать, точно варежку или носок. Захлебываясь непонятно чем, он вспомнил, что капля никотина убивает лошадь— такой плакат висел в школе.

Теперь Славка тонул в этой капле, неожиданно сползшей с плаката, висевшего возле печи в той, первой и нор-

мальной его школе, где он проучился чуть больше года.

Школа была бревенчатой и начальной. Стоило перебежать дорогу— и вот ты на ее крыльце, одна из четырех комнат за дверью— твой класс. Где он был— напротив печи или справа от нее?— Славка сейчас уже не помнил, помнил хорошо лишь девочку Любу с льняными волосами за партой перед собой да рыжего ее соседа Вовку, с которым и застучали за раскуриванием подобранного на тротуаре окурка. Вовка утверждал, что курит всю жизнь, и Славка не хотел быть хуже: подумай— курит, я тоже курю, пусть и Любе об этом скажет,— и накурился на свою голову. Отец, когда ему донесли, выложил на стол пачку папирос:

— Кури, коли такой взрослый.

Мама бы непременно взялась за ремень, но мама задержалась на работе, а отец и пальцем никогда Славку не трогал, не тронул и теперь, стоял, усмеяясь: что, мол, слабо?— и Славка вытянул первую папиросу...

— Воспитатель!— услышал он поздним вечером, когда в голове прояснилось и прекратилась тошнота.— Так ребенка калекой можно сделать!

— Клинь клином, Зина, вышибают,— отвечал тихо отец.

— На тебя его только нет!— повысила голос мама.— На водку твою!

— Поздно уже, давай ложиться,— совсем приглушил голос отец, а мама, заплакав, выдавила сквозь слезы:

— Уйду я от тебя, Василий. Вот те крест, уйду...

— Тогда, боюсь, не к кому тебе будет возвращаться, Зина,— глухо отозвался отец.— Я и без того запутался— что дальше, как, зачем? Тридцать уже скоро, а ничего не сделано. Славка разве что с Сашкой...

— Разве этого мало?— перестала всхлипать мама.— Опять чушь, Василий?

— Мало,— жестко сказал отец.— Что Славка скажет, когда станет взрослым? Что его отец дальше стихов в районной газете не пошел? Бездарь! И что даже не врач— фельдшер. А родить его от тебя мог и другой. Вся жизнь насмарку!

— Мы не хуже других живем,— робко сказала мама.

Славка прислушивался, многого не понимая, да и не в словах было дело, его пугал голос отца— в нем звучали надрыв и опустошенность. Славка определил состояние отца по-своему: ему тоже захотелось умереть, когда соседка застала его с Вовкой за курением. Но ведь все обошлось, умирать раздумалось, почему же отец, такой сильный, добрый, курящий открыто, почему он мается, чего боится, зачем хочет их оставить? «Он хочет, чтобы его пожалели»,— догадался Славка, а догадавшись, выбрался из-под одеяла, юркнул в комнату родителей, приник к отцу.

— Папа,— сказал он,— меня родить мог только ты...

— У него жар. Он бредит,— сказал Радик.— Потому и несет ерунду...

Я слышу Радика, но вижу другое: мама собирает вещи, идет с чемоданом к двери; отец, безучастный, сунув руки в карманы брюк, стоит, прислонившись к стене.

— Мама!— кричу я.— Не уходи!

Мама задерживается у порога, она в черном платье, оборачивается, лицо ее мокро от слез.

— Я виноват перед тобой, Зина,— говорит отец.— Возмнил себя поэтом, насулил тебе золотые горы— и сломал жизнь. Не уходи...

— Не в этом дело,— устало и обреченно говорит мама.— Просто так дальше жить нельзя.

— Да, ты права, конечно,— соглашается отец.

— Укрой его еще моим пальто, Сашка,— говорит Радик голосом отца, а я кричу в пустой проем двери, разрываясь между отцом и матерью:

— Не надо! Не уходи-и!..

Ушел отец, а мама осталась, и крестом ее стал я. И неизвестно, когда он был тяжелее— тогда, когда я был маленьким, или теперь, когда стал взрослым и сам роди-

тель. Спрашивать неловко, да и вряд ли мама ответит: когда думаешь, заботишься, переживаешь не за себя, собственная жизнь как бы затухает и тут уж не до сравнений и сопоставлений. А может, дети для матери, их удачи и неудачи — это и есть ее собственная жизнь? Или, напротив, так давшие нам жизнь убегают от самих себя, оставшись памятью в своем прошлом, где были детство, юность, первая и последняя любовь, где казалось, что будущее сулит безоблачную вечность.

Отец не увидел во мне своего будущего, а в вечность, не подтвержденную при жизни, он не верил. Странно, но я сегодня его ровесник. Глядишь, скоро догоню возрастом и деда, а дед погиб в Польше.

— Тоже, видать, не дурак был выпить, — сказала как-то о нем мама. А дед на единственной сохранившейся у бабушки фотографии такой: невысокий, крепко сбитый, стоит он, широко расставив ноги, подле конюшны, одной рукой придерживая эфес шашки, а другой подкручивая вислый ус. И на голове его не фуражка с кокардой, как у большинства приртышских казаков того времени, а невесть откуда взвисяшая выгоревшая буденновка. К ней пришта огромная темная матерчатая звезда. По-над обрезом снимка надпись: «Красный казак Беликов. Омск, 1922 г.»

Было тогда деду двадцать два, а погиб он в сорок четыре года, и ни при чем здесь «луженая глотка», просто вино в подвале замка польского графа оказалось отравленным. А кто откажется снять усталость после боя добрым глотком вина? — и похоронили весь взвод деда как павший в бою, с трехкратным залпом в воздух из личного оружия, а потом по всей дивизии деда и армии, освобождавшей Польшу, распространили приказ-инструкцию: питаться только с полевых кухонь, водоемами пользоваться после проверки, горячительные напитки, кроме наркомовской нормы, побоку... Кто считал, сколько уберегли красный казак Беликов и его товарищи жизнью от коварной смерти, какая хуже пули, арналета или бомбежки... Не случайно и похоронку прислали: «Пал смертью храбрых». А подробности сообщил сослуживец деда, выкарабкавшийся из той передраги.

«Мне по молодости лег, — писал он, — мензурку всего плеснули, а все муж ваш и отец ваших детей, Василий Петрович, век буду помнить: у тебя, сказал мне, молоко еще на губах не обсохло...»

Письмо это и по сей день хранится у бабушки вместе с похоронками на деда и трех его сыновей: лейтенанта Вячеслава Беликова, сержанта Александра Беликова, рядового Николая Беликова. А мой отец не подошел для войны по возрасту.

— А тоже рвался, — всхлипывает бабушка, перебирая военные реликвии. — Бойкий был мальцом-то, Слава, батя твой. Я бы, говорит, их бы шашкой, как тятя беляков. А не там его смертушка дождалася...

Смерть вроде лаука, разметавшего тенета и притаившегося в ожидании жертвы, — так представлялось мне в детстве. Теперь она видится печальной девушкой в белом, и чем я становлюсь старше, тем сильнее густеет печаль в ее глазах. И когда она сделается невыносимой для моего сердца, я уже не услышу биения времени, оно продолжит отмерять срок других, а для меня наступит пора, какая была до рождения и какой я не помню. Значит, можно будет родиться снова.

Октябрь вовсю уже мел листву по улицам, желтую, но не ломкую, не хрустела она под ногами, потому что месяц выдался мокрым, и даже днем полусумрак окутывал город. В этом полусумраке, без единого солнечного просвета, и тянула мать упирающегося Славку в неведомый дом со странным названием интернат. Славке в него совсем не хотелось. Он уже привык к школе напротив дома, рядом с тихой речкой Омью, привык к своей горбатой парте и к тонкому затылку беловолосой Любы. И к учительнице, Нине Семеновне, в долгополом, крупной вязке жакете, тоже привык. В этом жакете она прощалась с первым классом, когда Славка его закончил, и

встретила в нем же, когда он пришел в школу уже второклассником. Больше от первой учительницы в памяти его с годами ничего не осталось, но, видно, была она доброй женщиной, потому что от жакета ее, кажется, и сегодня веет теплом, стоит лишь вспомнить бревенчатую школу с холодной печью в коридоре.

На улице было промозгло и сыро. Трамваи не ходили, и Славка с матерью тащились пёхом, вдоль домов и домишек деревянных, связанных между собой серыми заборами, потом мимо домов каменных, трехэтажных, затем по левую руку потянулась железная ограда, за которой и простерся парк, куда он позже будет бегать в будни бесплатно.

— Вот он, твой интернат, — сказала мама.

Сквозь голые деревья мокро проглядывало кирпичное здание в два этажа, за ним высилось другое, уже четырехэтажное, без балконов, с узкими окнами-бойницами и даже издали новенькое — бытовой корпус. Шесть лет Славка будет есть в его столовой, спать в его палате, смотреть в его комнате отдыха телевизор, тогда еще большую редкость, и мыться в душе будет, и уютить форму в гладильной комнате... И в этом же здании однажды, в закутке кастелянши Дарьи Анисимовны, получит он на зависть всем роскошное черное пальто с коричневым воротником — шалевым, как его называли. Оно будет Славке велико, сидеть мешком, и мама скажет: «Может, пусть полежит с годик, пока походишь в старом?» Славка не согласится и гордо перейдет в новом пальто из бытового корпуса в учебный, а в субботу, собравшись домой, не найдет замечательной обновы в раздевалке. Останется на вешалке, когда все разойдутся, пальтецо обшарпанное и кургузое, и когда Славка натянет его, руки обнажатся по локоть — так коротки окажутся рукава.

— Ничего, в понедельник отыщем твое, наверное, хозяин этого пальто взял, — попытается успокоить Надежда Дмитриевна, но пальто так и не найдется, не объявится и владелец оставленного взамен.

— Я так и знала, — скажет мама, узнав о пропаже. — А сколько продуктов вашей Дарье перетаскала! — вздохнет она и испуганно прикроет рот ладонью — сказала лишнее. Но лишь много позже поймет Славка суть вырвавшихся у нее слов, и тогда по-другому высветятся те набитые сумки, с какими она, бывало, приходила навещать его в интернат, поспешные встречи с той же Дарьей Анисимовной, после которых сумки непостижимо худели. Такова, наверное, была цена того злополучного пальто — единственной льготы, которую он было получил в интернате. Иначе вряд ли бы Исаак Львович поднял шум из-за разбитого стекла и пригрозил исключением...

— Да, это твой интернат, — повторила мама.

На территорию интерната вела широкая асфальтированная аллея. Славка так и не успел на нее ступить — из ворот вышла вдруг стройная колонна, все в черном, и башмаки на шагающих были черные и блестящие, не смотря на сырость, и подошвы их так ладно отбивали шаг, что и Славке захотелось присоединиться к этому строю, пристроиться кому-нибудь в затылок, а то и пойти во главе, как возглавляющий отряд, делая отмашку алым флажком.

— Это чтобы машины останавливались, когда они дорогу будут переходить, — объяснила мама назначение флажка.

Отряд, гордо и независимо, промаршировал мимо, на Славку никто и не глянул. Он долго смотрел ему вслед, а когда отряд скрылся за поворотом, сказал будто через силу маме:

— Ладно, пойду я в твой интернат, — и мама, до этого поникшая, просветлела, поправила прядь волос, выбившуюся из-под черного платка.

— Знаешь, Слава, тебе здесь будет хорошо, — пообещала она.

Ночь еще держалась, но звезды уже уснули — это хорошо было видно в неприкрытый лаз, — когда наверху послышались тяжелые шаги. Кто-то шел и явно не мимо,

уже ступил на крышу землянки, посыпалась земля, но Радик и Сашка не шевельнулись, дрыгли, обнявшись, а у меня от страха не то что рукой шевельнуть — даже голос пропал. Онемев, лежал я недвижно, вслушиваясь в происходящее над головой, а там вдруг замерло, притаилось. Должно быть, прислушивался и ночной бродяга, бандит какой-нибудь, думалось мне, кто же еще станет ночью бродить, и хотелось провалиться под землю, хотя, кажется, и так был под землей. Если бы не печь, на нас вряд ли бы кто нарвался, но она пылала вовсю, я только что подбросил срезок, зарево из дымохода, конечно же, и привлекло стороннего. А может, мне показалось? И тут же, затемнив небо, ухнуло в лаз:

— Эй, кто там? Вылазь!

Голос был определенно бандитский, требовательный, он разбудил даже Сашку Драчука с Радиком, но и они оказались не храбрее меня — молчали, вжавшись в угол. — Вылазь, а то завалю вашу хибару! — пригрозил невидимый.

— Сидите, — зашептал Радик, когда я было дернулся к выходу. — Если полезем, он нас поодиночке зашибет. — И сказал громко: — Сам залазь, коли смелый...

Незванный гость ждать не заставил, провалился в лаз, точно куль, запахом сразу же водкой — это услышали мы, а разглядеть его не сумели, потому что печь за переговорами зачихала, а может, страх застил глаза.

— Ага, — сказал пришелец, — вот, значит, где мои материалы оприходываются! Но не переть же обратно, — как бы подумал он вслух, и тут же, после треска разламываемых срезок, загудело в трубе, пламя озарило нашу сжоронку, осветив незнакомца. Он был широк в плечах, круглолиц, в шапке-ушанке, сбитой на затылок, по лицу добр, а ростом непонятен — сидел на корточках. На бандита, словом, ничуть не походил, и мы ожили, расправились. Дядька был явно свойский.

— Испугались? — спросил он, но ответа не слушал, опять спросил: — Вы книжку «Как закалялась сталь» читали?

— Читали, — сказал я.

— Вот и ладненько, — сказал он. — Меня, значит, как брательника Павки Корчагина кличут — Артемом. А вас? Так мы познакомимся с Артемом, сторожем больничной стройки.

— И что с вами делать, ума не приложу! — размышлял Артем, продолжая сидеть на корточках. — Если бы вы материал для заработка с моей стройки уводили, тогда ладненько, все ясно: акт — и в милицию. А тут, оказывается, — для прощиву. Опять же в бегах находитесь — как поступить? А это ты зря, — отвлекся он, когда Радик прижег окурком. — Курить, сам знаешь, грамотный, — здоровью вредить. Неладненько!

— А водку пить — ладненько? — огрызнулся Радик.

— Ишь ты, учуял, — не обиделся Артем. — Только и не пью я. А что дух от меня такой, так он от втораний. Натерся только перед сном, а тут ненароком и глянул из сторожки — из-под земли пламя шибает. Как не пойти?

— И не побоялись? — выкнул я.

— А чего бояться-то, — усмехнулся Артем. — Меня на фронте не убило, пригладило лишь малость, значит, жив буду — не помру. Ладненько!

— У меня отец тоже военный, — сказал Радик, выбросив окурком.

— Воевал? — поинтересовался Артем.

— Угу, — сказал Радик.

— А на фронте каком?

— Не знаю, буркнул Радик. — Я родился, а он от нас уже ушел.

— А я на Сталинградском, — сказал Артем. — Недолго, правда. Как нашу Резервную армию туда бросили, так ровнехонько трое суток повоевал. На четвертые уже на барже очулся — через Волгу везли.

Мы помолчали.

— А вы давно в бегах-то? — спросил, успокоившись, Артем.

— Неделя кончается, — сказал я.

— Смотри-ка, — удивился Артем, — не углядел раньше. Хорошо хоронитесь. Ладненько даже, замечу. И надолго в кроты записались? Или в подпольщиков балуетесь?

Огонь в печке обессилел, Радик подбросил новую порцию срезок, в землянке потемнело, потом стало светло, как днем. Лицо Артема было грустным.

— Ладно, — сказал он, — потом договорим. Только теперь вас к себе приглашаю. Заодно обломьев насбираем — негоже материал переводить, больницу ведь строят. Ладненько?

— Ладненько, — повеселели мы.

Артем зачем-то поднял руки, пальцы его не достали краев лаза.

— Да, высокогато, — сказал он. — Слезть сюда слез, а вот вылезти... Пособите-ка, парни, — попросил он, и тут только мы заметили, что вместо ног у него обрубки, обшитые кожей.

— Значит, до вечера? — сказал Артем уже наверху.

Мы молча кивнули. Он смотрел на нас снизу, но не казался маленьким. И уходил от нас, казалось, таким же просторным шагом, каким бежал, наверное, по минному полю в атаку...

Вечером мы не смогли навестить Артема в его сторожке — ночевали у моей бабушки.

Сейчас бабушке восемьдесят четыре года, она живет на левом берегу Иртыша, в одном из новых микрорайонов — однокомнатную квартиру в девятиэтажке ей выделили от военкомата как вдове фронтовика и матери трех сыновей, не вернувшихся с войны. Кажется, она ничуть не изменилась с той поры, когда жила в собственном доме, в квартале от Оми — речка Тихая, как переводится Омь с татарского, протекала сразу за школой, куда я в первый раз пришел в первый класс. Бабушка по-прежнему скоро в движениях, носит долгие и широкие, по казачьему обычаю, юбки, а на улице, даже в гололед, выходит в остроносных кожаных и на высоком каблучке сапожках — тоже как водилось в прииртышской казачьей станице Усть-Заостровка, где она родилась на переломе веков и где шестнадцати лет стала мужней женой. К двадцати годам она родила уже трех сыновей, потом подарила мужу еще двух казаков, но и им не довелось баюкать ее старость: отец мой сгинул под трамваем, младшего брата его, дядю Гошу, я хоронил уже взрослым.

— Егория-то, видать, тяти моего болезнь съела, тоже так-то мучился, токо не резали его, — только и сказала бабушка, когда дядя Гоша, едва выписавшись из онкологической клиники, умер. Ни слезинки не уронила она и на похоронах, но вот после них стала у нее мелко-мелко трястись голова.

К смерти бабушка относится так же просто, как и к рождению, по ней — бог дал, бог взял. И о себе говорит так: «А я господу нашего, видать, чем-то прогневала, прости господи, коли зажила так».

На солнечной стене ее комнаты в ряд шесть увеличенных портретов — муж и сыновья. В темном углу — икона Богородицы. Потемневший серебряный оклад иконы в трех местах проштопан медной проволокой — это будущий отец мой, когда его не приняли в комсомол, прешелся по нему топором.

— Понесла, — вспоминает бабушка, — поруганье такое в Васильеву школу. Дали тогда ему красную корку...

Икону в доме своего детства я не помню, хранилась, оказывается, до поры в сундуке, обитом железными полосами.

Сундук стоял в кухне, а кухня была такой огромной, что в ней запросто смогли бы уместиться и три жилых комнаты дома — две спальни и горница, как называла бабушку комнату большую. На ночь сундук покрывался матрасом, и он становился моей кроватью. На сундуке этом сплю я и теперь, если остаюсь ночевать в бабушкиной квартирке, и он несколько не уменьшился, ноги по-прежнему не достают края. Вообще бабушка тяготее, ко всему обширному, объемному, громоздкому, хотя сама



маленькая, юркая. Она, кажется, несколько не изменилась с мальчишеской моей поры. А вот дом...

Недавно я специально ходил посмотреть на него — каким стал, вспомнить, приступив вплотную к прошлому, что-либо, возможно забытое. Дом, конечно, я едва признал, нашел лишь по неизменившемуся номеру. Дом присел, точно старик, на корточки, и завалинка, будто колени, наполовину скрыла три его окна, выходящие на улицу. В нем, ясно, давно живут не знакомые мне люди. Я решился и толкнул калитку...

Хозяев было трое, они сидели за столом, должно быть, обедали: на столе дымились железные миски и высилась горка крупно нарезанного хлеба. Бедность особенно бросалась в глаза по девочке лет семи в застиранной мальчишковой рубашке, короткой и неровно подстриженной, болезненного вида. Никакого сундука на кухне не было и в помине, да он бы и не влез, достав его обратно от бабушки, настолько кухня съезжилась.

Я поздоровался, они ответили, совершенно равнодушно, лишь у девочки заинтересованно блеснули глазенки и тут же погасли под строгим взглядом родителей.

— Ну? — сказал хозяин, а я стоял истуканом — дом, оказалось, несколько не был мне нужен, дома быстро отрешаются от бывших своих владельцев, подстраиваясь под настоящих, сегодняшних, и все же что-то цепко меня держало, не давало уйти.

— Ну? — повторил хозяин, и тут меня осенило, зачем я вернулся сюда через столько лет, и я выложил свою дикую просьбу.

— Лезай, — равнодушно разрешил он.

И я, боясь, что он передумает, выскочил на ушедшее в землю крыльцо, отыскал на березовой поленнице лестницу, точно искореженную ревматизмом, и забрался на крышу.

Был полдень, солнце стояло в зените. Я терпеливо смотрел ему в лицо, не закрывая слезящихся глаз, и оно не выдержало, превратилось в маленькую яркую точку...

— Славка, — сказал отец, — сегодня в половине первого ночи он будет пролетать над нами.

— Кто он? — не поняла мама.

— Спутник.

И вот Славка сидит на самом верху крыши, придерживаясь за печную трубу. Отец взял его с собой наперекор маме, и он знает — почему.

— Я покажу ему космос, — сказал отец.

На груди отца висит бинокль, к верхней пуговице пиджака прицеплен фонарик, и отец то и дело вносит в лучик его света руку с часами.

— Нет, рано еще, — говорит он почему-то шепотом.

Вокруг Славки ночь, только в небе неподвижно горят желтые звезды.

— Смотри! — встает вдруг отец, ничуть не боясь сорваться с крыши, и показывает рукой вверх и немного вправо от трубы. — Смотри: спутник!

— Где, где? — непонятно волнуется Славка.

Отец не слышит его.

— Смотри! — говорит он. — Смотри... Теперь это — космос!

И Славка наконец видит: маленькая точка плывет над ним меж подвижных звезд.

— Видишь? — все больше волнуется отец. Он смотрит в бинокль, едва заметно двигая его за спутником.

— Вижу! — отвечает Славка восторженно, и смутное беспокойство сжимает маленькое его сердце. Он найдет объяснение этому беспокойству почти три десятка лет спустя, когда люди будут уже поглядывать в небо с опаской...

— Теперь глянь поближе... — говорит отец.

Славка берет бинокль, но, так и не поймав им спутник, возвращает отцу.

— Видел? — спрашивает тот.

— Да, — отвечает Славка.

Спутник теряется в космосе, Славка, страхуемый отцом, спускается с крыши. На крыльце их ждет мама, спрашивает:

— Видел, Василий?

— Видел, Зина.

— А ты? — спрашивает мама Славку.

— И он видел,— отвечает за Славку отец.— Мы видели Космос,— помолчав, говорит он.

На крыльце меня ждала девочка.

— Ты что смотрел? — спросила она, закинув бледное личико.

— Космос,— ответил я.— Я смотрел Космос.

— Разве его там смотрят? — сказала девочка, явно меня жалея.— Его только в телевизоре увидеть можно. Я бы тебе показала, только папка давно его в магазин снес.

— Кого... снес? — не понял я.

— Да телевизор же, какой непонятливый! — тряхнула девочка стриженной головкой.

— Цыц! — появился на крыльце ее отец, и девочку будто ветром сдунуло.— Глянул? — обратился он ко мне.— Глянул.

— А очки где? — поинтересовался он как бы походя.

— Очки? — прикинулся я придурком.

— Ну,— сплюнул он мне под ноги.— Чтоб лучше видно было.

— Пошел ты, знаешь... — сказал я тихо, и он тотчас сник, а догнал меня уже на улице, обросший и опухший, дернул за рукав:

— Слышь, дай трояк, а? Глянул ведь, разрешил...

— А потом что, бутылку пойдешь сдавать?

— Ага,— гоготнул он.— Двугривенный на дороге не валяется. Как раз на булку хлеба. Серую,— уточнил он, нагдея.— И еще,— оглянулся воровато,— может, ты шпиен. На крышу-то зачем лезал?

И, уходя, вдруг запел, без слов, но что-то очень знакомое — и совсем не дурашливо.

Ушедшее детство вроде мины замедленного действия — иногда оно взрывается...

Отец тоже любил петь. Особенно трогала его песня про то, как кто-то с горочки спустился. Он пел ее, расчитанную на женский голос, по-мужски скупю, но с душой, прикрыв глаза, подперев подбородок ладонью и, наверное, представлял себя в защитной гимнастерке с золотыми погонами и с орденом на груди. Ордена у отца, правда, не было, но медаль имела, золотистая, с профилями Ленина и Сталина и с римской цифрой на лицевой стороне — XXX лет Советской Армии и Флота. Он получил ее за три года до рождения Славки, когда еще учился в военно-медицинском училище имени Фрунзе — было когда-то такое в Омске. Окончив училище, он служил на Сахалине военфельдшером.

— Там он и приладил к ней, к проклятой,— переживала прошлое мать, рассказывая подростку Славке об отце.— У него огромная бутылка в санчасти стояла, чистейший спирт, а больных не было, солдаты всегда зловые, вот он и приладил. А может, слава голову вскружила, у него два стихотворения в окружной газете напечатаны, поэтом себя возомнил, а тут еще дружки-товарищи: «Ты, Василий, оказывается, настоящий поэт, зачем тебе эту ляжку у черта на куличках тянуть, иди в поэты!» И пили вместе с ним. Я-то сначала, глупая, думала, что все это пустые разговоры, а потом, гляжу, и Василий начал поговаривать о демобилизации. Мол, и вправду, что здесь молодость, на Сахалине-то гробить, вернемся в Омск, дело с моей специальностью и на гражданке найдется, да и стихи там лучше пойдут, люди другие, силы литературные. Я, конечно, ни в какую, а тогда он еще пуще стал заглядывать, а тут Саша родился, брат твой, я и побоялась, что вовсе сопьется, куда мне с двумя, и дала согласие. И армия, как на грех, как раз сокращалась, так что не удерживали. Так вот мы снова в Омск и вернулись. Ну, с год отец трезвый ходил, все ночи напролет писаниной занимался, куда только ее не носил, и не рассыдал, а отовсюду одни отказы, да такие, что тут и настоящий поэт в горькую ударится. И пошло все опять по старому, а водка, известно, до добра не доведет. И не довела... — Мама вздохнула.— Я, конечно, молчу, мало что в стихах смыслю, но вот одно мне у твоего отца очень

нравилось, как сейчас его помню. Ты послушай... — И мать читала на память, ровно, точно прозу: — Расставаясь, говорили мало. Слов запас при расставании мал. Только чтоб она не забывала. Только чтобы он не забывал. И когда вагонов яркий вал тронулся от южного вокзала, тихо он ее поцеловал. И она его поцеловала. На подножку не хотя вскочив поезда, стучавшего лениво, он махнул рукою, молчалив, и она махнула молчаливо. Так вот и расстались навсегда не для обострения сюжета. Просто было море, было лето, им не возвратившие года... А ведь на юге мы с ним так и не успели побывать,— всхлинула мама.

Славка вроде слушал и все слышал, а перед глазами стоял отец, он пел, сидя за столом, а напротив сидела бабушка, подпевая, а между ними стояла бутылка, «сучком» тогда такие называли, уже вторая, и бабушка пила и пела вместе с отцом, чтобы составить ему компанию и отвлечь от горя. Славка знал, что горе случилось вчера, когда ушла мама, забрав с собой младшего его брата, Сашку.

— Саньку жалко,— переставая петь и разливая в рюмки, вздыхал отец.

— Ничто, вырастет,— утешала бабушка.— Да и вернется твоя, дай срок, будь она неладна! Куда ей — наполивину-то не разорваться: Славка вон здесь.

— Не вернется, мать,— горевал отец.— Она ведь сказала.

— И ты сказал,— поджимала губы бабушка.— Токо глупости мелешь. Под травной брошусь! — переразнила она.— Да кто ж из-за баб с собой кончает?! Вон их вокруг скою, разуй глаза!

— И брошусь, лягу, к чертовой матери, на рельсы, если сегодня, как ей было сказано, не придет! — гневался отец, пододвигая к себе будильник.— Вот, уже полдень пробило, еще три часа осталось.

— Ну и лягешь,— принималась рассуждать бабушка.— ну и кому чо докажешь? Их вот,— ткнула она в Славку пальцем,— сиротами токо оставишь, а она заплачет да нового найдет. Послушал бы меня ране, так не ревел бы сейчас, по-иному было. Меня вон как Василий, батя твой, выучил, а ведь токо глянуть на проезжего молодца поехала. Не рассуждал много-то, как ты, а взял да и впряг за косы в телегу, да прогнал под кнутом по всей Усть-Заостровке, а она, почитай, три версты. Кости уж его,— прослезилась бабушка,— давно на фронте сгнили, а худого никогда не скажу...

— Давай, мать, споем,— просил отец.

— Ага, я счас,— поправляла бабушка платок и начинала песню:

Вот кой-то-о с горочки спустился,

Наверно, мила-ай мой ядешь...

На нем защитна-а гимнастерка-а,— подхватывал отец, прикрыв глаза.

Она меня-а с ума сведеть... — выводила бабушка.

К трем часам, казалось, отец протрезвел.

— Все,— отнес он будильник в горницу.

— Чо — все? — подхватила бабушка, взъерошенной птицей встав у порога.— Перестань, Василий, дурью маяться!

— Да что ты, мать! — рассмеялся отец.— Я говорю «все», потому что магазин с перерыва открылся. Сбегаю быстренько за «сучком» и вернусь.

— Славка сбегает,— сурово сказала бабушка.

— Ему не дадут, сопливый еще, сама знаешь,— наступал отец.

— Тогда я,— держалась бабушка.

— Еще чего! — возмутился отец.— Не дури, мать.

— Господи, и за чо ты казнишь меня, грешную? — заплакала бабушка.

— Мама,— ткнулся лицом ей в плечо отец.— Я правда вернусь.

— Славку хоть тогда с собой возьми,— нашла, показало ей, выход бабушка.

— Славку... — отец, кажется, даже вздрогнул, но тут

же согласился: — Хорошо, возьму. Пойдем, сын, — позвал он, и Славка тотчас соскочил с сундука, и вот они уже на улице, в июле, знойном и прозрачном. Всю дорогу отец был молчалив, держал руку на плече сына, а когда показался магазин, спросил неожиданно:

— Ты, Слава, давно в кино не был?

— Давно, — загорелся Славка, зная, что так просто отец вопросов не задает, он всегда был добрым.

— Ничего, если я отпущу тебя одного? — спросил он, и что-то неясное, вроде пригашенной надежды, затлело в его глазах. Но Славке едва пошел девятый год, он не научился еще разбираться в человеческих чувствах, поэтому подтвердил, что, конечно, и один сходит, здесь «Маяк» недалеко, только на горку подняться, а там мировой фильм идет — «Любовь в Симле» называется.

— «Любовь в Симле», — грустно повторил отец и сунул Славке целое состояние — десятирублевую бумажку, это рубль по-нынешнему. — Что ж, беги на любовь, — и, не сказав больше ни слова, не оглядываясь, зашагал в магазин, скрылся за его дверью...

Потом бутылку нашли в кармане его пиджака нераспечатанной, а мать вернулась вечером, опоздав на четыре часа. А уже в сумерках в окошко тревожно постучались. Славка бросился открывать калитку, думая, что вернулся отец... С тех пор, стоит прикрыть глаза, он видит его поющим, а когда эту песню передают по радио или исполняют по телевидению, с горочки спускается отец в ладной гимнастерке с золотыми погонами...

Встреча с матерью Шелкова была не столь давней, помнилась до мельчайших подробностей. Вот она уходит, совсем старушка со спины, волоча ноги, поникнув, но не от этого осадок горечи на сердце, а от его бодренького «нормально». Беликов даже зубами скрипнул. Выходило, что он, такой благополучный, поскольку у него — все нормально, выше Толика, собирающего теперь бутылки в подворотнях, да еще умертвленного им в одном из последних рассказов. Слава богу, тетя Валя, мать его, кажется, рассказа не читала, но и она заплакала, когда они столкнулись случайно на улице, о Толике: «Лучше бы, Слава, он умер...»

— А ты как? — спросила она, немного успокоившись, и тогда-то Беликов пожал плечами:

— Нормально.

— Я рада, — сказала тетя Валя, вздохнув. — Я рада, Слава, что хоть у тебя все нормально. А ОНА как? — спросила она о Мирке.

— Насколько знаю, недавно развелась со вторым мужем.

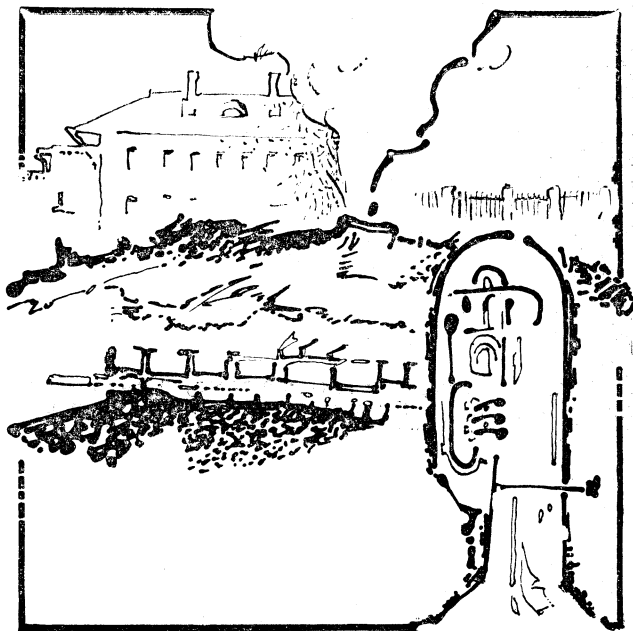
— Вот, и ей бог счастья не дал, — опять вздохнула тетя Валя. — Может, это из-за Толика ее судьба наказывает, ведь любил он ее; а, Слава? А она отвернулась...

— Все может быть, тетя Валя, — сказал Беликов. Ему было странно называть эту женщину, с которой внешне он почти сравнялся возрастом, по-старому, но так уж привык с детства. Другое дело, что он перестал ощущать себя перед ней мальчишкой, не то что с бывшими учителями, с тем же Исааком Львовичем, которого перерос на голову, оставшись, однако, его учеником. Учителям, наверное, свойственно оставаться недостижимыми...

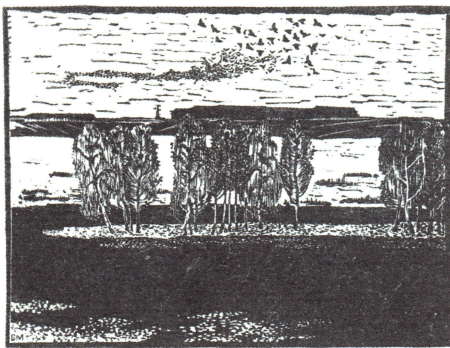
— А я Колю Радионова видела, — сказала, просветлев, тетя Валя. — Такой, знаешь, весь представительный из себя. С медалью. А ведь, помнишь, хулиганом-то каким был! Да и семейка его... — Она покачала головой, вспоминая, и сделала вывод: — Вот и верь после этого, что яблоко от яблони недалеко падает...

— Да, тетя Валя, да, да, — отвечал Беликов, по сути ничего не отвечая, и каково было матери Толика, этой славной женщине, невольно тогда сравнивающей их всех, вроде бы определившихся, завоевавших место под солнцем — один даже с медалью! — со своим непутевым сыном, которым так гордилась! Зачем нужно было ему прикидываться, маскироваться под благополучного, когда жизнь пошла вразнос, когда нет душе покоя? «Нормально», — ска-

зал он, а нужно было выложить, как в детстве, все начистоту, до капельки, без утайки — и о жене ушедшей, и о сыне, которого позволяют видеть раз в год, и о том, что накопело и уже начало свариваться, как чугун, в груди, не желая ложиться на бумагу, — застынет, потом и отбойным молотком не разбить. А Толик? Не с того ли все началось, когда они умолчали о главном на пороге землянки? Но ведь стоит лишь ступить назад — и она появится вновь, землянка, и Толик будет медлить с уходом, ожидая от него, своего друга, единственно верных слов, ему необходимых: «Толик, останься со мной». И Толик бы остался, попроси его об этом, он хотел остаться, но не по собственной инициативе, мешала гордость, он и Мирку-то, как говорят сейчас, в упор не видел лишь потому, что на нее во все глаза смотрел он, Славка Беликов. Равнодушие Толика было показное, а она, девчонка, не понимала этого, да и мы теперь, взрослыми, мало разбираемся в таких играх, у них нет правил. Понимание приходит много позже, и поздно, но совершенно ли поздно, если там, в детстве, их детстве, и осталось? И он не сумасшедший, он видит, стоит только захотеть, и взгорок за территорией интерната, и землянику, вон дымок вьется, Радик, что ли, печку затопил, и труба Драчука слышна — призывная! — а вечером им предстоит идти в гости к Артему. Еще не поздно, нужно лишь решиться ступить за грань, какая не страшнее минного поля, по которому бегут живые, и все можно будет переиграть иначе...



КИСТЬЮ и РЕЗЦОМ



ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ

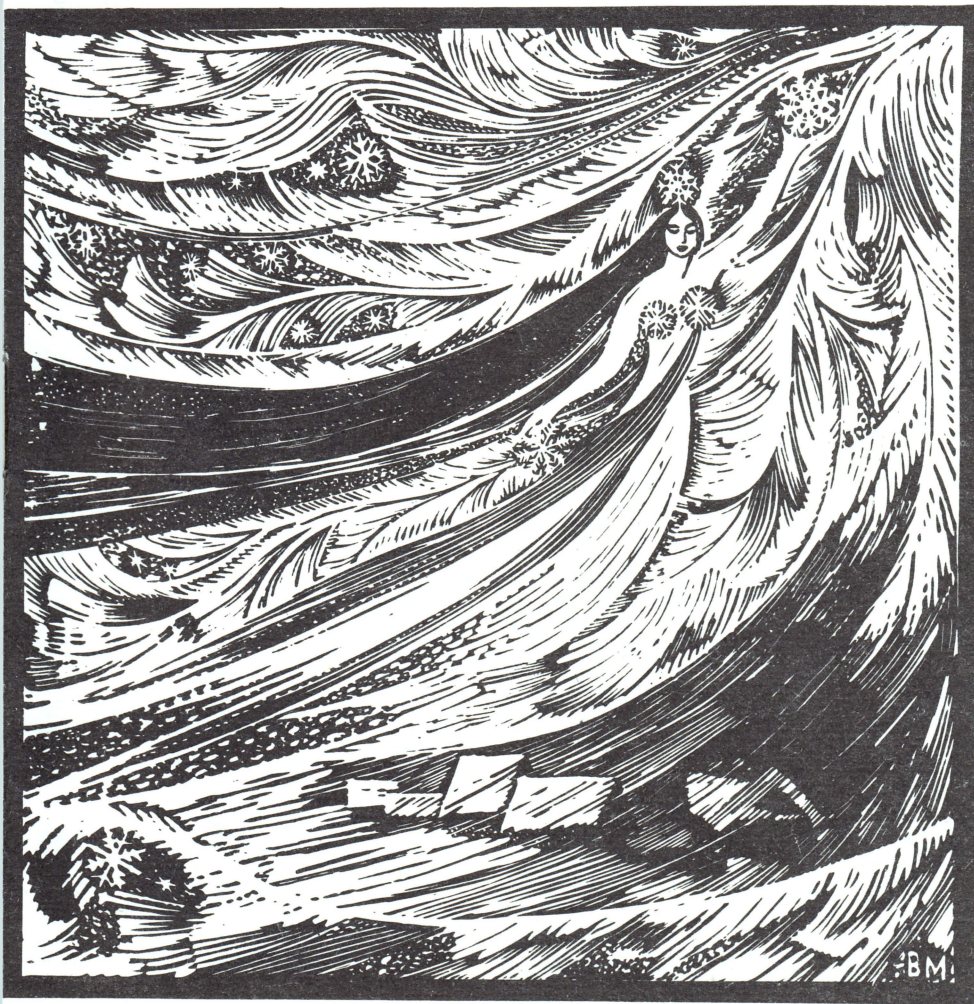
«Резцом и кистью» — так называлась одна из выставок преподавателей художественной школы города Петропавловска, что в Казахстане, той школы, где работает отличник народного просвещения художник Василий Манзя. О его работах можно сказать, что они, кроме того, выполнены еще и душой, а это — нечто иное, чем общераспространенное «с душой».

В многочисленных гравюрах, акварелях и монотипиях Василия Петровича запечатлены картины родного края, а родина художника — северный Казахстан. Искусство Манзи светло и лирично, поэтому-то работам художника нашлось место и в музее поэта Сергея Есенина в селе Константиново, знают их в Канаде, они публиковались во многих центральных журналах, и, наконец, по его эскизам выполнены мозаичные панно в далеком монгольском городе Дархан.

Художник в расцвете сил, он много работает, журнал «Уральский следопыт» желает Василию Петровичу и его питомцам дальнейших успехов в творчестве и учебе.



ОСЕНЬ



9 Января

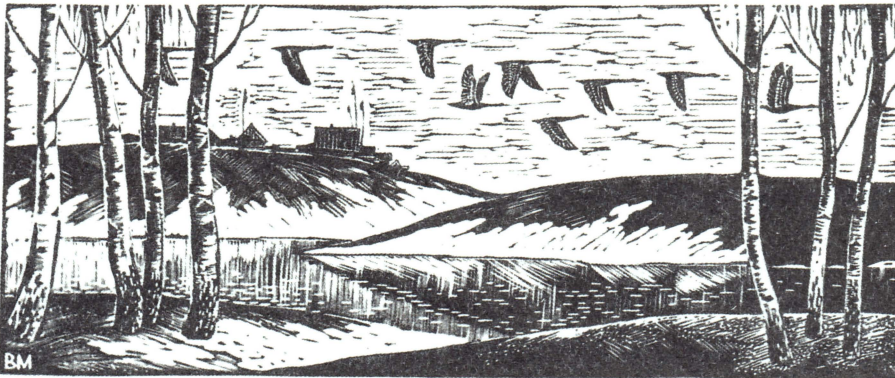
В зимнем лесу.

КОСЫ МЕТЕЛИЦЫ

В ЗИМНЕМ ЛЕСУ



ВЕЧЕР
ВЕСНА ИДЕТ
ЦВЕТУЩИЙ МАЙ
МАЙ



Заветная — по Далю — значит завещанная, заповедная, то есть дорогая нашей сыновней памяти. Напечатанные в нашем журнале мемуарная проза Мих. Осоргина, уральские рассказы Варлама Шаламова вызвали читательский интерес и подвинули редакцию сделать заветную полку книг и рукописей, забытых или насильно отторгнутых от общества, постоянной на страницах «Уральского следопыта». «Заветная полка» — раздел не только библиофильский. Это, как правило, страницы пожелтевшие, но и сегодня тревожащие читательские ум и сердце.

Читатели «Уральского следопыта» познакомились с мемуарной книгой «Времена», принадлежавшей перу писателя-земляка. Следует напомнить, что Осоргин — это литературный псевдоним. Настоящая фамилия — Ильин. Семейство Ильиных (отец Андрей Федорович, работавший в суде, мать, трое дочерей и два сына, Сергей и Михаил) было хорошо известно в Перми, их дом стоял на одной из центральных улиц.

Сергей был старше Михаила на десять лет. В детстве будущий писатель обожал своего брата. Сергей Ильин — действительно незаурядная личность. В осоргинских «Временах» есть такие строки: «Брат был по-настоящему музыкален, немного играл на рояле и обладал прекрасным баритоном при абсолютном слухе...» Позднее, окончив университет в Казани, Сергей Андреевич Ильин вернулся в город на Каме и стал заметной фигурой в губернском обществе. Увлечение музыкой не прошло. Он становится певцом, хормейстером, бессменным старшиной местного музыкального кружка.

Но, пожалуй, еще больше влекли к себе литература и журналистика. Писать стихи Сергей начал еще в пермской гимназии. Печататься стал, когда учился в выпускном классе. В 1912 году пермская общественность отметила 25-летие литературной и газетной деятельности С. А. Ильина. Ему было только сорок четыре года. А вскоре он умер. Во всяком случае, когда М. А. Осоргин осенью 1916 года навистил родной город (в качестве корреспондента московской газеты «Русские ведомости»), он уже не застал брата в живых.

Творческое наследие С. А. Ильина краеведами практически не изучено. А между тем оно весьма любопытно: ведь Сергей Андреевич был талантливым поэтом и критиком. Его стихотворные фельетоны, театральные и музыкальные рецензии украшали страницы пермской периодики конца XIX — начала XX в. Можно не сомневаться, что пример старшего брата побудил и Михаила рано вступить на писательское поприще.

Нам пока мало известно о взаимоотношениях братьев после того, как Михаил в 1897 году уехал в Москву поступать в университет. Сергей смолоду подавал большие надежды. Не все они оправдались. Может быть, в этом отчасти кроется причина того, что во «Временах» автор почти не уделяет внимания брату.

Но есть и факт иного рода. В течение всей скитальческой жизни М. А. Осоргин, как некую реликвию, хранил в своем архиве один из первых поэтических опытов Сергея — поэму-балладу «Песня о ныробском узнике», на которой стояла весьма одобрительная пометка какого-то гимназического преподавателя.

Публикация «Песни о ныробском узнике» (она печатается с незначительными сокращениями) станет своего рода памятником во славу забытого деятеля провинциальной культуры. Текст «Песни» предоставлен редакцией проживающей в Париже вдовой М. А. Осоргина — Татьяной Алексеевной Осоргиной, историком, филологом и библиографом.

Олег ЛАСУНСКИЙ

ПЕСНЯ О НЫРОБСКОМ УЗНИКЕ

Сергей ИЛЬИН

Михаил Никитич Романов, дядя первого царя из дома Романовых — Михаила Федоровича, был заточен Борисом Годуновым в село Ныроб (Нерпа) Чердынского уезда Пермской губернии. В Ныробе он был посажен в яму в кубическую сажень, где промучился год и затем скончался. Яма эта сохранилась и до сих пор, равно как и цепи, в которых был закован боярин-мученик.

Эта песня есть отзвук старинных времен, Пересказ незатейный былого, Пусть напомнит еще раз читателям он Злое дело царя Годунова.

Эту песнь донесли эхо северных скал, Завывание снежных буранов И преданья суровой страны, где страдал Михаил свет Никитич Романов.

МИХАИЛ НИКИТИЧ НА КУЛАЧНОМ БОЮ

На Москве на реке снаряжается бой,
Москвичей удалая забава.
Там уж взрослые люди теснятся гурьбой,
И подростков приспела орава.
Все густеет толпа. Нетерпеньем горя,
Ко Кремлю обратились все лица:
Дожидают прибытия к бою царя,—
Без него начинать не годится.
Вот и царь. На привет окружающих он,
Приосанившись, делает легкий поклон
И садится, и в то же мгновенье
Знак дает начинать развлечение.
И выходят на круг удалые бойцы,
На подбор крепыши, на подбор — молодцы,
Поделили черед меж собою,
Приступили к кулачному бою.
Вдруг толпа издала дружный, радостный крик,
Встретясь с гостем любезным и милым:
То боярин Никита Романов, старик,
Появился с сынком Михаилом.
Статен был Михаил и могутен, и дюж,
Нрав веселый имел, откровенный,
Был и добр он, и щедр, и умен, а к тому ж
И лицом был красавец отменный.
И лишь только вступил он с улыбкою в круг
И приветно окрест огляделся,
Красных девиц сердечки забили: тук, тук,
И на щечках пожар загорелся...
Он не знал себе равней в кулачном бою,
Он с веселою шуткой, со смехом
Проявлял богатырскую силу свою,
Но не думал кичиться успехом.

Печатается в сокращении

Всех Романовых чтили за их доброту,
За правдивость, за ум, за речей прямоту,
И издавна их род благородный
Награждался любовью народной.

БОЯРСКИЙ ПИР В ХОРОМЕ БОРИСА

Во дворцовой палате за общим столом
Царь Борис Годунов со боярами;
Виночерпии сладким заморским вином
Наполняют бокалы и чары.
По желанью царя Государев Совет,
Завершивши дневные занятия,
Приглашен был в хоромы царя на обед;
В том числе и Романовы-братья,
За трапезой вначале была тишина,
Но потом, как кончатся обеду,
Царь Борис и бояре, испивши вина,
Повели оживленно беседу.
Говорили они о волненьях в Литве,
О старинных врагах своих — шведах,
О количестве хлебных запасов в Москве,
О сибирских бескровных победах¹.
Кто про что говорил — и понять мудрено,
Разговоры велись бестолково,
Но не слышалось в этом пиру ни одно
Михаила Никитича слово.
Погружен в золотые мечты, он молчал,
Допивал полегоньку свой кубок
И, казалось, еще на губах ощущал
Поцелуй нежных девичьих губок.
Вспоминалась ему многозвездная ночь,
Сад боярский, большой и тенистый,
И красавица Таня, боярская дочь,
С пышной грудью, с косой золотистой.
Вспоминались слова беззаветной любви,
Милых губок пленительный лепет,
От которых огонь зажигался в крови
И все тело охватывал трепет.
Вспоминалось ему, как вчера в том саду,
На условном свидания месте,
Целовал он ее, говорил, как в бреду,
Речи сладкие милой невесте.
Порешил он тогда же, что счастье свое
От людей ему нечего прятать,
Что пора в дом Танюши идти и ее
Поскорее открыто засватать...
Вдруг царев на себе он почувствовал взгляд —
Будет помнить он взгляд тот до гроба —
В этом взгляде в смещении странном горят
Зависть, ненависть, робость и злоба!
И вздрогнул Михаил, но тотчас же Борис,
Увидав, что Романов очнулся,
На мгновенье потупил глаза свои вниз
И скорей от него отвернулся.
Для сынка своего царь опасным нашел
Михаила — любимца народа:
«Вдруг да сядет, по смерти моей, на престол
Сей юнец из Романовых рода!..»

ССЫЛКА МИХАИЛА НИКИТИЧА В С. НЫРОБ

Побежал ветерок по вершинам лесным,
И гулливо они зашумели,
Сон тайги потревожили шумом своим
Кедры, сосны да пихты и ели.
Над серебряной лентою Колвы-реки
Возвышаются камни-громады,
С них сбегают стремительно вниз ручейки,
И ревут, и бурлят водопады.
Каждый камень-гигант, словно замок какой,
Обнаженной стеною отвеса
Возвышается властно над горной рекой,
А сверху — словно шапка из леса.

¹ Например, основание города Томска и других городов.
(Здесь и далее примечания С. А. Ильина.— Ред.)

Ранним утром, плывя по реке, погляди
На извилины верхнего плеса:
Облака там ночуют на мощной груди,
На груди великана-утеса.
Вот одно, отделившись, по небу плывет,
Словно чайка в лазоревом море,
И как будто прощанье последнее шлет,
Исчезая в небесном просторе.
В темных дебрях тайги много зверя живет:
Волки, белки, медведи, куницы;
Много водится дичи различных пород;
Есть залетные певчие птицы.
Перед зимней порой на вершине скалы,
На условленном ранее месте,
С гор соседних слетев, собирались орлы,
Чтобы выслушать ворона вести.
Черный ворон сказал, что летал прошлый день
Он туда, где издох коеводни² олень,
Думал тушу оленю проведать,
Чтобы падалью той пообедать.
И, когда пролетал он лесную тропу,
Что от чердынских весей ведет на Нерпу³,
То по ней подвигались люди —
Не с родни ни вогулам, ни чуди.
Незнакомые люди! На конях верхом,
По тропе, и для пешего трудной,
Пробирались они шаг за шагом, гуськом,
Провожая возок многопудный.
Тот тяжелый возок чуть не шесть лошадей
Волокли по болотному илу;
Утомленье сковало и их и людей,
И плелись они через силу.
И начальник отряда и слуги его
Все в московское, слышь ты, одеты шитво;
Не в оленьи тюни, не в лузаны,
А в пимы из шерсти, да в кафтаны.
Нашим ныробцам также они не сродни:
Их оружие — пицаль и секира,
Словом, все указывает на то, что они —
Пришлецы из далекого мира.
Старый ворон добавил, окончив рассказ,
Что решил он с сынками своими
Не спускать с этих пришлых людей своих глаз
И следить потаенно за ними.

ЗАТОЧЕНИЕ БОЯРИНА В ЯМУ

Ныробчане, узнавши в пришедших стрельцов,
Поспешили в домах затвориться,
Но начальник отряда послал к ним гонцов
С приказаньем немедля явиться.
Ныробчане, страшась отказать, пришли.
— Здесь, — сказал им начальник отряда,
Указуя на рыхлый участок земли, —
Вырыть яму глубокую надо.
Не ослушались робкие люди и тут,
Каждый вынес из собственной хаты,
Что имел он: железный брусок или прут,
Заостренные колья, лопаты.
Заработали. Каждый до нитки промок,
Подневольным трудом утомленный,
И на близко стоящий секретный возок
Робко взгляд устремлял изумленный.
Вот уж яма готова, размером в сажень...
Солнце спряталось. Стало морозно.
По земле пробежала вечерняя тень,
Небеса принахмурились грозно.
Молча ныробцы ждут: что-то будет теперь...
Вдруг, по знаку старшего, стрельцами
У возка отворилась дубовая дверь,
Запертая двойными замками.
Все дышать перестали: осилил их страх,
Превратил в неподвижных чурбанов;

² На днях

³ Нерпа — Нырпа — Ныроб — так же, как Парма — Перма — Пермь

Из возка же выходит, закован в цепях,
Михаил свет Никитич Романов!
Взор отвагой горит; на младое чело
Роковую печатью раздумье легло;
На губах обозначилась складкой
Горечь думы о жизни несладкой.
Оглядевшись вокруг, он на яму взглянул
И насупил суровые брови,
И в очах его гнев грозным светом блеснул,
Руки сжались до боли, до крови.
А начальник отряда, с усмешкою злой,
Низко кланяясь, вымолвил слово:
«Просим милости в яму, наш гость дорогой,
Вот тебе и хоромы готовы».
Не стерпел богатырь. Он возок оттолкнул,
Отшвырнул чуть не на три сажени,
Но, забыв кандалы, слишком быстро шагнул
И, споткнувшись, упал на колени.
И тогда пять стрельцов подбежали к нему,
Десять рук его стан обхватили
И боярина в яму, в сырую тюрьму,
По приказу старшого спустили.

СОСТРАДАНИЕ К УЗНИКУ СО СТОРОНЫ НЫРОБЦЕВ

Все стрельцы и главарь их по избам сидят,
Балагурят, хозяйскую пищу едят,
Пьют вино без просыпу с похмелья,
Обалдев от тоски и безделья.
Возле ямы, где ныробский узник сидит,
Никого из стрельцов на часах не стоит,
В деревушке пустынно, как в поле,
Только детки резвятся на воле.
Вот один мальчуган, оглянувшись кругом,
К яме, плахами крытой, помчался бегом,
Еще раз зорко вокруг оглянувшись
И к отверстию ямы нагнувшись.
— Жив ли, дяденька? — детский звенел голосок.—
Вот те дудочка — в ней молочишко,
Вот те шаньга⁴ да ситного хлеба кусок...
Будь здоров,— распрошала мальчишка
И к своим побежал. А минутку спустя
Очутилось у ямы другое дитя,
Очутилась девчушка Анютка;
У нее — тоже шаньга и дудка.
— На-тко, дядя, имай!⁵ Чай, не баско тебе?
Чижало, чай, в затворе живется?
А стрельцы, слышь, пируют у Носа в избе,
Все пьяны: кто поет, кто дерется.
Ты ведь, бают, святой. Может, любишь цветы?
Погоди-тко, ужо в твою ямку
Я спущу и цветочков и ягод, а ты
Помолись за меня и за мамку...
Жадно слушал страдалец ребячьи слова
Из холодной и мрачной темницы.
В них ему рисовалась небес синева,
Солнца блеск, облаков вереницы
И земля, прославлявшая господу сил
За простор, за приволье природы.
И заплакал тогда, зарыдал Михаил
В первый раз по лишению свободы.
И от скорбных, из сердца излившихся слез
Утихала на сердце тревога,
И впервые смиренно молитву вознес
Он к престолу всевышнего бога.

ЖИЗНЬ УЗНИКА В ЯМЕ

С той поры он предался молитвам своим,
Все земные отринул печали
И душой умилялся, как только над ним
Голоса ребятишек звучали.

⁴ Шаньга — хлебная лепешка с открытой начинкой, например, из творога
⁵ Имай — лови

Дни идут. Вот уж год мьновал чередой,
Как боярин находится в яме:
Не удалый боец, богатырь молодой,
А старик изможденный пред нами!
Уж не слышно над ямою детских речей,
Не глядит в нее детское око:
Подсмотрели стрельцы подавня детей
И ребят наказали жестоко.
Пропитание узника — хлеб и вода.
Летом яму его не топили,
А когда наступили зимы холода,
То для печки дровец отпустили.
От печурки плохой вьется синий дымок
И в продушину кверху стремится...
Заклоченный телесно давно изнемог,
В силах он лишь усердно молиться.

СНОВИДЕНИЕ

Долго к небу мольбы воссылал Михаил,
Наконец крепкий сон ему очи смежил,
И во сне том в тюрьме его тесной
Появился посланец небесный.
И сказал небожитель ему: «Михаил,
Ты без ропота, без укоризны
Не напрасно у господу бога моли
Ниспослания благ для отчизны.
Днесь умрешь ты, но светел твой будет конец:
Знай, достанется царский российский венец
Через несколько лет не иному,
Как Романовых славному дому...»

КОНЧИНА МИХАИЛА НИКИТИЧА

Ангел скрылся. Наутро, поднявшись с земли,
Сновидение вспомнил боярин,
И терзания прочь от него отошли,
Взор же радостен стал, лучезарен.
И в горячей молитве возвел Михаил
К небесам ослабевшие руки
И, заплакавши, господу благодарил
За свои невыносимые муки,
За всевышнюю милость отчизне родной,
Изнемогшей от смут и обманов...
А к полудню почил, кончив путь свой земной,
Михаил свет Никитич Романов.

ЭПИЛОГ

Вот настал и конец грустным песни словам.
На прощанье, чтоб что не забылось,
Остается поведать, читатели, вам,
Что с пригожею Таней случилось.
Услышавши, что стал удалой богатырь
Жертвой злобы царя Годунова,
Загрустила Танюша, ушла в монастырь,
Отрешилась от мира земного.
А когда донеслася молва до нее,
Что боярин окончил земное житье,
Таня схиму святую прияла
И навечно затворницей стала.
А над тою могилой, куда унесли
И зарыли где прах Михаила,
Два могучие кедра с годами выросли,
Чтоб была поприметней могила.
И стремится сюда православный народ
Помолиться в воздвигнутом храме
За царя и за славный Романовых род.
И идут богомольцы к той яме,
Где томился во хладе и тьме Михаил,
Где он год находился и в бозе почил,
К этой издревле чтимой святыне,
Над которой часовенка ныне.



Вести из Ленинграда

О фантастическом самиздате

Все-таки меняется наша жизнь к лучшему! По крайней мере, жизнь любителей фантастики — фэнов. В прежние времена за распространение самиздатской литературы по головке не погладили бы. Теперь все по-другому. Судите сами: в Ленинграде во Дворце молодежи с 1 по 5 февраля вполне официально проходил Первый всесоюзный семинар по фэн-прессе, организованный Ленинградским ОК ВЛКСМ, клубом «МИФ-XX» и Всесоюзным советом КЛФ. Работали три секции. Газетная — ею руководил Р. Арбитман (Саратов). Книжно-журнальная, руководитель — В. Голман (Москва). Третья же так и называлась: секция фэнзинов. А фэнзин — это как раз и есть непрофессиональный, неофициальный, любительский — т. е. самиздатский — журнал фантастики.

Руководили этой секцией весьма уважаемые в среде фэнов люди: В. Казаков (Саратов) и А. Чертков (Севастополь). Первый является редактором «АБС-панорамы» — фэнзина, целиком посвященного творчеству А. и Б. Стругацких; второй возглавляет фэнзин «Оверсан» — журнал по вопросам фантастики и клубного движения, издаваемый не без некоторого озорства, раскованно, с привлечением молодежного жаргона.

Существуют в стране и другие фэнзины, более универсальные содержания, печатающие в основном художественные произведения отечественных и зарубежных авторов: «Измерение-Ф» (Ленинград), «Гея» (Краснодар), «Полифэн» (Тбилиси) и др. Более полный список фантастического самиздата можно найти в № 1 журнала «Советская библиография» за этот год. О проблемах, стоящих перед редакторами и издателями фэнзинов, и шла речь на секции.

Немного об официальных изданиях, появления которых так долго ждали все поклонники НФ. И ведь дождались! В Ленинграде тиражом 70 тысяч экземпляров начал выходить информационно-литературный бюллетень «Измерение-Ф», целиком посвященный фантастике и событиям, с нею связанным. Аналогичное издание, еженедельник «Великое Кольцо», на радость украинским фэнам выходит в Киеве.

Наконец, самое главное. Буквально в ближайшие месяцы к читателям придут первые выпуски и более солидных НФ изданий. Пока это будут альманахи — «Оверсан» и «Мир и Фантастика», «Измерение-Ф» (не путать с газетой!) и «Китеж», некоторые другие — не имеющие еще и названий. Кому-то из них (а хорошо бы — всем!) удастся встать на ноги, превратиться в подписные периодические журналы.

Не ошибусь, если скажу, что своеобразной кузницей кадров для этих изданий были и продолжают оставаться «неформальные» журналы — фэнзины.

**В. ЛАРИОНОВ,
г. Сосновый Бор**

Новая премия

Секция научно-художественной, фантастической и приключенческой литературы Ленинградской писательской организации и книголюбы НПО «Буревестник» учредили премию имени Александра Беляева. Она будет присуждаться один раз в два года в четырех видах: как «Премия читательских симпатий» — за творчество в целом — и как поощрительная премия за лучшие произведения фантастической и научно-художественной прозы, а также литературной критики в области этих жанров, опубликованные в предшествовавшие два года.

В марте состоялось первое вручение дипломов и медалей новой литературной премии. Среди ее лауреатов — Аркадий и Борис Стругацкие (за выдающийся вклад в советскую фантастику) и Андрей Столяров (за книгу повестей и рассказов «Изгнание беса», вышедшую в прошлом году в серии «Новая фантастика» издательства «Прометей»).

Третьи Ефремовские

7 апреля в ленинградском Доме писателя А. Шалимов и А. Бритиков торжественно открыли Третьи Ефремовские чтения, на которые съехались из разных городов страны многочисленные гости — писатели и критики, ученые-литературоведы, представители КЛФ. В течение следующих четырех дней конференция была продолжена в Комарово — дачном поселке под Ленинградом, где

на местном кладбище покоится прах знаменитого писателя-фантаста.

С интересными воспоминаниями о Ефремове, размышлениями о его творчестве, заложенных им традициях выступили перед собравшимися старейшины советской НФ Г. Гуревич, С. Снегов, А. Шалимов. Впрочем, то и дело возвращаясь к книгам основоположника нашей новейшей фантастики, разговор все-таки на них не замыкался. Вот темы лишь некоторых докладов и сообщений: «Возвращение А. В. Чапыгина» Е. Званцевой (Горький), «Тема катастрофы в современной фантастике» В. Голмана (Москва), «Историческая литература и фантастика» С. Логинова (Ленинград), «Политическая фантастика ближнего прицела» Р. Арбитмана (Саратов), «Издание фантастики в СССР» С. Бережного (Севастополь), «Фантастика и общество» А. Киреева (Киев), «Фантастика: реальные бои на реальных фронтах» В. Рыбакова (Ленинград). Любопытными были и сообщения А. Мельникова (Краснодар), Т. Чернышевой (Иркутск), А. Черткова (Севастополь), гостя из Болгарии И. Рунева, ленинградцев О. Ларионовой, А. Щербаконина, А. Ассовской, С. Переслегина, других участников конференции.



Повесть

Владимир МИХАЙЛОВ

Рис. Всеволода Мартыненко

Окно спальни было закрыто тяжелой шторой, но и в полутьме можно было увидеть белую кровать, широчайший шкаф, зеркало в полстены. Милов смотрел на отраженную в зеркале кровать — на ней лежала женщина, до подбородка накрытая пухлым одеялом, глаза ее были закрыты. «Спит», — прошептал Граве с нежностью, осторожно пытаясь. Он наткнулся на Милова, не сводившего глаз с зеркала — с одеяла в нем, которое не шевелилось, словно бы под ним лежала статуя, а не молодая и красивая женщина. «Пойдемте, — тем же шепотом пригласил Граве, — пусть еще отдохнет, она страшно устает порой...»

Милов взял его за плечи, грубо отодвинул в сторону. Подошел к окну, рывком откинул штору. Приблизился к кровати. «Что вы делаете, как вы посмели! — зашипел Граве. — Это... это переходит всякие границы! Вы дикарь!» Милов, стоя вплотную к кровати, смотрел на лицо женщины; оно было серо-бледным. Милов решительно откинул одеяло. Лили лежала в пижаме, чуть раскинув руки, на груди краснело пятнышко. Крови почти не было. «Что... что это значит?» — задыхаясь, произнес Граве за спиной. Милов взял руку убитой. Рука была холодной, безжизненной. «Ева! — крикнул Милов. — Подойдите, пожалуйста, вы здесь нужны!» «Я, конечно, не судебный медик, — видимо, такое предисловие Ева считала обязательным, — но видно, что борь-

(129) бы не было, вероятнее всего, в нее выстрелили, когда она спала — кто-то вошел в квартиру...» «Никто не мог войти в квартиру! — снова закричал Граве. — Замок настроен только на ее и мой дактошифр!» Милов пожал плечами: он знал, что ключи есть к любым замкам. Граве в комнате уже не было — он стоял в прихожей, прижав телефонную трубку к уху, и что-то громко и возбужденно говорил по-намурски. «Телефон, видимо, работает», — сказал Милов. Тут, в спальне, тоже был аппарат — на ночном столике, со стороны Лили; Милов поднял трубку, поднес к уху, покачал головой: «Ни звука». «Дан, я боюсь, он... вы понимаете?» Милов кивнул и спросил: «Что он говорит? Я не воспринимаю, когда разговор идет на такой скорости». Он не сказал, что вообще Намурия — не его регион, и его послали сюда только потому, что заболел Мюнх, если можно считать болезнью две пули, в груди и в плече, и на язык ему дали неделю времени. Ева прислушалась. «Я тоже знаю не в совершенстве, но... Он разговаривает с канцелярией Господа, требует, чтобы его соединили с Самим, поскольку ему необходимо, чтобы Спаситель прибыл и воскресил Лили. Сейчас угрожает обратиться к конкуренту...» «Печально, — сказал Милов. — Он, кажется, всерьез тронулся». «Дан, это все, что вы можете сказать? — со внезапной тоской в голосе спросила Ева. — Рехнулся, не рехнулся... Это ведь любовь, знакомо вам такое слово? Понимаете хоть, что оно означает? Любовь, о которой может только мечтать — и мечтает всякая женщина, но только редкая встречается в жизни такую... Вы просто никогда не любили, Дан, если ничего другого не можете сказать...» Милов увидел, что на глазах ее выступили слезы, и внезапно, помимо желаний, представил, что не Лили лежит убитой в собственной постели — Лили, какими-то неведомыми путями впутавшаяся в опасные игры, ставшая звеном цепочки, которую хозяйка теперь рвали — безжалостно, уничтожая звено за звеном, — не Лили, а Ева, всего лишь несколько часов назад им впервые встреченная, но чем-то его уже зацепившая, уже прираставшая к себе, как он сейчас почувствовал; он представил себе Еву в постели мертвой — и ощутил вдруг, как перехватило горло, и понял, что куда сложнее обстояло дело с ним самим, чем ему казалось, и не просто из чувства долга он брал ее на руки и нес, но уже ощущая какую-то ответственность за нее — неизвестно перед кем, но ответственность, как за существо, данное ему, и близкое ему, и необходимое ему во всей жизни, сколько бы ее ни оставалось... Он изумился внезапному ощущению и испугался его, и подумал, что если бы это Ева лежала, то он — нормальный, здоровый и ко многому привыкший человек — пожалуй, тоже сошел бы с рельс — не так, наверное, как Граве, но сошел бы...

Сам того не сознавая, он все эти секунды, пока такие мысли пронеслись в голове, а импульсы — в сердце, смотрел на Еву в упор, крепко схватив ее за плечи — и она смотрела на него и, видимо, понимала и читала нечто в его глазах, потому что умолила и тоже только смотрела... Громкий звук, донесшийся из прихожей, заставил их опомниться. Милов мгновенно оказался у двери, в руке его как-то сам собой возник пистолет. Опасности не было: это Граве, потерявший сознание, упал, опрокинув столик с телефоном, валяющийся теперь рядом. Ева подбежала, встала на колени около упавшего.

Так или иначе, — думал Милов, глядя на ее узкую спину и светлые, уже высохшие волосы, — свое дело я, кажется, благополучно провалил. Были известны два звена цепочки — и вот они, одно за другим, ликвидированы. Куда шла цепочка дальше — у меня лишь слабые представления, да и у всех наших... Да никто не давал мне полномочий идти дальше: цепочка-то вела наверх, тут, наверное, нужен работник с другим статусом. Значит, программа теперь выглядит так: доставить Еву домой, — хоть одно благое дело будет сде-

лано, — Граве отвезти в больницу, а самому спешить в Регину, их столицу, и оттуда доложить, что и как — ну, а дальше как прикажут.

— Думаю, надо поторопиться, Ева, — сказал он.

— Мне никак не удается...

Милов нагнулся, не без усилия поднял Граве с пола и взвалил себе на спину. Что-то осталось в руке, вроде тряпочки, он сунул это в карман, не думая, машинально, из привычки не бросать ничего на пол. Ева отворила выходную дверь, придержала ее, Милов вынес Граве. Дверь мягко защелкнулась за спиной. Рыбки теперь передохнут, — вдруг почему-то подумал Милов и даже пожалел их, как будто рыбки станут единственными жертвами происшедшего. Ева шла впереди, Милов тяжело спускался вслед — веса в Граве было куда больше, чем в женщине.

— Дан...

— Ева?

— Странно, правда? И неожиданно...

Ему не надо было объяснять, что не о Лили было это сказано, и даже не обо всем том, не вполне понятно, что происходило нынче в городе и вокруг него.

— Ева, я...

— Да. Я ведь поняла.

— Но если бы вы не сказали там, я бы не понял — о себе...

— Не надо объяснять, — сказала она.

— А мне надо, — сказал он. — Только не сейчас. Что с ногой?

— Посмотрим потом. Терпимо.

В машине он спросил:

— К вам домой?

— Да, — сказала она, помедлив. — Наверное, да.

Он включил мотор.

До перекрестка доехали беспрепятственно. Там, однако, пришлось уменьшить скорость: за то время, что они проехали у Граве, на пересечении улиц собралось довольно много людей, — с дубовыми листьями и без них, вооруженных и безоружных, молодых и пожилых; общим для них было, пожалуй, выражение лиц — какое-то мрачное ожидание читалось на них. Людей пришлось едва ли не расталкивать машиной — дорогу уступали неохотно, в самый последний миг. Милов спросил негромко:

— Где пистолет?

— В сумочке.

— Выньте и держите на коленях. Прикройте хотя бы платочком...

— Знаете, Дан, — помедлив, сказала Ева, — я не поеду сейчас домой: передумала. Мне нужно в Центр. К ним. Тем более, что Карлуски погиб. Так что выезжайте на проспект, и — прямо, пока сумеем. Главное — выскочить на шоссе.

— Ваше слово — закон, — согласился он. — И Граве там пристроим, кстати. Только надо бы где-нибудь заправиться — едем на остатках...

— Направо и еще раз направо, — сказала она.

— Спасибо, мой штурман.

На проспекте прохожих стало намного больше, и с первого взгляда можно было подумать, что все в порядке; однако, в отличие от хаотического движения людей на улицах в обычное время, здесь почти все направлялись в одну сторону; почти не было женщин, и совсем — детей. И никакого транспорта, за исключением той машины, в которой ехали они сами.

— Дан! — это было сказано почти с ужасом.

— Что с вами, Ева? — он резко затормозил.

— Вы что, тоже... из них?

— С чего вы взяли?

— Дубовый лист...

— Ну?

— Он торчит у вас из кармана!

Сняв руку с руля, он вытащил зеленую суконную тряпочку из кармана. Помял в пальцах.

— Шинельное сукно... Не бойтесь, Ева, это я подобрали у Граве в прихожей. Верно, потерял кто-то... тот, кто приходил.

— Дан, я и в самом деле начинаю бояться: что происходит с миром?

— Не знаю, хотя предположения можно строить. Может быть, он, как змея, меняет кожу. Выползает из старой.

— И старая кожа — мы?

— Может быть.

— Слушайте, а это хорошо, что мы едем в ту же сторону, куда идут все они?

— Мы ведь направляемся к центру, если нам нужно на шоссе?

— Но можно и обратным путем — так, как приехали...

— Боюсь, что там выехать из города будет трудно: помните? Ну вот; и люди тоже идут в центр. Да, теперь я уверен: это не само собой случилось. Кто-то это затеял, готовил, командовал. Ну, а теперь — здесь, во всяком случае, — они, видимо, одержали верх. И сейчас должны изложить свою программу и обнародовать указы. И есть лишь один способ сделать это.

— Как в средние века?

— Тока ведь нет, а значит — ни радио, ни теле, ни газет. Нет информации. А без нее — многое ли отличается нас от средних веков?

— Вы всерьез?

— Не совсем, может быть. Думаю, что какие-то качества нас все же отличают, даже когда нет электричества. — Милов кивнул в сторону одного из немногих прохожих, что шли против движения; тот был без листка и тащил два ведра с водой. — Даже когда приходится заменять водопровод вот этим...

— Дан, а вы помните танк? И солдат? Вот это меня всерьез пугает...

— А меня, напротив, успокаивает. Армия бездействует — значит, ждут команды. Откуда? Из столицы, естественно. В таких случаях правительство, как правило, не реагирует мгновенно: нужно взвесить последствия, и внутренние, и внешние... А пока армия под контролем правительства, могут быть эксцессы, но до всеобщей резни не дойдет.

— Думаете, в столице не происходит ничего подобного?

— Если правительство хоть чего-то стоит, его не так легко разогнать, как ваших коллег в поселке... Ага! Бензоколонка. Давно мечтал о встрече.

— Дан, я боюсь: вы плохо говорите по-намуруски, а они...

— У вас есть какая-нибудь булавка, шпилька? Приколите мне повязку, как только остановимся.

Он подъехал к колонке, затормозил, протянул ей левую руку.

— Теперь пересядьте за руль. Пистолет оставьте на сиденье, под платочком. И если увидите, что у меня осложнения...

— Буду стрелять.

— Нет. Вы немедленно уедете.

— Не выйдет, Дан. С моей ногой мне сейчас даже не выжать сцепления. Так что обходите без осложнений.

Он вышел из машины. Заправщика не было. Прорунув руку в окошко, погудел; никто не вышел из конторки. Тогда Милов сам отвинтил пробку бака, вставил наконечник шланга. На всякий случай еще раз погудел. Теперь человек вышел и махнул рукой. Проговорил лениво:

— Ты что, только проснулся? Тока нет.

Дурак старый, — подумал Милов о себе. — Знал ведь, что город без энергии, как же насосы станут качать? Однако же, бензин мне нужен. — Он заметил, что за будкой, почти целиком скрытая ею, стоит «тойота» — уверенное, самого заправщика. Ну, — подумал Милов, — у него-то, надо думать, бак полон, не в ту

эпоху живем, когда сапожники ходили без сапог...— Милов направился к будке неторопливыми, уверенными шагами.

— Зайдем на минуту к тебе,— он сказал это по-намурски, заранее построив фразу и несколько раз произнес ее мысленно, чтобы не запнуться.

Заправщик смерил его взглядом, усмехнулся, отступил. Милов шел вплотную за ним. Затворил за собою дверь. Тот обернулся.

— Твоя минута пошла.

— Надо залить бак. У тебя есть запас. Плачу вдвойне.

— Нет у меня бензина, да и некогда: пора на площадь, сам Растабелл, говорят, обратится к народу. И тебе полезно сходить, раз уж листочек надел, хоть ты и иностранец, говоришь как-то дубово. И бабу свою захвати, ей тоже не помешает послушать.— Он кивнул в сторону окна, из которого видна была машина, и в ней— Ева, опустившая боковое стекло. Она тоже смотрела в их сторону— напряженно, упорно. И в самом деле, выстрелит, если что,— поверил Милов, и от этой мысли ему стало весело.

— Ты пешком пойдешь?— спросил он.

— А как же. От машин— вред, ты что, не знаешь?

— Тогда отдай свой бензин.

— Ого! А до аэропорта я ее плечом толкать буду, по-твоему?

— Куда лететь?

— Дурак ты. Мы их там жечь будем! А ты разве не туда ехал? Пстой, пстой, а куда же...

Милов нанес удар по всем правилам искусства. Заправщик рухнул, не издав ни звука, хотя и здоровый был парень, бульонный. Милов нагнулся, снял с лежащего дубовый листок вместе с булавками, ощупал, вытащил тяжелый пистолет. Обойдешься,— подумал он, перешагнув через заправщика и вышел. Аккуратно затворил за собою дверь, подошел к машине. Ева смотрела на него и улыбалась, улыбалась— у него даже дыхание перехватило. Он тоже улыбнулся ей, сказал: «Сдай задним ходом вон туда, к «тойоте»— и сам направился туда. Открыл бак— бензина, как он и полагал, было по самую пробку. Подъехала Ева. Милов открыл багажник своей (в сложившейся игре) машины, нашел шланг и стал качать грушу. Бензин полился из бака в бак. Милов внимательно глядел— не появится ли хозяин, но тот, как видно, не спешил прийти в себя. Закончив, Милов аккуратно завинтил обе пробки, шланг уложил в багажник, захлопнул крышку и протянул Еве листок; этот, в отличие от найденного им, был из тонкого пластика.

— Очень модное украшение. Наденьте. Как тут Граве?

— Все по-прежнему.

Они осторожно выехали на улицу. Прохожих стало еще больше. Шли они все в том же направлении. Одиночки, нестройные ряды добровольцев, время от времени— ровно печатавшие шаг небольшие отряды волонтеров. Не было лишь военных...

— Смотрите, Дан!

То были совсем другие люди; прямо посреди улицы шла колонна, человек до сотни, у большинства руки были связаны за спиной, кое на ком одежда разорвана. Их вели люди, одетые одинаково, как волонтеры, но не в отслужившее солдатское, а в черные брюки и черные же облегающие свитеры, и дубовые листья на груди каждого были не зелеными, но ярко-желтыми и сразу бросались в глаза.

— То ли кунсткамера,— пробормотал Милов,— то ли расцвет плюрализма... Это еще что за формирование?

— Молодые стражи,— ответила Ева.

— Все-то вы знаете...

Колонна мешала проехать. Милов решительно загудел. Строй не сразу, как бы нехотя, начал принимать влево. Обезжать ее пришлось медленно, почти вплотную. Арестованные шли, угрюмо глядя кто под ноги,

кто прямо перед собой, никто не шарил глазами по сторонам— видимо, стыдно было своего положения. Один, уже очень немолодой, споткнулся, страж крикнул ему: «Под ноги гляди, морда безродная!»— но тот поднял голову, оглянулся на звук мотора, встретился со взглядом Милова— в глазах старика стояла тягловая тоска. Ева отшатнулась, припала головой к плечу Милова.

— Осторожно, девочка,— сказал Милов.— А то я врежусь не в того, в кого стоило бы...

Она всхлинула.

— Не понимаю,— сказала она с отчаянием в голосе.— Не могу понять... Ученые, инженеры— дико, но в этом есть хоть какая-то логика. А это?.. Не уклады-вается в сознании.

— Ну почему же?— сказал Милов даже как-то лениво, словно ему предстояло объяснять ребенку вещи очевидные и понятные едва ли не от рождения.— Для одних истребление природы было причиной требовать изменения самой сути цивилизации, постепенного перевода ее из материального в духовное русло. А для тех, кто организовал все это,— он кивнул в сторону колонны, мимо которой они все еще ехали,— то был лишь повод для обвинения властей в неспособности— чтобы захватить все в свои руки.

Колонна осталась, наконец, позади, и он увеличил скорость— ненамного, потому что люди шли не только по тротуарам.

— Болит голова,— пожаловалась Ева.

— Крепитесь, милая... Вот дьявол! Ну, что ты скажешь!

Впереди, перегораживая улицу, тесно друг к другу стояли грузовики.

— Через такую баррикаду я прорваться не берусь. Разве что на танке. Тут можно двигаться только вместе со всеми.

— Погодите,— хрипло послышалось сзади: Граве очнулся.— Где мы? Куда вы меня везете? Почему?..

— Лежите спокойно,— посоветовал Милов.

— Остановитесь! Выпустите меня! Я убью их, я всех убью! Дайте мне!— Он протянул руку между передними сиденьями.— Вы предлагали мне пистолет!

— Разве вы стрелок, Граве? Да и вообще, это не выход.

— Но ведь они убили ее...— проговорил Граве и зарыдал, словно только сейчас поняв, что означали эти слова,— тяжело, истошно, не умея остановиться. Машина тащила на второй передаче.

— Все,— сказал Милов.— Дальше не проехать. Сделаем так...

Непрерывно гудя, он стал сворачивать в первую же подворотню. Машину нехотя пропускали. Въехали в неширокий дворик с росшим посредине деревом; почти вся кора с него уже опала. Милов остановил машину.

— Придется переждать здесь,— сказал он.— Кончится же когда-нибудь это шествие. Граве, вы сидите и не высовывайте носа, воздавать будете потом, сейчас это невозможно. А вы, Ева...

— Я с вами,— решительно заявила она.

— Но я хочу пойти на площадь— посмотреть, послушать, меня все это чем дальше, тем больше интересует. А у вас нога...

— Мне очень нравится,— сказала Ева,— когда меня носят на руках.

— Ну, если так, то сдаюсь,— капитулировал Милов. Милов вылез, помог выйти Еве.

— Я сразу возьму вас на руки. Так будет надежнее.

— Бойтесь потерять меня?— спросила она, улыбувшись.— Нет, я хоть немного хочу пройти сама.

Он крепко взял ее за руку.

— Все равно, я вас не потеряю.



Это была Ратушная площадь, и люди заполняли ее до предела; правда, была она не так уж велика, как и в большинстве старых европейских городов. Люди стояли, разделившись на две четко обозначенные группы, одна побольше, другая — не столь многочисленная; видимо, намуры произвольно подходили к намурам, фромы — ко своим, никто не устанавливал их так, но все же между группами оставался неширокий проход, тянувшийся до самой ратуши, и там, вдоль здания, стояла третья группа, самая маленькая — но то были волонтеры.

— Не станем углубляться,— сказал Милов, когда он и Ева вышли на площадь, несомые потоком.— Входя, думай о том, как будешь выходить.— Встав перед Евой, он начал расталкивать толпу и вскоре добрался до одного из окаймляющих площадь домов, остановился близ подъезда.— Вот здесь и останемся.— Он поправил висевший за спиной автомат, ни у кого не вызывавший удивления: вооруженных тут было немало.— Надеюсь,— сказал Милов,— стрелять нам не придется.

— Будем говорить поменьше,— тихо отозвалась Ева,— кто знает, как здесь воспримут иностранцев...

Над площадью стоял гул, неизбежный, когда собирается вместе такое множество людей. Местами над толпой поднимались насупленные лозунги, намалеванные, скорее всего, на полосах от разодранных простыней. Тут и там размахивали национальными флагами, но в стороне, занятой фромами, мелькали и еще какие-то цвета — возможно, у фромов был и свой флаг, особый. Потом словно кто-то подал знак, Миловым не замеченный, — и все запели что-то, что Милов принял за марш, но то был государственный гимн, и пели его на двух языках, изо всех сил, стараясь как бы перекричать не только другой язык, но и все шумы в стране. Затем вдруг настала полная тишина. На длинном балконе второго этажа показалось несколько человек, все — штатские, только один, очень немолодой уже, был в комбинезоне, как все волонтеры, без знаков различия, но с дубовыми листьями. Они выходили не спеша, один за другим, и останавливались, подойдя вплотную к балконным перилам. Судя по всему, это и были главари — или вожди, те, кто возглавлял это не до конца еще понятное движение с его не до конца еще понятной жестокостью. Можно было ожидать, что их встретят взрывом энтузиазма, но это, видимо, здесь не было

(132) принято; а может быть, люди и не знали всех в лицо — ведь и суток еще не прошло с минуты, когда все началось.

Наконец, вышел, видимо, последний — их оказалось девять человек всего. Милов машинально огляделся в поисках телекамер, усмехнулся силе привычки: телевидения на сей раз не будет, как не бывало его прежде сотни и тысячи лет... Люди на балконе помолчали, потом стоявший в середине поднял руку, как бы призывая к вниманию, хотя и без того все внимание было устремлено на него. По прямой Милова отделило от балкона не более пятидесяти метров; шурясь, он вглядывался в лица девятерых — лица были обыкновенными, не очень выразительными. Он вдруг ощутил, как Ева сильно вцепилась в его руку. «Больно?» «Нет, ничего...» — не сразу ответила она. И через секунду повторила: «Нет, ничего, ничего». И словно дождавшись именно этих слов, стоявший в середине девятыи начал говорить.

— Сограждане! — произнес он, потом понял, видно, что на этот раз усилителей и микрофонов нет, и нужно говорить громко, чтобы услышали все, и повторил, на сей раз почти выкрикнул: — Сограждане! Мы с вами решились и совершили великое дело. Вы сами знаете, какое: мы спасли жизнь. Жизнь с большой буквы: нашу, наших детей, всех предстоящих поколений. Десятки и сотни лет люди и правительства, не имевшие или потерявшие чувство ответственности перед настоящим и будущим, убивали, отравляли, калечили мир, в котором мы все живем, в котором только и можем жить. Вы все знаете, и не по рассказам знаете — на самих себе, на детях своих испытали, как все это происходило. Как вырубались и отравлялись леса, как вода превращалась в химический рассол, в котором ничто живое существовать уже не могло, как земля, данная нам от Бога, наша плодородная земля становилась порошком вроде тех, каким морят насекомых — но это не насекомых морили, это нас медленно, но верно убивали, начиная плоды нив, и садов, и пастбищ такими количествами противных жизни веществ, что мы, сами того не понимая, подходили уже к той грани, за которой началось бы стремительное и неуправляемое вымирание... Ради чего все это совершалось, сограждане? Ничто не требовало этого, потому что нет смысла в росте населения, если оно растет лишь для того, чтобы быть отравленным, удушенным и сожженным... И мы, в на-

шей маленькой стране, тоже пользовались ядовитыми плодами этого образа жизни, и к нам приезжало все больше людей из других стран, привлеченных нашим кажущимся благополучием, и приезжали они не с пустыми руками, вначале привозили с собой горькие плоды науки и техники, а затем стали выращивать их и на нашей благословенной земле; и мы не запретили им въезд, не подумали о своем будущем — говоря «мы», я имею в виду то правительство, которое существовало до вчерашнего дня; но бремя его вины перед народом превысило все мыслимые пределы, и Создатель — или судьба, если угодно — сурово покарала преступных властителей: рухнула, как многие из вас уже слышали, плотина, и потоп обрушился на столицу, и все они утонули, подобно крысам...

Рев толпы прервал его. Господи, что за идиоты, — подумал Милов, понимавший не все, но главное. — Радуются беде — как же они не соображают, что погибли наверняка и сотни тысяч людей, таких же, как они сами, ни в чем не виноватых... Так вот, значит, в чем дело, почему нет энергии и откуда вода в канавах... Но он подставляется очень необдуманно — опыта не хватает?..

Опыта, видимо, было достаточно, потому что оратор продолжал:

— Да, погибли многие и многие, и мы скорбим о них. Но разве не сами они привели себя к гибели? Разве не им, жителям столицы, разве не их заводам и вертепам прежде всего нужна была та сила, ради которой и воздвигали плотину, чтобы вода, наша чистая, природная вода вертела их машины, убивавшие и уже убившие жизнь в нашей реке и других водоемах? Да, и мы с вами, сограждане, остались без электричества, и нам отныне придется многое делать не так, как до вчерашнего дня, — но предки наши на нашей земле столетиями жили без него — и только благодаря их здоровой жизни мы и появились на свет! Вспомним о предках, сограждане, и пожелаем стать такими, как они, и не сетовать, но благославлять ту волю, благодаря которой все произошло... Ограничим себя, сограждане, и в потребностях, и в поступках, будем жить скромно, строго, целеустремленно и чисто...

— Дан! — возбужденно прошептала Ева. — Но ведь все это верно, он прав! Он прав!

— Согласен. И все же... где-то в рукаве у него крапленая карта. Очень уж не вяжется...

— Это же Раस्ताбелл, Дан! Он честный человек...

— Ну, может быть, и не он сам, но кто-то из близких к нему гнет свою линию: идет к власти, к полной власти, к диктатуре, может быть... Погодите, послушаем еще.

— ...Вы скажете, сограждане: но ведь и мы виноваты! Да. Но разве мы не поняли? Разве не раскаялись и не доказали этого делом?

Тут толпа снова на несколько мгновений взорвалась ревом; Милов почувствовал, как вздрогнула Ева, да и самому ему стало не по себе, хотя он вроде бы привык в жизни ко всякому. Он их доведет до кипения, — подумал Милов, — тогда уже не помогут никакие танки... Люди ревели, топали, аплодировали, поднимали в воздух оружие — те, у кого оно было, остальные вздымали над головой сжатые кулаки, размахивали флагами. Казалось, взрыв этот никому не под силу унять, но оратор снова поднял руку — и толпа затихла сразу, доверчиво, покорно. Да, он хорошо держит их в руках, — подумал Милов. — Не зря оказался во главе. Раस्ताбелл, Раस्ताбелл... что-то я слышал — или читал?... Но оратор уже заговорил снова:

— Мы это сделали, да, сограждане. Но это не значит, что мы целиком оправданы. Мы все еще виноваты. Виноваты в том, что были слишком нерешительны. И на нашей благословенной Господом земле возникла страшная язва, рассадник гибели. Вы отлично знаете, о чем я говорю: о Международном Научном центре. Нельзя было допускать его. Нельзя было идти ни на какие со-

глашения. Мы — допустили. И в этом — наша общая вина, и теперь получить прощение матери-природы и самого Творца мы можем только все вместе, общими действиями. Потому что, дорогие сограждане, дело дошло до того, что и на нашей земле стали рождаться дети, которые не хотят жить! Это наша с вами гибель! Это преступление не одного только нашего века — это величайшее преступление за всю историю рода людского!

Снова взрыв. Ева сказала в самое ухо Милова — громко, иначе ему не услышать бы:

— Дан, он все равно прав — куда бы ни гнул...

Милов кивнул:

— А лозунги всегда правильны. Они — начало. Но потом...

Он умолк одновременно со всеми: снова над головой оратора взлетела рука.

— Но мы выступили вовремя, все еще в наших руках! Сограждане... — тут он запнулся, почти незаметно, на полсекунды только, но все же запнулся, словно ему надо было в чем-то преодолеть, убедить самого себя, и это ему удалось, хотя и недешево стоило. — Всего лишь несколько часов прошло с той поры, как остановились заводы, как перестали они отравлять воздух — наш с вами воздух. И вот — результаты! Наши дети (он снова на мгновение прервался, словно перехватило горло), наши дети, о которых я сказал, были помещены в условия, в которых не должны жить люди, только лабораторных крыс можно использовать так. Вы спросите: а что еще было делать, нельзя же было позволить им умереть! Отвечу: да, нельзя! Но не надо было для этого замыкать их в непроницаемые камеры, словно приговоренных к пожизненной тюрьме; надо было сделать то, что и сделали мы: убрать, обезвредить источники отравления! Мы сделали это — и вот...

Он повернулся к выходящей на балкон двери. Толпа замерла. И тут же, одна за другой, на балкон вышли четыре рослых женщины, одетых, как сестры милосердия, и каждая держала на руках младенца — крохотное тельце, аккуратно укутанное в одеяльце. Один ребенок заплакал, и такая тишина стояла на площади, что этот тихий плач услышал каждый.

Раस्ताбелл поднял голову, раскрыл рот, но, наверное, не нашел нужных слов; молчание на миг стало невыносимо тяжелым — и тут заговорил другой, стоявший рядом с ним, слева:

— Вы видите, сограждане! — крикнул он. — Вот они! Всего несколько часов — и они уже дышат, как мы с вами, обыкновенным воздухом. Не потому, что изменились они: изменился воздух!

На этот раз ликующий рев достиг такой силы, что даже Раस्ताбеллу не по силам оказалось бы справиться с ним, не то, что новому оратору; люди клочотали, как лава в кратере проснувшегося вулкана. Многие плакали, не стесняясь.

— Дан... Я не верю, этого не может быть, мне кажется, тут совсем другие дети...

— Кричите «Ура!» — ответил он, — кричите громче! — И сам заорал: — Да здравствует! Ура! Ура!

Не менее десяти минут прошло, пока второй оратор смог заговорить снова:

— Сограждане! Наш Первый гражданин напомнил вам, что минувшей ночью многие выступили против источников гибели. И обезвредили некоторые из них. Но не все! Успокаиваться рано, снова могут закипеть котлы с адским варевом, в воздух и воду снова извергнутся плоды дьявольской кухни! И еще не наказаны те, кто занимался и дальше готов заниматься этими человеконенавистническими делами — если мы не помешаем... Что же удивительного, мои сограждане, намурь и фромы: ведь большинство из них не принадлежит к нашим народам, это пришлые люди, чуждые нам, и они не станут щадить ни нас, ни наших детей, и если даже все мы поголовно выйдем, никто из них не почешется!

Люди бушевали, и рев их, отражаясь от каменных стен, вихрился, креп, оконные стекла звенели и, казалось, вот-вот разлетятся осколками. Говоривший снова терпеливо обождал.

— Как же мы, друзья, поступим с ними? Тут были разные мнения: проявить милосердие и просто выбросить их за пределы страны; или же, поскольку они ели наш хлеб и наносили нам ущерб, заставить их честным человеческим трудом покрыть причиненные нам убытки. Да, собраты, мы люди милосердные, и нам чуждо стремление причинить кому-либо вред. Но ответьте: а они о нас думали, они нас жалели? Нет и нет! И мы поняли одно: этих людей не переделать. Поступить со всеми ними, и преступниками, и пособниками, милосердно — означало бы снова предать наш народ, не избавив его от давно нависавшего дамокловского меча... ну, от меча гибельной угрозы, черт меня возьми, мне эти чужие слова всегда нелегко давались... — Он переждал одобрительное гудение толпы, постепенно он обрел власть над нею. — Нет! — выкрикнул он затем. — Мы не пойдём на предательство — да вы и не позволите нам, потому что в своем сердце вы уже вынесли им приговор, и приговор этот — смерть!

На этот раз шторм грянул не сразу, и как-то вроде бы нерешительно, но в разных углах площади все громче и определеннее раздавалось: «Смерть! Смерть!» — и в конце концов сборище загремело еще грознее, чем прежде.

— Дан, я боюсь...

— Вот теперь обозначилось направление, понимаете?

— Кто бы мог подумать: в наше время, во вполне цивилизованной стране, с традициями...

— Диалектика, — усмехнулся Милов. — Единство противоположностей, новое вырывается в недрах старого... Довольно противный голос, кстати.

— ...Не месть и не расправа — наша цель, но уничтожение всего того, что угрожает жизни. Все, что принесено извне в нашу жизнь, в наши дома, на улицы, в леса и поля, реки и озера той болезнью, которую именуют научно-техническим прогрессом — все это подлежит уничтожению. Долой! Долой все то, что, как нам по нашей наивности казалось, делает нашу жизнь удобнее, комфортабельнее, приятнее! Ибо все это, братья, действительно делало удобнее — но не жизнь нашу, а смерть, нашу с вами и всех тех, кому надлежало прийти от нас — после нас. Поэтому — не надо жалости! Не надо сомнений! Чистый воздух, чистая земля, чистая вода, чистый народ!..

— Дан, вы понимаете, что это значит? Это же призывает разгромить Центр и расправиться...

— Чего уж проще.

— До сих пор я надеялась, что дети послужат защитой, те, что у нас в Центре: это же их дети! Но теперь... Дан, они ведь, по сути, решили принести их в жертву, раз объявили здесь, что они здоровы и благополучны, что там их больше нет. И Раस्ताбелл среди них, вот этого я не могу понять...

— Почему?

Ответа он не получил: почувствовал, что кто-то отесняет Еву от него, насколько это было возможно в плотной толпе. Не размышляя, Милов резко двинул рукой, почти наугад. Но в этой каше нельзя было ударить, как следует, и кулак лишь скользнул по чьей-то скуле. Ева, изловчившись, перехватила его руку.

— Дан, милый, это же Гектор, из Ю-Пи-Ай, это свой... Гектор, это Дан Милов, из России. Гектор, кто это вас так? Дан не мог... — Простите, Гектор! — зорил Милов, чтобы перекричать толпу. — Я было решил...

— Пустяки, Дан, то ли бывает. Вы от кого?

— Я тут в общем случайно.

— Жаль — обменялись бы информацией. Меня потрясло чудо с детьми: за несколько часов...

— Чистый блеф. А меня — то, что он сказал о плотине. Действительно — потоп?

(134)

— Плотины рухнула, как по заказу, с нее и началось, хотя терпение у людей давно было на исходе; я здесь третий год, и жизнь за это время не становилась легче... Погодите, о чем он?

— ...Сограждане! Еще одно усилие! И оно будет последним. Сотрем с лица земли, и плугом проведем борозду...

— Ну, программа изложена исчерпывающе. Знаете, Гектор, я, откровенно говоря, побаиваюсь.

— Ничего, выберемся...

— Я не об этом. Понимаете, такое напряжение ведь не только в Намурии. Легче сказать, где его нет: в Швеции и Швейцарии, может быть. А примеры заразительны. И если в других странах не начнут принимать серьезные меры...

— То есть, не прибегнут к армии?

— Глупости, Гектор. Серьезные меры могут быть лишь одни: немедленно жать на тормоза, наводить порядок в защите жизни от «Хомо Фабер», иначе мир может в несколько дней превратиться в черт знает во что... Вы уже ударили в свой колокол?

— Как бы не так! Нет связи, понимаете? Столько информации, и нет возможности передать...

— А Центр? — спросила Ева. — Там-то энергия, наверное, есть: станция своя, и радицентр — тоже...

— Я всегда говорил, что женщины умнее нас, — сказал Гектор; они говорили по-английски, и на них все чаще косились те близстоявшие, кто мог хоть что-то услышать, кроме не прекращавшегося рева толпы. — Давайте исчезнем, пока это еще возможно. И постараемся пробиться в Центр. Хотя не представляю...

— У нас тут рядом машина.

— О-о! Тогда я с вами. Берете?

— С радостью. Помогите Еве, Гектор, у нее нога. А я пойду ледоколом: меня сегодня еще не били. Ну — вперед!

Они опоздали на несколько секунд: уже вся масса людей устремилась в улицы, уводящие с площади, и троих просто-напросто потащило вместе со всеми. Противостоять потоку было невозможно. К счастью, их понесло по той же улице, по которой они пришли.

— Страхуйте Еву справа, иначе ее сомнут.

— Понял, Дан. Когда-то я умел...

Журналист и сейчас не утратил способности ввинчиваться в толпу решительно, но не грубо, без обострений.

Как течение выносит щепку в спокойную заводь, их вытолкнуло в подворотню. Двор был пуст, лишь дерево по-прежнему медленно умирало, и ему не легче было оттого, что судьба его наконец-то заинтересовала людей всерьез.

— Прыжки и гримасы, — пробормотал Милов. — Где машина?

— Наверное, там, где Граве, — ответила Ева, вытирая пот со лба. — У меня чуть не вырвали сумочку... О, да в ней кто-то успел похозяйничать!

— Пистолет?

— Цел: в кармане жилета. А вот кошелек...

— Выживем — разбогатеет. Как удалась Граве вырваться? Почему он не дождался нас? Хотя, может быть, он ни при чем, а машину угнали, чтобы сжечь; призывы здесь, похоже, осуществляются быстро.

— Дан, — сказала Ева. — Кажется, я смертельно устала, и нога никак не успокаивается. Пешком до Центра не добраться. Выход пока один: идемте ко мне.

— А там у вас машина? — с надеждой спросил Милов.

— Моя осталась в Центре, но другая, надеюсь, дома. Там можно будет подумать спокойно, для меня найдется неплохая аптечка.

Гектор покачал головой:

— Я неплохо знаю Лестера, Ева, И, откровенно говоря...

«Аэлитар»-90

— Его сейчас нет дома,— сказала Ева уверенно.— Дан, не размышляйте глубокомысленно. Поверьте: я права. Идемте. Теперь моя очередь возглавить шествие.

Улица, на которой они вскоре оказались, была застроена красивыми многоэтажными домами, теперь уже старыми, но по уровню удобств наверняка превосходившими те жилища, которые во множестве воздвигал нынешний век. Было нечто величественное в этих строениях, среди которых не было и двух одинаковых, но все вместе они выглядели архитектурным целым; объединяло их, кроме единой школы, и еще одно: ощущение неприступности, замкнутости, какой-то крепостной уверенности в себе...

Но сейчас незримые крепостные валы словно бы рухнули, и возле домов толпился народ, тяжелые, привыкшие стоять замкнутыми дверями подъезда были распахнуты настезь, зеркальные окна — тоже, и уже летели на мостовую книги; некоторые падали тяжело, кирпичом, словно за годы стояния на полках книжных шкафов — семейных, переходивших из поколения в поколение, — листы их так срослись друг с другом, что уже не могли более разъединиться, как не могли разъединиться судьбы их героев или символы их формул; другие книги, как будто стараясь подольше удержаться в воздухе, а может быть, и вовсе улететь от ожидавшей их судьбы, раскрывались на лету и были похожи на подстреленных из засады птиц; третьи, самые старые, возможно, или более других читанные, уже в падении разлетались отдельными страницами, и можно было подумать, что кто-то швыряет сверху пачки листовок, чтобы донести до людей неизвестно чей яростный призыв... Внизу люди сгребали упавшие книги, сносили на руках, толкали ногами, прикладами ружей, громоздя кучу, и кто-то уже подносил к куче зажигалку, бережно прикрывая ладонью лисий хвостик пламени.

— Боже мой, боже мой,— бормотала Ева.— Книги, но зачем же книги — они же не вредят природе, почему же их...

— А почему же нет? — сказал Милов, криво усмехнувшись.— Где граница, до которой можно, а дальше — нельзя? Если можно убивать людей — почему же не жечь книги? Трудно бывает начать, но еще труднее — остановиться, особенно если катишься с кручи в каменный век...

— Ненавижу ваше спокойствие,— задыхаясь, проговорила она.

Тем временем еще другие окна распахнулись, и, взаперемешку с книгами, стали грохаться на тротуары и проезжий асфальт радиоприемники, от карманных транзисторов до массивных настольных всеволновых суперсов — один, маленький, угодил в голову кому-то из усердствовавших внизу — тот схватился рукой за поврежденный череп, сквозь пальцы проступила кровь, кто-то засмеялся, никто не подошел помочь; гулко взрывались выброшенные телевизоры; откуда-то волокли, кряхтя, аппарат телекса; из другого подъезда вышвырнули сильно, словно из катапульты выстрелили, человека — лицо его было в крови, он прижимал к груди пачку каких-то бумаг, их рвали у него, несколько раз ударили, швырнули на тротуар; там он сел, глаза его близоруко моргали, по лицу текли слезы, но обрывки бумаг он все же сжимал в пальцах... «Господи,— простонала Ева, у нее подгибались ноги, Милов и Гектор едва не силой тянули ее вперед, поддерживая с двух сторон,— это же поэт, я его знаю, мы здороваемся, его, наверное, спутали с братом, тот — ученый, но занимается астрофизикой, ну какой от нее вред природе?..»

Они подошли к дому, где жила Ева. Из дома тащили уже не книги, а книжный шкаф, старинный, резной, черный, одна дверца его все время открывалась, ее со злостью захлопывали, но она снова падала. «Это не ваш, Ева?» — спросил Гектор. Она медленно качнула голо-

вой. «Нет. У нас все современное, мы ведь здесь недавно...» Люди со шкафом застряли в подъезде, войти было невозможно. «Гектор, помогите им!», — попросил Милов. «Чтобы я, своими руками?..» — «Именно вы, и своими руками: должны же мы попасть внутрь». Гектор выругался и пошел на помощь тащившим; те были хлипковаты, чего нельзя было сказать о корреспонденте. С его помощью шкаф выволокли, бросили на улицу, стали, усердно пытаясь, разламывать на доски. Гектор вернулся. «Чувствую себя подонком», — сказал он, снова взяв Еву под руку. «Зачем, зачем? — снова не проговорила, скорее простонала Ева.— Культура же не враг экологии, наоборот, зачем же они все это?..» «Когда же вы здесь, в вашем западном парадизе, научитесь понимать, что лозунг — одно, а действие — совсем другое», — с досадой пробормотал Милов. «Теперь, наверное, уже никогда», — ответил Гектор, — просто не успеем. По-моему, третий этаж, Ева?» «Третий», — подтвердила женщина безразличным голосом. Лифт, естественно, не работал. Милов поднял Еву на руки, сказал Гектору: «Идите вперед». На площадке второго этажа двое, один с дубовым листом добровольца, другой в полицейской форме, но без нашивок, преградили им дорогу. «Кто такие? Здесь живете?» — спросил доброволец. Полицейский молчал, внимательно глядя на Милова; Даниил опустил Еву, помог ей встать на ноги, чувствуя, что сейчас понадобятся свободные руки — тогда полицейский перевел взгляд на обезьяний галстук Милова — всмотрелся внимательно, словно там было написано нечто, — потом посмотрел Милову прямо в глаза. Гектор тем временем тихо и зловеще втолкнул добровольца: «Ты что, сукин сын, не видишь — это мадам Рист?» «А на ней не написано, какая она такая мадам», — не без некоторой наглости отвечал тот. Полицейский сдержанным и уверенным голосом произнес: «Пр-рапустить!» «Слушаюсь!» — немедленно ответил доброволец. Полицейский, все еще глядя в глаза Милову, едва уловимо качнул головой, чуть заметно приподнял плечи, Милов же не то, чтобы кивнул, но сделал какой-то неуловимый намек на такое движение. После этого он, поддерживая Еву, повел ее наверх, Гектор замыкал шествие. «Сейчас», — сказала она и стала рыться в сумочке. Потом подняла глаза на Милова. «Наверное, вытащили вместе с кошельком... Господи, я устала, устала, не могу больше...» — и заплакала. Милов смерил взглядом дверь — она была даже на вид массивной, не из тех, какие вышибают плечом или ногой с разбега. «Ничего», — сказал Милов, — не волнуйтесь, Ева, милая: сейчас все уладим. Он перегнулся через перила. «Капитан,— крикнул он вниз,— поднимитесь, пожалуйста, нужна ваша помощь». Человек в полицейском мундире поднялся по ступенькам. «Мадам потеряла ключ,— объяснил Милов,— дайте возможность попасть в квартиру». «Но, господин по...» Милов прервал мгновенно: «Это моя личная просьба». Полицейский, не колеблясь более, вынул из кармана черную коробочку с кнопками, повозился с полминуты, открыл дверь — за ней оказалась другая, она тоже отняла несколько секунд. «Прошу», — сказал он и отступил в сторону. Ева вошла, за ней Гектор, Милов задержался на мгновение. «Что тут? — спросил он капитана полиции.— Что-то еще можно сделать?» Полицейский покачал головой. «Мы зашли в тупик, сейчас все порвано, обстановка неясная — пока стараемся уцелеть». «Желаю», — кратко попрощался Милов, потому что изнутри уже звала Ева: «Дан, ну где вы там!» Он вошел, закрыл за собой обе двери. «На засовы, пожалуйста», — попросила Ева, — механика не действует». Вслед за хозяйкой они вошли в обширную комнату, где она не села, а просто рухнула на широкий диван. «Сядем, отдохнем», — сказал Гектор, — тут мы в безопасности». Милов кивнул: он знал это лучше Гектора, однако говорить об этом считал излишним: это только его было дело и еще нескольких человек в этой стране (и капитана полиции — или бывшего капитана, черт его теперь знал) — и ничем больше. «Понимаю», — сказал он, — раз тут живет

Рикс, то и выставлена охрана, не так ли?» «Если бы только Рикс! — усмехнулся Гектор. — Там, на втором этаже, где они стоят — сам Мещерски!» «Ах, да, Мещерски, — сказал Милов с понимающим видом, — ну, конечно, как же я сразу не подумал! Кстати, а кто такой этот Мещерски?» Тут они оба расхохотались. «Нет, Дан, в покер с вами я не сяду, — сказал, посмеявшись, Гектор, — я было и вправду поверил, что вы в курсе всех дел. Мещерски — это тот, кто выступал на площади вслед за Раstabеллом. Глава добровольческого движения, председатель партии борьбы за жизнь, и так далее». «Высоко залез, — сказал Милов, — Судя по фамилии, он мой соотчич? Из эмигрантов, что ли?» «Нет, не думаю, чтобы он был русским — возможно, кто-то из предков, но вообще-то он свой род ведет, по словам, от каких-то греков, или из тех краев, во всяком случае». «Интересно, — проговорил задумчиво Милов, — деятель культуры и глава штурмовиков — в одной упряжке?..» «Ну, это до поры до времени, — уверенно молвил Гектор, — Раstabелла они сразу же, как только утвердятся у власти, ну, не то, чтобы выкинут, но сделают из него — как это у вас, русских, называется — образец...» «Образ, — поправил Милов, — икону, вы это имели в виду?» «Вот-вот, и будут ему поклоняться, но делать-то станут посвоему». «Ясно, — сказал Милов и встал. — Ева, — позвал он осторожно; женщина лежала с закрытыми глазами и отозвалась лишь на повторное обращение. — Вам что-нибудь нужно?» «Спасибо, Дан, ничего, я просто полежу, только, если можно, снимите с меня ваши туфли — я вам очень благодарна за них, но теперь я уже дома». Милов осторожно снял с нее туфли. «Ева, с ногами нужно что-то сделать. Где тут поблизости живет врач?» «Не нужно врача, в ванной откройте аптечку, там есть такая коричневая туба с мазью — это все, что нужно». Милов не сразу (жилище было обширным) нашел ванную, принес требуемое, выдавил мазь на пальцы, осторожно начал втирать. «Как приятно, — тихо проговорила Ева, — еще, пожалуйста... и вторую тоже...» Это заняло минут пятнадцать; Гектор тем временем, сперва поглядев на них с иронией, закрыл глаза и, кажется, задремал. «Я еще полежу немного, — сказала Ева, — а потом чем-нибудь покормлю вас». Милов и в самом деле почувствовал, что закусить было бы не лишне. Услышав о еде, Гектор мгновенно открыл глаза. «Кстати, о еде — а где у вас телефон? Серьезный, я имею в виду». «В его кабинете, — сказала Ева бесцветным голосом, — из холла по коридору прямо, в самом конце». «Да не работают телефоны, Гектор, — напомнил Милов, — тока ведь нет». «Ну, — сказал Гектор, — правил без исключения не бывает, это-то вам известно?» «Тогда я с вами», — сказал Милов. Он снова подошел к Еве, погладил ее по голове — она слабо улыбнулась; Гектор уже вышел, чтобы, по журналистской привычке, первым захватить связь. «Дан, — тихо сказала женщина, — вы меня презираете?» «За что, Ева?» «Ведь Рикс — мой муж, вы знаете... И он во всем этом играет какую-то роль — похоже, немалую. Но я не знала, и сейчас не знаю, честное слово...» Милов пожал плечами. «Ну, и что? Почему вы должны стыдиться своего замужества? Я вот тоже был женат, и надеюсь, что вы простите мне это: тогда я ведь не знал вас...» Он ожидал, что она снова улыбнется, но женщина оставалась серьезной. «Рикс, — повторила она, — он ведь тоже стоял там, на балконе, по соседству с Раstabеллом и Мещерски...» Милов присвистнул. «Но какое отношение он, иностранец, может иметь...» «Я не знаю, как и что, — сказала она, — честное слово, хотя и знала, что у него есть какие-то дела с политиками — но ведь деловому человеку без этого нельзя. Но я не предполагала, кланусь вам...» «Ева, — серьезно сказал Милов, — я тоже кланусь вам — что никогда не стану целоваться с Риксом». На этот раз она все же подняла уголки губ. «А со мной?» Милов нагнулся и поцеловал: поцелуй был долгим. «Идите, — сказала она, — не то моего терпения не хватит».

Он прошел в кабинет. Гектор сидел за обширным,

136

пустым столом. Тихо звучал транзисторный приемник; передача шла на английском языке. Кроме приемника здесь были два телефона, стоял телек, факсмашина, на отдельном столике — персональный компьютер, по стенам — закрытые полки с видеокассетами и дискетками. Гектор нажимал клавиши одного из телефонов. Окна были зашторены, шум улицы сюда не доносился.

— Ну, есть успехи?

— Вот этот аппарат дышит. Остальное мертво.

— А компьютерная связь?

— То же самое. Звоню всем подряд. Аэропорт, вокзалы, телевизионный центр — все молчат. Ни междугородный, ни международный каналы не действуют. Впечатление такое, что все телефоны в городе выключены — кроме таких вот, особых. Это специальная линия, с питанием от установки в Министерстве порядка.

— Но ведь эти, работающие, должны для чего-то служить?

Гектор не успел ответить: телефон зазвонил — громким, приятным жужжанием.

— Не снимайте, — поспешно сказал Милов.

Гектор кивнул. Телефон прожужжал несколько раз и умолк.

— Кому-то нужен Рикс, — сказал Милов.

— Вероятно, Рикс должен скоро явиться, — сказал Гектор. — Это было бы некстати.

— А может быть, он сам разыскивает жену?

— Если так, то теперь он знает, что ее нет дома.

— Кстати, что вы успели услышать по радио?

— Сообщили, что связь со страной прервана и граница закрыта. Больше никто ничего не знает: ни Рейтер, ни ваш ТАСС, ни, естественно, Ю-Пи-Ай — поскольку я сижу здесь и молчу. Значит, ни у кого нет связи, не только я один страдаю.

— Попробуйте позвонить еще. Может быть, в префектуру?

— Мысль не банальна. Спрошу хотя бы, какие возможности связи будут предоставлены иностранным корреспондентам.

— Постойте... Если префектура работает, там в два счета установят, откуда вы звоните.

— От Рикса, не откуда-нибудь!

— Не годится. Если вы рядом с Риксом, то он знает больше, чем сам префект — вам не понадобилось бы звонить.

— Верно. Значит, у нас остаются две возможности выйти на связь: через армию или научный центр. Надо спешить, Милов, не то во мне крепнет ощущение не просто дармоеда, но плохого журналиста, а я всю жизнь считал себя хорошим... Что там, на улице?

Милов подошел к окну, отодвинув шторы.

— Работают возво.

— То есть жгут?

— В лучших традициях.

— Жутковато становится, честное слово... Не знаю, как вас, Дан, а меня успокаивает лишь то, что у нас это было бы невозможно.

— Не знаю, Гектор, не знаю. Конечно, у вас великие демократические и гуманные традиции и все такое прочее, однако люди везде боятся за свою жизнь, людям всюду надоела расправа с миром, в котором мы живем, и людям повсеместно осточертело, что правительства много говорят, еще больше обещают, но слишком мало делают для того, чтобы цивилизация перестала быть смертоносной. И вот под знаменем борьбы с этими уродствами людей можно повести в конечном итоге на что угодно.

— Хорошо, — Гектор встал. — Я понял, что работать мы должны каждый в своем направлении: так больше шансов. Я попробую договориться с военными.

— А я поспешу в Центр. Постараюсь не опоздать.

— Бойтесь, что там будет жарко?

— Уверен в этом. Но что делать?

— Вы правы. Но только — Дан, не обижайтесь, вроде бы и не мое дело, однако, хочу сказать вам... Не

«Азлита»-90

тащите женщину на гибель. Да-да, Еву, не делайте большие глаза, тут и слепой бы все увидел. Я понимаю — она сама хочет, там ее пациенты, и так далее. Но все они — все, кто есть и еще окажется там — скорее всего, обречены: вы же слышали речь и видели толпу. Зачем же лишние жертвы?

— Простите, Гектор, но вы не понимаете...

— Да всё я понимаю, я же вам сказал... Но вот именно поэтому — не берите греха на душу. Вы малый прочный и, надеюсь, выкрутитесь, а если и нет — что же, все от Бога; но вот она... Так что я вам всерьез советую: уходите, пока она еще не пришла в себя. Иначе вам ее не удержать, а без вас она, быть может, и не рискнет, а может, муж удержит...

— Вы правы, Гектор, — сказал Милов, помолчав. — Тогда объясните — как мне добраться туда кратчайшим путем. Я плохо знаю город, вернее — почти совсем не знаю.

На листке блокнота Гектор набросал схему.

— Вы легко разберетесь. Двинете пешком?

— Как получится.

— Сейчас пешком проще.

Милов кивнул и сказал:

— Давайте-ка и мне листочек.

Не садясь, он написал: «Ева, дорогая. Вам лучше пока побыть дома. Я навещу Центр и вернусь. Берегите себя». Он покосился на Гектора и дописал: «Целую. Ваш Дан». Проставил время.

Он на цыпочках вошел в комнату, где лежала Ева. Она спала, постанывая во сне, один раз скрипнула зубами. Милов постоял, глядя на нее, борясь с искушением подойти. Туфли — его, миловские — валялись рядом с диваном. Их он подобрал, чтобы потом, в холле, переобуться. Записку сложил пополам, домиком, и поставил на низенький круглый стол близ дивана. Еще раз посмотрел на Еву. Вдруг усмехнулся, снял свой диванный галстук, — теперь он уже не нужен был, — и тоже положил на стол по соседству с запиской: эту пеструю тряпку она заметит во всяком случае — и улыбнется... Повернулся и вышел. В холле переобулся, взял прислоненный к стене автомат, закинул за спину.

— Вы обещали мне пистолет, — напомнил Гектор.

Милов вынул из глубокого кармана армейский, позаимствованный на бензозаправке.

— Постарайтесь при случае раздобыть что-нибудь более убедительное, — посоветовал он.

— Вроде этого, вашего?

Они тихо затворили за собой обе двери. На втором этаже по-прежнему дежурили. Гектор сказал строго:

— Мадам остается дома. Господин Рикс скоро придет. Так что будьте внимательны.

Он начал спускаться. Полицейский сказал своему напарнику: «Проводи господ, чтобы там — сам понимаешь...» Доброволец шелкнул каблуками и последовал за Гектором. Тогда полицейский проговорил едва слышно:

— Колонель...

Милов посмотрел на него взглядом, выражавшим абсолютное непонимание.

— Простите, офицер, вы и тогда уже что-то говорили мне, но, боюсь, что приняли меня за кого-то другого. Извините, я спешу.

— Прекрасная погода на дворе, не правда ли? — спросил капитан полиции вместо ответа.

Милов прищурился:

— Вы полагаете, можно не брать зонтика?

— Разве что от солнца.

Милов напрягся:

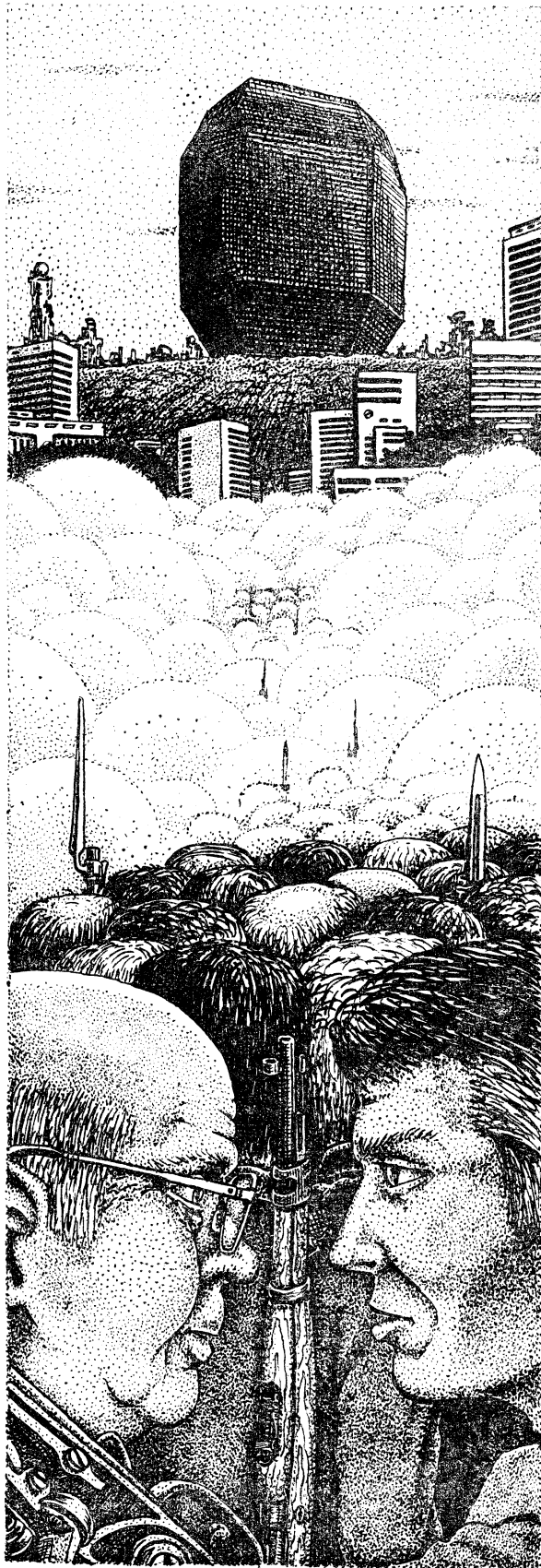
— Слушаю. Докладывайте.

— Капитан Серос, из Службы. Мы вас ждали еще вчера, я опознал вас по галстуку...

— Вчера я попал в охоту.

— Вам просто не повезло: вы видите, что здесь происходит. Полиция, по сути, распущена, армия стоит в стороне... Но даже вчера было бы уже поздно. Все мы

(137)



«Элита»-90

опоздали. Но главное — мы ошибались: по цепочке шел не наш товар. Мы не успели выяснить, что именно перевозили, но только не наркотики. Теперь цепочка порвана. Будут приказания, колонель?

Милов пожал плечами.

— Цепочку я видел — обрывки... Не знаю, капитан. Старайтесь выжить, не влезая в эти дела слишком глубоко — вот все, что могу посоветовать.

— Голова идет кругом... — пожаловался полицейский. — А вы попытаетесь выехать?

— Капитан! — сказал Милов с упреком: начальство, как известно, не спрашивают. Повернулся и заспешил вниз.

Гектор ждал в подъезде. Добровольца не было видно.

— Что у вас там за секреты? — подозрительно спросил журналист.

— Ну, какие у нас могут быть секреты, — сказал Милов. — Просто хотел уточнить дорогу.

— Ладно, не хотите — не говорите, — обиженно проговорил Гектор. — Зато я тут узнал еще одну интересную новость. Этот доброволец — фром, понимаете?

— Да будь он хоть папуасом...

— Вы не понимаете ситуации, Дан. Понимаете, оказывается, фромы под шумок решили отделиться от Намурии, раз все идет вверх дном...

— Я же вам говорил: экологические кризисы порой принимают странные формы, — усмехнулся Милов. — Ну, двинулись?

Они вышли на улицу. Там было дымно. Гектор сказал:

— Будем живы — встретимся.

— Все бывает, — сказал Милов.

И они зашагали — каждый в свою сторону.

Милов шел по тротуару тем обманчивым шагом, какой кажется неторопливым, но на самом деле позволяет развивать немалую скорость. С дубовым листом на рукаве, с автоматом за спиной он ничем не отличался от большинства других людей на улице; те жители, у которых не было ни листьев, ни оружия, ни желания участвовать в происходящем, отсиживались, надо полагать, в домах, надеясь, что происходящее их не коснется. Костры из книг чадили, зато мебель, тоже выброшенная кое-где под горячую руку, горела весело. Интересно, — думал Милов, спокойно вышагивая, — очень даже интересно... По правилам мне действительно надо как можно скорее покинуть страну — мне здесь больше делать нечего, как должностному лицу. Но вот как человеку... Если ты человек, то не можешь так просто сказать себе: это не моя страна, не мой народ, это их внутренние дела, меня вся кутерьма совершенно не касается, пусть жрут друг друга, если это им нравится — главное, чтобы у меня дома все обстояло благополучно... Не можешь хотя бы потому, что нет больше домов-крепостей, и все, что происходит в одном, завтра перекинется и на другой, в наши дни всякий политический процесс подобен если не чуме, то уж во всяком случае СПИДу, и сколько ни кричи «у нас этого нет» — завтра же убедишься, что — есть, и еще сколько!.. Нет, ударить сейчас — это не для меня. Но, значит, надо становиться на чью-то сторону. А на чью? Я и сам считаю, что наука с техникой вместе с политическим руководством виноваты, беспредельно виноваты — не думали, не хотели предвидеть последствий, полагали, что нашли путь к счастью, а на деле предавались эгоистической эйфории безответственного созидательства — а созидательство не имеет права быть безответственным и бесконтрольным, порнография существует не только в искусстве, но и в науке, в прикладной науке, и уже тем более — в инженерном творчестве. Надо было вовремя схватить за руку — никто не схватил; поэтому теперь хватают за горло, чтобы задушить. И ведь

(136)

задушат, рука не дрогнет. Пстой, по сути дела, ты сам себе и от собственного имени излагаешь программу Растабелла? Выходит, так. Значит, ты на их стороне? Да нет же! Ну, а почему же? Он прав, а ты против него — значит, ты неправ?

Да нет, не так просто, — ответил он себе. — Потому что ты отлично понимаешь: Раस्ताбелл прав, но борьба сейчас идет не за Раस्ताбелла или против него; идет самая обычная, примитивная борьба за власть, причем не демократическая, а борьба за диктатуру, за власть фашистского типа, природа же пригодились, как лозунг, только и всего. Думаешь, новое правительство, утвердившись, сразу же станет заботиться о природе? С первого взгляда можно подумать, что так и будет: заводы не дымят, что-то уже взорвано... Но интересно; что именно оставлено, что именно взорвано, а что просто приостановлено на денек-другой? Это же крайне сложно: людей-то кормить все равно надо, и если ломают одну систему кормления, ее надо заменить другой — а кто об этом слышал? Вот интересно, а деловые интересы того же Рикса при этой операции пострадали? Не верю. Просто мы предполагали, что Рикс оперирует по-крупному наркотиками, а оказывается, у него был другой бизнес, и мне очень интересно — какой же, и что ему это дает...

Он бессознательно изменил направление, чтобы обойти лежавшего на мостовой убитого, вымазанного кровью; лицом мертвец походил на еврея. Ну да, — подумал Милов, — без этого никак нельзя, как же без этого...

Он шел мимо магазинов, больших и маленьких; большинство было закрыто, но некоторые все же торговали — булочные, овощные, мясные лавки, те, где товар не мог ждать. Покупали немногие: никто, похоже, не собирался делать запасы. Да, поотвыкали, — подумал Милов. — И еще не поняли, что такое для их страны остановка гидростанции и затопление; вот что значит — нет информации. Надеются на помощь остального мира? Поможет, конечно — если только в остальном мире не начнется тоже самое. А если...

Он понял, наконец, что окликают его — и, кажется, уже не в первый раз; окликали по-намурски, так что он как-то не принял на свой счет, выпал на несколько мгновений из реальности — и только когда его дернули за рукав, сообразил. Остановил его доброволец, у которого кроме дубового листа на груди была еще и узкая зеленая повязка на рукаве; видимо, был он каким-то начальником. Начальник сердито смотрел на него, сурово выговаривая; из его слов Милов понял — хорошо, если четверть, однако уразумел, что ему следовало присоединиться к стоявшей посреди улицы группе человек в двадцать, кое-как вооруженных — они старались образовать какое-то подобие воинского строя. Никакого другого решения мгновенно не пришло в голову, и Милов поспешно проговорил: «Юр, юр» — то есть «да, да» — в значении этого слова у него сомнений не возникло, — и присоединился к группе. Начальника это, кажется, совершенно удовлетворило. Он строгим оком оглядел строй, громко скомандовал — и отряд двинулся, Милов шагал в последней шеренге. Глупо, конечно, — думал он, — ну, а что другое оставалось? Знать бы язык как следует — я бы ему, понятно, втер очки, а так... Пуститься наутек? Сопротивляться? Несерьезно, несерьезно... Ладно, помаршируем. Давно не приходилось. Но эта наука вспоминается быстро. Пока воинство идет, кажется, в том направлении, куда и мне нужно. Легион спасения планеты... А может, они и действительно направляются в Центр? Ломать приборы, убивать чужестранцев? Он покосился на соседей по шеренге. На убийц они походили так же мало, как и на солдат. Не lumpены, не хулиганы, не пьянь — все они были, судя по облику, добропорядочными гражданами, приличными и наверняка по сути своей миролюбивыми — из тех, что живут, стараясь не обижать других, хотя и не позволяя, чтобы их самих обижали; нормальный продукт

«Ангел»-90

демократии... И вот они шли, быть может, убивать, и не потому шли, что их гнали, но были наверняка убеждены в своей правоте, в том, что все, что им предстоит совершить — необходимо, неизбежно и, главное, справедливо... Рядом с Миловым старательно маршировал человек, ну, скажем, второго среднего возраста, почти совсем лысый, в золотых очках на носу; на плече он нес старинное, наверняка коллекционное, музейное ружье, которое если и стреляло, то в последний раз, пожалуй, не менее двухсот лет назад; приклад и ложе были инкрустированы красным деревом и перламутром, зато ремня не было, багнет тоже отсутствовал. Человека этого можно было бы принять и за скромного труженика науки — но тех наверняка не было в строю, ныне они были дичью. Сосед перехватил взгляд Милова и спросил по-намурски нечто, чего Милов не понял и попросил повторить помедленнее. Сосед улыбнулся и легко перешел на английский:

— Мне так и показалось, что вы иностранец.

Ничего иного не оставалось, как кивнуть.

— Англичанин? Американец?

— Ну, собственно...

— Я так и понял, — удовлетворенно кивнул сосед. —

У меня не очень хорошее зрение, но людей я различаю сразу. Что же, весьма приятно, что вы с нами. Это даже, я бы сказал, в какой-то мере символично.

Милов не стал выражать сомнения, лишь промычал нечто — при желании звук можно было принять за подтверждение.

— Много лет все беспорядки шли от вас, — сказал сосед. — Из Америки.

— Разве? — улыбнулся Милов. — Я понимаю еще, если бы вы сказали — из России...

— Ну, уж это само собой разумеется! Но вся эта механизация, ведшая к уничтожению природы, а значит — и нас с вами... Ведь порядок — это гармония, человек всегда должен жить в гармонии с природой, но вы это забыли — хотя был ведь у вас Торо, но вы им пренебрегли, не прислушались... А то, в чем мы с вами сейчас участвуем — отнюдь не беспорядки, напротив, это восстановление искомого порядка, возвращение к нормальной жизни, а следовательно, и к нормальной морали, этике, уважению к человеку...

— Как-то это не вяжется с трупами на улицах — вы не считаете?

— Разумеется, это прискорбно. Крайне прискорбно. Но ведь согласиться: гниющую ветвь отсекают, хотя на ней может сохраниться и несколько еще здоровых листочков.

— Возврат к нормальной жизни, — проговорил Милов. — В таком случае, те, кто ведет нас, вероятно — люди высоких душевных качеств, а не просто защитники природы?

— Ну конечно же! Раस्ताбелл...

— А Мещерский? Рикс? Вы простите мне мое невежество, но я и в самом деле, горячо сочувствуя идее спасения мира, не очень осведомлен о тех, кто возглавляет движение здесь, в вашей прекрасной стране.

Они молча прошагали с минуту, прежде чем сосед ответил:

— Я понимаю, на что вы намекаете. Вы хотите сказать, что во главе движения встали, кроме чистых душ, подобных Раस्ताбеллу, еще и некоторые политики, а также деловые люди. Конечно, это несколько омрачает... Но согласитесь, что всякое дело должны совершать специалисты, иначе оно обречено на провал. Мы, друзья и защитники природы, к сожалению, не всегда обладаем нужными способностями, и еще менее — опытом. Мы умеем насаждать сады и леса, поверьте. Но для этого нам нужно дать такую возможность, сами мы создать ее не умеем, увы. Ведь моментально возникает сложнейший узел проблем, чье разрешение доступно лишь профессионалам. Да, разумеется, от нас не укрылось, что на первый план в движении выходят люди действия. Но мы не препятствовали, потому что они не-

сли наши знамена, а не наоборот. Они делают необходимое дело: расчищают место, на котором потом будет посажен — и вырастет зеленый, шумящий, животворный лес. И вот тогда-то настанет наша пора!

— То есть, люди действия отойдут в сторону и предоставят руководить вам?

— Разумеется, я не имел в виду себя лично, я всего лишь нотариус... Но, конечно, главную роль станут играть те, кто сумеет организовать восстановление природы и жизнь на новых, разумных основах.

— Ученые? Однако, разве не против них мы с вами выступаем сейчас?

— Ну, не поголовно же всех... Ботаников, зоологов и тому подобных мы стараемся сохранить.

— И это удастся?

— Ну, знаете, — сказал сосед, чуть нервничая; прежде чем продолжить, он попытался пристроить ружье на плече поудобнее: рука, видимо, устала и вместе с прикладом сползала вниз. — Конечно, что-то могло получиться не так... Люди разгорячены, разгневаны, чаша терпения переполнилась... Но все же мы стараемся.

— Значит, руководить будут ботаники с зоологами?

— Да! И мы создадим общество гармонии с миром. — Да, — сказал Милов. — Вы жили в демократической стране — пусть и не в самой, но все же... И у вас никогда не было фашизма какой бы то ни было расцветки. А раз вы не знаете, не испытали, что это такое...

— Простите, что вы имеете в виду?

Тут раздался громкий окрик — даже не разобрав слов, Милов по одной лишь интонации понял, что сказано было нечто вроде «Разговорчики в строю!». Сосед, видимо, понял больше и умолк.

Они зашагали молча. Но третий в шеренге, все время топавший с мрачно-сосредоточенным видом, — вооружен был он автоматом, как и Милов, — наверное, тоже хоть что-то понимал по-английски, и теперь вдруг заговорил, громко и сердито, словно ему на запрещение было наплевать.

— Ну, и что, — говорил второй сосед, — если наши командиры потом не захотят отдать власть? Они умеют руководить, они сохраняют и страну, и нас, и вырвут с корнем все сорное семя. Они — сила, а что смогли ваши либералы и демократы? Довели до того, что пришлось взяться за оружие!

Милов с усилием подобрал слова для ответа:

— А вы понимаете, что есть фашизм? Что фашизм неизбежно уничтожает людей: некоторых — физически, но всех — морально?

— Не всякую силу надо называть фашизмом, — убежденно сказал автоматчик, — и не всякое стремление к чистоте нации — расизмом. И если охранять законы можно при помощи жестокости, и будущее нации — при помощи силы, то пусть будет жестокость и пусть будет сила!

Кажется, убежденность автоматчика заразила и нотариуса, все более изнемогавшего под тяжестью своей фузеи, так что он не удержался, несмотря на страх перед запретом:

— Да! — подтвердил он. — Природу уничтожали силой — и лишь при помощи силы ее можно восстановить!

Да, — подумал Милов, когда после второго, еще более свирепого окрика они замолчали окончательно; да, все просто, и не опровергнешь. Все логично: надо обуздать науку и технику, чтобы сохранить планету и самих себя, а чтобы обуздать — необходима сила, и вот она, сила... Судя по истории, демократия быстро восстанавливается после крушения фашизма, но боюсь, что и фашизм может не менее быстро восстановиться после крушения демократии — под лозунгом наведения порядка в чем угодно. А ведь при демократии абсолютного порядка всегда и во всем быть не может: чем выше уровень демократии, тем сложнее, а не проще, становится общество, вопреки чаяниям утопистов; а в сложной системе возможна какой-то частной неупорядоченности всегда больше. Это фашизм стремится упростить

общество: так ему легче править; но сложное демократическое общество всегда содержит какой-то процент любителей железного порядка, прямо-таки машинного,— хотя тут сейчас именно против машин и выступают,— они согласны жить и поступать от и до, но чтобы и все остальные жили и поступали точно так же; и что за беда, что тем самым пресечется всякое развитие?

Додумывая эту мысль, Милов пропустил команду и налетел вдруг на шагнувшего впереди: отряд остановился. Передний, однако, даже не выругался, только передернул плечами. Остановка могла означать, что сейчас начнется что-то конкретное, дело дойдет до оружия — и людям делалось не по себе, потому что почти все они никогда не были солдатами и не привыкли к тому, что убийство может быть священным долгом, а не преступлением против личности. Если бы армия выступила на стороне законного правительства,— размышлял Милов,— если бы, конечно, такое правительство существовало — я бы на все это ополчение не поставил и пяти копеек. Но армия пока бездействует, может быть — просто ждет, пока вся грязная работа не будет сделана энтузиастами, а потом возьмет власть — легко, одной рукой возьмет,— и настанет военная диктатура. Только вот армия, придя к власти, станет ли задумываться о сохранности природы? Будет ли искать равнодействующую между интересами природы — и человека в ней, искать компромисс? Диктатура, все равно, гражданская или военная, компромиссов не любит...

— Что? — переспросил он, не расслышав сказанного его очкастым соратником.

— Я говорю: слава Богу, пока только остановка для соединения с другим отрядом.

Милов посмотрел. Вблизи стояла еще одна группа таких же добровольцев, более многочисленная — ничем другим она не отличалась, и воины в ней были такого же, солидного уже, возраста.

— Скажите,— повернулся он к нотариусу,— неужели защита природы интересует только людей зрелых? Где же молодые люди?

— О, вы ошибаетесь. Просто у них свои отряды. Согласитесь, что это разумно: у них и сил побольше, и темперамента... Не беспокойтесь, они уж не останутся в стороне!

Да, организация и в самом деле была неплохо продуманной...

И командиров, видимо, подобрали заранее. Милов поглядел на того, кто командовал их отрядом — сейчас тот, повернувшись к строю спиной, разговаривал с другим человеком, тоже носившим красную повязку на рукаве. Казалось, по их жестикуляции, оба в чем-то не соглашались, но вот пришли, наконец, к единому мнению, повернулись и медленно пошли вдоль фронта прибывшего отряда; когда строй повернулся направо, Милов оказался в первой шеренге. Командиры приближались, и Милов все более пристально всматривался в того, другого. Что-то было в нем очень знакомое, очень... Что-то... Граве! — подумал Милов изумленно. — Черт бы взял, это же Граве!..

Да, именно Граве то был, живой и здоровый, с командирской повязкой на рукаве и пистолетом за поясом — тем самым пистолетом, что Милов оставил в машине. Ну, молодец,— подумал Милов, весело глядя на товарища по скитаниям,— всех нас за пояс заткнул. Зря я боялся, что он спял необратимо — видимо, нервная система крепкая, психика устойчивая, погоревал, пережил, понял, что не рыдать надо, а дело делать — и уехал, не стал дожидаться нас. Нехорошо, конечно, с его стороны, но при таком раскладе трудно его упрекнуть. Зачем только он пошел в добровольцы? А куда еще? — сам себе ответил Милов. — Вот и сам я, получается, пошел же. Если они не один тут такой — это хорошо, люди здоровомыслящие крайностей не допустят, сыграют, может быть, роль такого тормоза. Да увидь же ты меня,

(140) увидь, нам с тобой обоим в Центр надо, спасать людей, предупредить об опасности, выйти на связь со всем миром...

Граве увидел его, когда был уже почти рядом. Остановился. Долго смотрел на Милова, и на губах его возникло даже нечто вроде улыбки — но не более того, а Милов-то ожидал, что тот ему чуть ли не на шею бросится! Хотя — какие могут быть нежности в воинском строю... Граве повернул голову ко второму командиру, негромко сказал что-то; пожал плечами и кивнул. Тогда Граве командовал громко, по-намурски:

— Милов, выйдите из строя, подойдите ко мне!

Милов вышел с удовольствием — по всем правилам, «дав ножку», приблизился, щелкнул каблучками.

— Ну что же — поехали,— сказал Граве.

— Куда? — осмелился спросить Милов.

— Туда, куда вы и хотели попасть.

Вот и прекрасно,— подумал Милов.— Все же молодец он. Кто бы подумал: казался, в общем, божьей коровкой, пистолета взять не хотел — и на тебе, командует отрядом и собирается, похоже, делать именно то, что нужно.

— Слушаюсь! — ответил он громко.

Граве зашагал первым, не оглядываясь. Свернули за угол. Там стояла машина — та самая, наследие покойного Карлуски. Завидев ее, Милов обрадовался, словно встретил старого, доброго знакомого.

— И как это у вас ее не отобрали? — весело спросил Милов.

Граве ничего не ответил, только покосился на Милова, глаза его странно блеснули. Под газком? — подумал Милов.— Для смелости, что ли? Ну, если и принял, то не много.

— Еву доставил домой,— сказал Милов; вовсе не обязательно было ему отчитываться, командирская повязка Граве была, по разумению Милова, такой же липой, как и его собственный листок на груди. Однако, должна же была интересовать Граве судьба их спутницы в ночных приключениях. Граве на сей раз откликнулся — что-то пробормотал. Милов переспросил:

— Простите?

— Я говорю: все равно,— ответил Граве погромче. Он сел за руль, кивнул Милову на первое сиденье. А больше сесть и некуда было: сзади на сиденьи и на полу машины что-то лежало, укрытое сверху брезентом. Повернувшись, Милов хотел, любопытствуя, приподнять брезент. Граве резко осадил его:

— Это не трогать!

Милов пожал плечами. Играем в секреты? Ладно, все равно, приедем — увижу; ясно же, что инженер везет что-то для Центра.

Граве вел машину не быстро, повороты брал плавно, старательно объехал выбоину, что попала на пути — то была, впрочем, одна-единственная на всей дороге. Въехали в промышленный район; по сторонам, за бесконечными бетонными заборами тянулись фабричные корпуса, многоэтажные заводские строения, старые и новые, но все — крепкие, добротные; складские помещения — и капитальные, и легкие металлические полуцилиндры, на которых отблескивало давно уже прошедшее зенит солнце; порой улицу пересекали железно-дорожные рельсы подъездных путей — на переездах Граве был особенно осторожен, проезжал их со скоростью пешехода, хотя рельсы шли заподлицо с мостовой и толчков ждать не приходилось. Ни деревца не было вокруг, ни кустика, ни травинки даже, пусть и убогих, умирающих, как в жилой части города: здесь цивилизация победила безоговорочно, чтобы теперь умереть. Хотя пока это была еще, пожалуй, не смерть, скорее летаргия, и пробудить уснувших оказалось бы делом нетрудным — было бы желание. Интересно все же,— подумал Милов,— люди-то что будут делать? Те, что еще вчера здесь работали? Разрушить до основания — работа простая, но ведь потом надо и строить что-то? Можно, конечно, и города разрушить, и всех на

землю посадить — но ведь и тут профессионализм нужен, да и земли свободной нет, значит, надо ее отнимать у кого-то — может быть, конечно, есть у них уже какой-нибудь теоретически изящный проект, который на практике, вернее всего, ничего не стоит... Нельзя ведь «назад к природе», можно только — вперед к ней...

— Интересно, как теперь будет использоваться все эти корпуса — спросил он вслух.

— Никак, — ответил Граве, не отводя глаз от дороги. — Их просто взорвут. Разве не слышите? Я потому поехал этой дорогой, что здесь это начнется позже.

— Почему вы думаете, что взорвут?

— Не думаю — знаю. Раस्ताбелл сказал.

— Я слышал его речь, но не помню...

— Это он мне сказал. Мне.

Заговаривается? — подумал Милов. — Может, он все-таки... — Громко же сказал:

— Ну, на все взрывчатки не хватит...

— Вы думаете? — равнодушно спросил Граве; так говорят просто, чтобы не прерывать разговора, не более того.

— Да тут и думать нечего.

— Ну, почему же, — сказал Граве. — Думать всегда есть о чем — если человек умеет думать...

Город заканчивался, мимо проскальзывали унылые пустыри, где еще ничего не успели построить. Дальше пошли хилые, хворые рошчицы, два или три раза машина по аккуратным, чистым мосткам проскочила над ручьями — вода их отблескивала радужной пленкой, и в эти ручейки кто-то что-то сбрасывал — дерьмо хотя бы, если не было ничего другого. Окрестность выглядела, как давно брошенное жилье, в котором воцаряется запустение — однако же люди здесь жили, на всей планете люди как-то ухитрялись жить...

— Когда-то, — неожиданно заговорил Граве, — тут шумели леса. В них жили олени. Вы хорошо стреляете, Милф?

— Хотите предложить охоту на оленей?

— Кто-нибудь предложит. Кому-нибудь. Не сейчас, конечно. Но тут снова вырастут леса. И в них будет жизнь.

— И тогда вы снова повезете меня по этой дороге и скажете...

— Нет, — сказал Граве все так же равнодушно. — Я не повезу. И не скажу. Да и никто другой вас не повезет.

— Понимаю: машин не будет. Но воскреснут лошади...

— Лошади воскреснут. А вот мы с вами — никогда.

— Ну, не так уж мы стары, чтобы не дожить...

— Мы не стары, — сказал Граве. На шоссе он немного прибавил скорости, но по-прежнему был осторожен и внимателен. — Мы не стары. Мы мертвы, Милф. Неужели вы не понимаете?

— Нет, — честно сказал Милов. — Не понимаю.

После этого еще несколько километров они проехали в молчании.

— Мы мертвы, — сказал Граве, словно решив посвятить спутника в некую, ему одному ведомую тайну, — потому что мертвы те, кого мы любим.

— Я очень, очень сочувствую вам, Граве, — сказал Милов искренне.

— Как и я вам.

— Мне?

— Потому что Ева тоже мертва.

— Что за вздор! Я сам привел ее домой, я же говорил вам! И там была охрана. Кто решился бы убить жену Риста? Бред!

— Я.

— Вы?!

— Я сам пришел к ней. Потом, уже после вас. И убил ее; теперь вам ясно?

— Вы с ума сошли! — пробормотал Милов; ничто другое не подвернулось на язык.

— Может быть, да. А может, нет. Какая разница?

— Врете, Граве!

— Зачем?

Сейчас я убью его, — со странным спокойствием подумал Милов. — Просто задую. Своими руками. Пусть он врет — за одно уже то, что такая мысль возникла в его безумной голове. А если не врет? Господи, что же это делается, что делается в нашем сумасшедшем мире...

— Граве, если это правда — почему?

— А почему убили мою жену?

— Если хотите знать — потому, что она была ввязана в мощную контрабандную сеть...

— Да. Теперь я это знаю. Как и то, что вы никакой не турист, а агент, шедший по их следам...

— Кто сказал вам?

— Лестер Рикс. Я пришел к нему и потребовал ответа: за что? Я хотел убить и его. Но он мне все объяснил. Ничего не случилось бы, если бы вы не шли по следам.

— Не во мне дело, Граве.

— Не объясняйте: я теперь знаю все. Вы — охотник за наркотиками. Но ведь не их ввозили сюда, Милф! Везли совсем другое.

— А что же, в таком случае? Косметику? Электроннику? Бросьте, Граве, не рассказывайте сказок.

Граве усмехнулся.

— Нет, Милф, не косметику, тут вы правы. Пластик. Взрывчатку! — Теперь машина шла километров на сто с чебольшим, дорога была гладкой, прямой и пустынной. — И только ее. Но много. Очень много! Однако, это же совершенно не ваше дело, Милф! Так что вы зря вмешались в эту коммерцию. И те, кто вас послал — тоже. Не будь вас — Лили жила бы. И Ева Рикс не встретила бы вас — и тоже осталась бы жива. Пластик, Милф! Другая технология доставки. И ни одна из ваших тренированных собак его не чуяла. Потому что это — не пахнет! И его ввозили сюда вагонами! А вы искали двойные донца в чемоданах и прочую ерунду...

— Зачем и кому понадобилось столько взрывчатки? Рыбу глушить — так она и без того давно вымерла. Я знаю, сколько можно заработать на взрывчатке; поверьте, Граве, не так уж и много.

— Все-то вы знаете, умница Милф! Но мыслите стандартно. А вы попробуйте подумать как следует — и поймете...

— На такой скорости мне трудно думать, Граве; не гоните так, никто нас не преследует.

— Может быть, нет. Но какая-то машина видна далеко позади. И я не хочу, чтобы нас догнали.

— Так что же я должен понять?

— Да хотя бы то, что вряд ли было простым совпадением: плотина рухнула и потоп случился именно тогда, когда все было готово, вплоть до дубовых листьев на груди, и именно тогда, когда еще один ребенок, родившись, отказался дышать...

— Что вы плетете, Граве...

На такой скорости мне с ним ничего не сделать, — думал Милов, быстро-быстро проигрывая в уме варианты, — надо как-то отвлечь его, чтобы он, втянувшись в спор по-настоящему, машинально снизил скорость; и тогда — как собаку...

— Вы говорите глупости, Граве!

— Вы, Милф, просто ничего не знаете. Сыщик! Плотине помогли развалиться! А вы представляете, сколько для этого потребовалось взрывчатки? Это вам не самолет взорвать... И ведь хватило, не правда ли? И осталось еще много! Много! Вы говорите — заработок, прибыль... А сколько стоит, по-вашему, власть? Сколько стоит спасение планеты? Да-да, не одной только маленькой Намурии, но всей планеты! Потому что — и об этом вы и сами начали догадываться еще раньше — мы всего лишь запал, сигнальная ракета, сегодня одержим победу мы — и завтра это начнется везде, потому что повсюду есть единомышленники и Раस्ताбел-

ла — чтобы провозглашать лозунги, — и Мещерски, чтобы реализовать замыслы.

— Граве, Граве, что вы говорите! Вы так тяжело переносите гибель вашей жены — но ведь одно только наводнение наверняка унесло сотни тысяч жизней...

— Им некогда было спастись, да и некуда...

— А все то, что вы начинаете, унесет еще больше. По всей планете — страшно подумать, сколько...

— Чего же тут страшного, Милф? Дурная традиция, только и всего. Современная технология губит мир, это аксиома. Но только при ее помощи можно прокормить столько людей, сколько населяет сейчас Землю! Слишком много людей! Возврат к охранительному ведению хозяйства неизбежно потребует уменьшения их числа. Перенаселение, Милф, — вот наша беда. И не надо пугаться рациональных мер, которые приведут к сокращению числа жителей! Не надо! Потому что гибель части лучше, чем всеобщая гибель. Простая и неопровержимая логика, не правда ли? Вот зачем власть, вот для чего нужна сила! И вот для чего — взрывчатка. Вся она пойдет в дело, не беспокойтесь. Чтобы уничтожить! Вырвать с корнем! Выжечь! — Теперь Граве почти кричал, капельки слюны вылетали изо рта и оседали на приборном щитке. — И начнем с этого самого Центра, потому что он уже не просто учреждение, он стал символом! Уничтожим символ!

— Вы же сами там работали...

— Да. Но они — сначала Раstabелл, а потом Мещерски, я и с ним ведь разговаривал, — помогли мне понять, что постигшее меня — кара за то, что я был с вами. Чинил ваши проклятые «Ай-Би-Эм» и прочие дьявольские орудия. Поделом мне! Но я испялю. У меня нет другого пути!..

Граве на мгновение повернул к Милову лицо с глазами — дикими, словно искра разума уже совсем покинула их.

— Граве, — сказал Милов, — прошу вас, остановимся на минутку.

Вместо ответа Граве сильнее нажал на педаль газа.

— Остановитесь же: мне нужно...

— Потерпите, — равнодушно ответил Граве, — недолго осталось. Или обходитесь, как знаете... — и, краем глаза уловив почти незаметное движение Милова: — Стоп! Не пытайтесь что-то сделать! Машина набита взрывчаткой, все установлено, как надо, и мы взлетим на воздух даже просто от резкого торможения! Так что сидите тихо, как маленькая мышка — если хотите прожить еще некоторое время!

Милов откинулся на спинку, положил ладони на колени, закрыл глаза. Неожиданно пришло расслабление, и странное спокойствие охватило его, покой безжизненности. Ева, — думал он, — родная, нелеп этот мир, и мы с тобой были в нем так же нелепы во всем — начиная с нашего знакомства и кончая тем, чем все это завершается... Нелепо было, наверное, ввязываться в чужую драку, надо было сразу, как только я понял, в чем суть — хватать тебя и мчаться прочь, пусть бы они сводили свои счеты, а мы должны были предупредить весь мир. Но у тебя были твои дети, которые не желают дышать, а у меня — другие дети, свои, потому что ведь каждое дело, которое мы начинаем — наше дитя, и мы стремимся заботиться о нем и растить его... Я виноват в том, что тебя нет; я, потому что оставил тебя там, хотя должен был понять, что спокойнее тебе быть со мною даже под огнем, чем пусть и у себя дома, но без меня... Поверил логике, а тут ведь логика ни при чем, когда чувствуешь к человеку то, что почувствовал я — совсем другим надо руководствоваться, не логике верить, а подсознанию. Ты прости меня, маленькая... Почему я в тот миг не подумал, что наши представления помогают событиям реализоваться — то, что раньше называлось «накликать беду»? Помешало то, что я старый коп, старая ищейка международного масштаба, у меня был след, и я бежал по нему, думая, что смогу вернуться к тебе — забыл, что если мы и возвращаем-

(142)

ся, то не туда, откуда вышли, а в иное время с иным расположением планет. Тебя нет, и мне все равно — пусть убийца жмет на газ, спеша доставить свою взрывчатку в Центр, где она... Где она — что?

— Послушайте, Граве, а на кой черт вы тащите в Центр такое количество пластика?

Граве засмеялся — как-то странно, судорожными выдохами. Господи, — догадался Милов, — он же просто не умеет смеяться, наверное, никогда в жизни по-настоящему не смеялся...

— А вот увидите, Милф! Пройдет совсем немного времени — и вы увидите, или, во всяком случае, почувствуете... Да ведь вы и сами прекрасно все поняли, зачем же задавать лишние вопросы?

Милов покосился на спидометр: было где-то под сто сорок.

— Я просто хотел сказать вам, Граве, что если вы действительно хотите доставить ее в Центр, эту вашу контрабандную взрывчатку, то не гоните так, как сейчас: мало ли — не выдержит камера...

— Скорость придает решимости, Милф, вселяет уверенность — разве не знаете? Я бы гнал еще быстрее, но эта колымага уже на пределе, быстрее она просто не может, а другой машины мне достать не удалось — не до того было. М-да. К сожалению, у того, здади, мотор, видимо, посильнее — да и нет у него, наверняка, причин ехать осторожно. Гонит, как ненормальный... Милф, мне не нравится этот преследователь. Оглянитесь. Я разрешаю. Только без глупостей. Понимаю, что у вас может возникнуть искушение, однако, что бы вы ни сделали, Центр вам все равно не спасти, и людей в нем — тоже, но я везу им судьбу легкую и быструю, а другая может оказаться куда мучительнее... Теперь я вас предупредил. Можете посмотреть.

Милов послушно посмотрел в заднее стекло — для этого пришлось извернуться в кресле. Широкая, приплюснутая к дороге машина и в самом деле была теперь куда ближе, чем когда Граве заметил ее впервые.

— Хорошо идет, — сказал Милов. — Классная машина.

— Слишком хорошо. Возьмите ваш автомат, Милф.

— С какой радости?

— Сейчас вы будете стрелять. Старайтесь попасть в водителя. Или по колесам. Надо остановить его, слышите? Он определенно гонится за нами, хочет помешать мне.

— По-моему, он больше не приближается: держит дистанцию. Ну и пусть себе держит, а?

— Милф, где же ваш опыт? Они держатся позади, потому что собираются стрелять по нам — и не хотят пострадать в случае, если мы взорвемся. А для этого может хватить и одного попадания: у меня ведь и весь багажник набит... Не медлите, стреляйте через стекло — нам оно все равно не понадобится, до своего конца мы дойдем и так...

Слишком многословен был и слишком лихорадочно сыпал словами — нет, конечно, с психикой у Граве было совсем плохо, но он сидел за рулем, и ничего с этим не поделаешь.

— Хотите сигарету, Граве?

— Ну ладно, если вам так не терпится... Я везу пластик, чтобы взорвать ваш чертов Центр, Милф. Все, кто виноват, ответят мне. И уж вы в первую очередь — с вами счет особый.

— Вы же не умеет взрывать, Граве.

— Я же говорил вам: все сделано — мне нужно только доехать, въехать, вбиться в проклятый Черный Кристалл. О, какой это будет торжественный въезд!

— Судя по тому, что я слышал, Кристалл — постройкой прочная. Тут вашего заряда не хватит. Зря выхитите.

— Не волнуйтесь. Там есть свой запас, его не успели до конца вывезти — а может быть, намеренно оставили...

Ну да, — подумал Милов. — Не зря меня ориентировали в первую очередь на Центр. Покойный доктор

Карлуски. Тогда это, пожалуй, серьезно... Что там визжит этот псих?

— Заткнитесь, Граве,— сказал он.— Они не приближаются, на таком расстоянии попасть трудно, а у меня всего один рожок, и если я потрачу патроны зря...

— Слушайте, Милф: черт с вами! Обойдусь без вашей жалкой жизнишки. Обещают: сшибете их с дороги — и я вас выпущу, только без оружия, и живите, как вам будет угодно — если вы еще способны жить. Иначе погибнете вместе со мной, все равно — на дороге от их пули или в Центре, под обломками Кристалла. Выбор прост, Милф. Хотите жить? Тогда стреляйте и помните: только попадание идет в зачет.

Жить-то я, конечно, не против,— подумал Милов.— Не ради себя, но получается так, что кроме меня никому предупредить мир. Гектор? Не знаю, очень мало уверенности, что армия захочет помочь, раз уж она объявила невмешательство, и значит, только из Центра возможно выйти на связь. Так что надо сберець Кристалл, и себя тоже. Если там, в машине, предположим, люди Мещерски, и вцепились они в нас, чтобы убедиться в выполнении задания, то пустить их под откос — вполне приличное дело.

— Ладно, уговорили,— проворчал он.— Сейчас.

Он неслешно, осторожно переместился на сиденьи — встал на него коленями, оперся локтями о спинку, из готовил автомат.

— Не медлите, Милф, стреляйте же!

Милов всматривался в преследовавшую машину; окна ее были из поляризованного стекла, и увидеть водителя не удавалось. Но определить, где должна находиться его голова, было нетрудно.

— Черт, они, видно, заметили меня — отстают... Граве, вам придется немного сбавить скорость, чтобы восстановить дистанцию.

— Очень не хотелось бы.

— Иначе мне не попасть. У него черные стекла, ничего не видно.

— Бейте по колесам.

— Вы даже в зеркале видите, что это не просто. Если бы сбоку, но он не хочет подставиться. Подтормозите.

— Н-ну... хорошо.

И Граве начал медленно сбрасывать газ.

Гектор остановился. Часовой смотрел на него невозмутимо, не снимая рук с висевшего поперек груди автомата. Не угрожал, но и пропускать, похоже, не собирался. Спокойно тут,— подумал Гектор,— словно бы ничего и не происходило вокруг. Сила есть сила — даже если это армия настолько условная, как здесь, в Намурии. Но это хорошо, что не чувствуется нервозности: больше шансов получить содействие..

— Приятель,— сказал он.— Я к полковнику Фрезу, по его приглашению.

Он не врал: приглашение такое действительно было сделано — месяца два назад, когда военные устраивали пресс-конференцию по поводу состоявшихся учений; после вопросов и ответов состоялся дружеский ужин с напитками — за столом Гектор и познакомился с полковником, и на какой-то рюмке даже подружился, так что на прощание они обменялись адресами и приглашениями, испытывая друг к другу искреннее уважение, потому что принадлежали к немногим, еще державшимся на ногах. Полковник Фрез был парень что надо, и именно он командовал расквартированной в городе частью. На его содействие Гектор и рассчитывал, и жалел только о том, что не было с собой бутылки, чтобы на хорошей ноте возобновить прервавшийся тогда разговор.

Гектор старался держаться уверенно, и свою корреспондентскую карточку протянул жестом небрежным и достойным одновременно, и сделал еще шаг одно-

(143) временно. Часовой шевельнул автоматом; движение было достаточно выразительным.

— Вызови разводящего,— сказал он, не поворачивая головы.

За узкой дверцей, которую часовой закрывал собою, послышались шаги, потом приглушенный голос; так говорят в телефонную трубку при хорошей слышимости. Видимо, армия не испытывала трудностей со связью.

Да и во всем остальном порядок, похоже, не понес ущерба: разводящий возник почти сразу, взял карточку Гектора, внимательно оглядел, потом столь же пристально посмотрел на корреспондента.

— Обождите.

Разводящий скрылся. Снова послышались приглушенные голоса. Вот номер будет,— подумал Гектор,— если дружок прикажет сообщить мне, что не имеет быть в расположении части: с незнакомым договориться по такому щекотливому делу шансов практически нет. Хотя попробую, конечно... Разводящий возвратился.

— Идите за мной.

Часовой стоял все так же невозмутимо; поравнявшись с ним, Гектор ощутил трудно определимый армейский запах — кожаных ремней и солдатских башмаков, оружейной смазки и мужского пота: солнце светило вовсю, и часовой стоял на самом припеке. За дверью оказалось неширокое помещение с телефонным аппаратом. Разводящий кивнул головой:

— Говорите.

Гектор взял трубку.

— Алло! Полковник, вы?

— Алло, приятель! — услышал он.— Рад вас слышать, хотя, откровенно говоря, время для встречи не самое лучшее. Ничего, ничего, понимаю: журналист всегда на службе, как и наш брат, военный. Только хочу сразу предупредить о двух вещах: информации для вас у меня практически никакой, сами понимаете, да и посидеть как следует не сможем.

— Рад буду увидеть вас хоть на пять минут.

— Ну, вы меня тронули до глубины души. Не могу противиться столь дружескому чувству. Отдайте трубку капралу.

В голосе полковника явственно слышалась ирония, но сейчас это Гектора нимало не смутило: ради связи он на что угодно мог пойти. Капрал, сказав в телефон «Слушаюсь!», положил трубку, задвинув предварительно антенну, и повернулся к журналисту.

— Идите за мной,— повторил разводящий уже однажды сказанное. Видимо, с людьми гражданскими здесь предпочитали общаться строго по уставу. Гектор еще раз убедился в этом, когда, послушно следуя за капралом, как бы невзначай спросил его: «Ну, а вам как все это нравится?» — и получил в ответ лаконичное «Не положено». Неясным осталось, что именно было не положено: вступать в разговоры с посторонними, иметь свое мнение о происходящем, или и то, и другое вместе. Пересекая обширный плац, Гектор, однако, не заметил ничего, что свидетельствовало бы хоть о малейшем волнении. Покой царил и в том здании — одном из окружавших плац военного городка, — в которое он вошел вслед за разводящим; внизу, сразу за дверью, их встретил средних лет офицер, попросил еще раз показать карточку и вежливо кивнул журналисту:

— Командир ждет вас..

Гектор хотел было и ему задать тот же вопрос, но подумал, что успеха и тут не добьется, и единственная надежда — что дружеские чувства полковника существуют не только на словах. На втором этаже офицер отворил обитую пластиком дверь; за нею была комната с письменным столом и несколькими шкафами, двумя железными в том числе; за столом никого не было, зато в левой стене существовала еще одна дверь, тоже с обивкой. Офицер отворил ее, ступил в сторону и кивнул Гектору:

— Прошу.

Полковник встал навстречу, вышел из-за стола, сде-



лал несколько шагов. Был он высок, молод для своего звания — в маленьких армиях командиры редко бывают молодыми; румянец свидетельствовал о завидном здоровье. Он приветливо улыбался и крепко, словно стараясь выжать из ладони Гектора всю жидкость, пожал руку журналиста.

— Вот приятная неожиданность, — проговорил он хорошо поставленным командным голосом. — А я уже думал, не поставить ли свечку за упокой: ваш брат обычно трется в столице и если уж гибнет, то близ начальства, верно? Рад, рад видеть тебя в наших краях. Ну, садись; к сожалению, служба — дело строгое, но честь, как говорится, превыше, верно?

Говоря это, полковник успел усадить Гектора в кресло, извлечь из шкафа бутылку рома и две рюмки. Закуской должны были служить картофельные чипсы в изящной вазочке.

— Вот так, — удовлетворенно кивнул он, все еще давая журналисту произнести ни слова. — погоди, погоди. Я ведь понимаю, не одни лишь дружеские чувства привели тебя ко мне именно сейчас; что-то занедабилось, верно? Но у меня свои условия. Я в твоём распоряжении примерно на час, больше не выйдет. Так вот, из этого часа десять минут я беру себе, что означает: ни слова о делах. Ну, а уж потом твоя очередь. — Он налил. — Ну — виват!

— Хайль! — произнес Гектор в ответ, и это полковника нимало не удивило; он лишь подмигнул, выливая шершавое пойло в рот. Пришлось не отставать. Оказалось, однако, что именно этой маленькой дозы и не хватало Гектору, чтобы прийти в себя.

— Ну, давай, кайся, — сказал он. — Как семья, дети? Ты ведь теперь, наверное, стал кем-то вроде военного министра?

— Не нарушай уговора. Лучше я тебе сперва расскажу, как провел отпуск. Махнул я, понимаешь, в Испанию — ну ты, представляешь, верно? Три дня скучал в шикарном отеле, стал уже подумывать — не сорваться ли куда-нибудь, где повеселее. Но тут...

Гектор слушал, не забывая кивать, но то, что рассказывал полковник о своих шалостях, до него не доходило, не ко времени было. Он глядел за окно; видна была часть плаца, и на нем сейчас занимался, судя по численности, взвод — комендантский, наверное; занятия, однако, были отнюдь не строевыми — отработывался

штурм здания, из которого вели огонь. Солдаты действовали умело, и это было куда интереснее, чем рассказ полковника, хотя в иное время он, пожалуй, доставил бы журналисту немало удовольствия: он и сам любил временами расслабиться.

— Лихо, верно? — завершил полковник свою исповедь. — Ну, вот, свое время я использовал. Слушаю тебя. Что, кроме нерушимой дружбы, принесло тебя ко мне?

— Связь.

— А подробнее? Что, почему и зачем?

Монолог Гектора занял минут десять.

— Понял тебя, — кивнул полковник. — Объясню теперь нашу позицию. Армия нейтральна. Старого правительствa нет, новое еще не создaлось. Программа тех, кто претендует на власть, не ясна до конца, но в общих чертах нас устраивает, поскольку на наши права не посягает.

— Но разве не долг армии — восстановить порядок, когда он так явно нарушается?

— А почему, собственно, она должна защищать и восстанавливать то, что ты называешь порядком? Подумай: люди сейчас выступили не против какого-то правопорядка — коммунизма, капитализма или, скажем, христианства или ислама. Они выступают против цивилизации, вмещающей и одно, и другое, и третье, и четвертое, и еще великое множество всяких множеств, верно? Люди выступили против того, чтобы пилить сук, на котором мы все восседаем. Так почему армия должна защищать пильщиков?

— Хотя бы потому, что армию такой, какова она есть, сделали именно, как ты говоришь, пильщики — люди науки, люди техники. Что такое она без них?

— Без них? Да все та же армия. Или ты думаешь, что легионеры Цезаря считали себя ущербными оттого, что у них не было танков и сверхзвуковой авиации? Они обо всем этом и представления не имели, и это не мешало им вести и выигрывать войны — с куда меньшими энергетическими затратами... Наоборот, все эти люди нам, армии, надоели хуже горькой редьки, потому что мы вынуждены слишком во многом считаться с ними, а науку никогда не удавалось — и не удалось бы сделать одним из родов войск с беспрекословным подчинением главнокомандующему... Нет, мы — те, кто командует армией, — отлично понимаем, что без науки и тех-

1144

«Элита»-90

ники нам легче. Зачем же способствовать восстановлению порядка, который нам не нужен?

— Интересно. Ну, а предполагаемый противник, который не лишится ни танков, ни авиации — как вы, в случае чего, будете с ним справляться?

— Мы полагаем, что происходящее у нас — только начало глобального процесса. А пока он не стал таким, вовсе не собираемся выбрасывать свою технику. Но скорее всего, процесс будет развиваться именно так не только у нас: другого пути, вероятно, просто нет.

— А согласится ли с вами правительство — то, которое возникнет? Ведь сейчас армия намного сильнее любой другой внутренней силы именно потому, что вооружена современным оружием. Если же вы поставите себя на один уровень с просто вооруженным населением, власть уже не сможет чувствовать себя столь уверенно.

— Есть, конечно, политики, которые так думают. Но есть и другие — понимающие, что власть может существовать в ядерный век, но что и в неядерные века — а их было множество — она существовала даже с большим, возможно, комфортом. Правители не хуже своих подданных понимают, что можно обойтись без танков и роллс-ройсов, даже без горячей воды можно, но вот без воздуха — нельзя, и без неотравленной пищи — тоже...

— Вот тут ты ошибаешься, логика тебя подводит. Если бы дело обстояло так, правительства давно приняли бы меры. Но они как раз делали очень мало...

— Правительства плывут по течению цивилизации; не они правят ею, а она — ими. И сломать ее им не под силу, ее надо медленно-медленно гнуть. Но это надо было начинать немного раньше, а сейчас уже поздно. Сейчас ее начали ломать снизу. И наше, армии, дело — лишь позаботиться о том, чтобы это не стоило большой крови и невосполнимых потерь. Это — единственное, что мы сейчас себе позволяем: следить, чтобы игра велась по определенным правилам. Те, кто руководят процессом, понимают это, а те, кто пытается нарушить — ...Вот только сегодня утром мы отобрали и привезли целую машину стрелкового оружия: пришлось разоружить два чересчур лихих отряда. Иными словами, мы не против того, чтобы перевести поезд на другой путь, но не желаем, чтобы его пустили под откос. Мы как бы стоим над схваткой — пока нет никакого законного правительства, да и когда оно возникнет, мы признаем его лишь на определенных условиях и гарантиях — и сегодняшние руководители это прекрасно понимают. Итак, мы ни на одной стороне; если же я, предположим, дам тебе связь, получится, что мы приняли какую-то из сторон...

— Ничего подобного: я — это мировая пресса, я тоже ни на чьей стороне.

— Возможно — ты лично. Но те, для кого предназначена твоя информация — как они воспримут ее?

— Брось, брось, полковник, не в этом дело, не считай меня таким дурачком. Скажи откровенно, ты не хочешь, чтобы внешний мир знал подробности о происходящем — чтобы они не успели там, у себя, принять меры. Значит — в глубине души ты все же на стороне этих?

— Я на стороне жизни. А ты?

— Я тоже. В частности — я за то, чтобы сохранить жизнь тем ученым и техникам, которые находятся сейчас в Черном Кристалле, в Центре. Если ты не хочешь дать мне связь...

— Совершенно исключено.

— ...то хотя бы пошли войска, чтобы защитить Центр, его людей от самосуда.

— То есть откровенно выступить на их стороне? Нет, милый друг, ни в коем случае.

— Послушай. Но ведь новое правительство, судя по тому, что знаю я — да и ты, наверно, тоже — ни в коем случае не будет демократическим...

— А меня это не очень шокирует. Армии легче жить

(145) с правительством, не совершенно демократическим — потому, может быть, что сама она совершенно демократической организацией никогда не будет — не может быть по сути своей.

— Значит — пусть гибнут люди? Но ведь это даже не ваши подданные, полковник! И если те державы, чьими гражданами эти ученые являются, захотят обеспечить их безопасность — так это называется в наши времена... долго ли сможет твоя армия противостоять рейнджерам? И что от нее потом останется?

— Ну,— сказал полковник, помолчав,— международных осложнений мы вовсе не желаем...

— Так защитите людей!

— Понимаешь ли, мы не можем сделать этого открыто. Не говорю уже о том, что я не командующий армией, и если отдам такой приказ моим солдатам — завтра же меня здесь может не оказаться. Правительства нет, но генералы живы и находятся на своих местах. А что военного министра нет — так он все равно был штатским, и интересы армии не впитал с молоком матери. Но, в конце концов, почему этих людей надо защищать? Я знаю Центр; Черный Кристалл — с точки зрения его обороны — вовсе неплохая крепость, там полно людей, способных носить оружие...

— Беда в том, что им нечего носить! Хоть поделись оружием, если ты не согласен ни на что другое!

— Ты с ума сошел: оружие — это армейское имущество, и я не имею никакого права... Это было бы просто преступлением!

Минуту-другую они помолчали.

— М-да,— пробормотал затем полковник.— Рейнджеры... Нет-нет, я не вправе дать ни одного автомата, ни одного патрона. Трудно даже сказать, какой шум поднялся бы, а ведь у нас сейчас обстановка тоже напряженная, ты не представляешь, как тяжело поддерживать несение службы на должном уровне... Да вот, зачем далеко искать: пригнали, ты уже слышал, машину с оружием, отнятым у хулиганов — там и автоматы, и патроны, и карабины,— и даже не потрудились занести в гараж, машина так и стоит неразгруженной, даже не в распоряжении, а за забором... И вот уверен: если бы кто-нибудь сел в нее и поехал — разгильдяи на проходной даже не почесались бы... Нет, события, безусловно, влияют и на нас, на дисциплину, на воинский порядок... Понял?

— Так точно,— ответил Гектор бодро.

— Разгильдяи, говорю тебе — разгильдяи! Уверен даже, что ключ из зажигания никто не позаботился вынуть... Вот я обожду еще с полчаса — и специально пойду, проверю, стоит ли она еще там — вдоль забора направо...

— Боюсь,— сказал Гектор,— что мне придется покинуть тебя еще до этого.

— Кажется, ты прав: час уже истек, у меня тут неотложные дела... Жаль, что не получилось посидеть понастоящему, но погоди вот, уладится все, успокоится как-то — тогда уж...

— Непременно,— подтвердил журналист.— Только тогда меню выберу я, а то от этого твоего в глотке першит...

Полковник развел руками и проводил Гектора до двери. Дальше все шло в обратном порядке: адъютант проводил его до подъезда, там уже ожидал разводящий; в его сопровождении Гектор беспрепятственно вышел за пределы расположения, постоял минутку, размышляя, рассеянно свернул вправо. Часовой изо всех сил смотрел в противоположную сторону. Грузовик стоял, и ключ на самом деле был в замке зажигания. Гектор усмехнулся. Сел. Мотор включился сразу. Гектор глянул в зеркальце. Часовой по-прежнему глядел влево, хотя ничего особенно интересного там не происходило. Гектор набрал скорость. Все было тихо. Дорогу он знал. Груз негромко позвякивал в закрытом брезентовом кузове. Ну, что же,— подумал Гектор,— и такой клок шерсти пригодится, и на том спасибо. Но

теперь предстоит еще уговорить профессоров стрелять, боюсь, это окажется труднее...

Граве начал медленно сбрасывать газ. Расстояние между машинами сокращалось. Милов прищурил глаз. Потом широко раскрыл оба. Что там такое? Флаг? Нет, не флаг...

Водитель машины-преследователя на ходу опустил стекло и высунул руку, в которой что-то яркое, цветастое билось, извивалось на ветру. Милов взгляделся — и ударило в виски, мурашки побежали по спине. Ах, ты... Ах, ты!

— Еще чуть медленнее!

Сверну шею, — подумал он, — И уж что-нибудь поломаю наверняка. Но выбирать не приходится. Тряхнем стариной... Нет, никому другому это не пришло бы в голову — значит...

— Граве, поближе к обочине!

— Это еще зачем?

— Солнце бьет в глаза — от его стекла...

— Ладно.

Милов опустил левую руку, нашарил. Машина шла совсем рядом с травянистой обочиной.

— Ну, что же вы? Огонь!!

— Слушаюсь, господин ефрейтор, — ответил Милов и левой рукой рванул ручку дверцы.

Он вывалился спиной вперед, сгруппировавшись на лету. Автомата он не удержал, и оружие лягнуло по асфальту, но не выстрелило — предохранитель не подвел. Боль ударила, казалось, сразу со всех сторон, рванула, вонзилась... Кажется, жив еще, — успел подумать Милов, клубком катясь по траве. Рядом взвизгнули тормоза. Линкольн-континенталь, низкий, длинный, как летний день, остановился рядом. Первая дверца распахнулась.

— Дан, вы живы? Чему вы смеетесь?

— Ева! Ева, сумасшедшая вы женщина...

Он с трудом, как бы по частям, поднялся. Граве был уже далеко, машина его все уменьшалась, превращаясь в точку. Автомат валялся на шоссе, сзади, шагах в тридцати.

— Ева, милая, задний ход — подберем игрушку.

— Я развернусь.

— Потеря времени. Надо настичь его!

Ева все еще сжимала в пальцах нелепый галстук Милова.

— Не спрашивайте, Ева, некогда — объясню по дороге...

Он подхватил автомат, перегнувшись с сиденья, хлопнул дверцу. Кости, кажется, в порядке. Жива, — подумал он, — жива, как ей удалось?

— Ева, как вы спаслись?

— От чего, Дан?

— Граве говорил...

— Граве? Он заходил, да; разговаривал с Лестером. Ко мне только заглянул мимоходом — сказал, что хочет разыскать вас, я объяснила, что вы постараетесь попасть в Центр.

Выдумал? — пытался сообразить Милов. — Нет, он же сумасшедший — ему хотелось убить ее, но он не решился, конечно, — а потом поверил, что так и сделал... А может, и остальное — фантазия, и в машине у него нет никакой взрывчатки? Ладно, увидим.

— Как нога? — спросил он.

— Спасибо, Дан, — сказала она. — Вспомнить сейчас о моей ноге — это говорит о многом. Еще побаливает. Но я терплю. Дети... И вы.

— Глупая, — сказал он.

— Это у меня от рождения, — сказала Ева.

Машина бесшумно летела — не по дороге, кажется, а уже над нею; точка впереди начала снова обретать очертания.

— Хорошая у вас машина, — сказал Милов.

— Рикс не любит маленьких.

(146)

— А поживее она способна?

— По такой дороге я легко дам сто двадцать миль, если понадобится. А он держит примерно восемьдесят.

— Быстрее не может. Приблизься метров до пятидесяти. Ближе не надо. И как только я начну стрелять — жми на тормоза.

— Что ты хочешь с ним сделать? Я надеюсь...

— Только то, чего он сам захотел. Как тут опустить стекло?

— Кнопкой.

Милов опустил стекло, высунулся: сперва руки с автоматом, потом голову — но ее пришлось тут же убрать: резкий ветер бил в лицо, заставлял закрыть глаза. Ничего, мы и так... Хотя бы по колесам. Не уйдет, и отстреливаться не сможет — он же не рейнджер, он нормальный гражданин, честный, добродетельный умалишенный.

Он выпустил короткую очередь. Вторую. Граве вил по дороге, по всем четырем ее полосам. Мимо. Опять мимо. Что я — стрелять разучился?.. Так, заднее стекло — в крошки. Виден затылок, голова, пригнувшаяся к рулю. Нет, в него не буду. Дам шанс: если он все выдумал — пусть живет. Только сбить с дороги: если в машине не пластик, он уцелеет, отделается синяками, может быть. Только сбить с дороги. Сейчас он снова вильнет — и можно будет по колесам...

Длинной очередью, последними патронами он повел сверху вниз наискось. Но Граве в последний миг вильнул, и багажник закрыл колесо.

Ревущее пламя клубком оторвалось от дороги, на лету рассыпаясь на части. Налетела взрывная волна. Ева вскрикнула. Линкольн рвануло, занесло, швырнуло в канаву. Сталь скрежетала, сминаясь. Земля перевернулась. Финиш, конец пути.

— Ева, вы живы?

Она лежала на траве, куда Милов вытащил ее из смятой, невозстановимо изуродованной машины; у него самого был рассечен лоб, кровь текла по лицу, и, кажется, пару ребер придется капитально ремонтировать. Но, может быть, и не так все плохо...

— Ева!

Она открыла глаза:

— Что с нами было?

— Дорожно-транспортное происшествие.

Она несколько раз моргнула. Глубоко вздохнула и охнула.

— Где болит? — спросил Милов.

— Спросили бы, где не болит...

— Минутку. Здесь болит? А здесь? А так? Тут?

— Дан, кто из нас врач? Подозреваю, что вы.

— Ну, что вы, Ева, милая... Но в санитары гожусь. Теперь попробуем подняться. Держитесь за меня. Так, та-ак... В общем, отделались мы с вами чрезвычайно легко.

— Однако, мой рыцарь, ваша внешность несколько пострадала. Пора и мне вспомнить, что я медик. В машине есть аптечка...

— Пусть ее поищет кто-нибудь другой, нам некогда. Да и заживает на мне мгновенно. До Центра далеко еще?

— Рядом. Километра полтора, если идти напрямик. Но я, кажется...

— Ева, Ева, как вам не стыдно! Усидеть сможете?

— Вы рыцарь или лошадь?

— Я кентавр.

— А если всерьез: вам по силам будет?

— Я в форме, — сказал он. — Ну раз-два... Удобно?

— Никогда больше не слезу. Хотел бежать от меня.

Каково?

— Я бы вернулся, — сказал он искренне.

— Знаю. Потому и погналась. Но не очень-то вообразайте: у меня ведь дети. Все равно, я бы поехала к ним.

«Аэлита»-90

— Наверное, там есть, кому присмотреть.
— Нет, я должна быть с ними сама. Хотя ползком...
— До этого не дойдет. А машина все равно дальше не повезла бы,— сказал Милов, когда они поравнялись с глубоким провалом во всю ширину шоссе — там, где взорвалась машина Граве.— Ну, мир праху его.
— А мне жаль его,— сказала она.
— Да и мне тоже — теперь... Он любил свою жену.
— Дан, а ведь мы, наверное, сами во многом виноваты.

— Конечно,— сказал он, постепенно привыкая к ритму ходьбы с грузом.— И мы, и он, и все, кто только говорил, но ничего не делал, чтобы подхлестнуть наши правительства — ждал, пока это совершит кто-нибудь другой. Ну что же, кто-то другой и осуществил — по-своему... Пришпорьте-ка меня, Ева, не то мы придем слишком поздно.

— Запрут крепостные ворота?

— Нас могут обогнать — те, кто идет уничтожить Центр.

— И мы вдвоем их остановим?

— Нет. Но предупредим Центр. И весь мир.

— И там погибнем?

— Может быть.

Метров сто они прошли молча; но идти в безмолвии было труднее.

— Знаете, Ева, мне страшно повезло.

— Конечно, знаю. А в чем именно?

— В том, что вы весите килограммов пятьдесят, не больше.

— Девяносто шесть фунтов.

— Представляете, если бы вы весили двести?

— Я? Никогда! — возмущенно заявила она.

— Ну, не вы, а другая женщина...

— Дан! На свете нет других женщин, ясно? Есть только я!

Он медлил с ответом.

— Немедленно опустите меня на землю! — потребовала она.— Не желаю иметь с вами ничего общего!

— Их нет, Ева,— сказал он.— Никогда не было. И не будет. Пока мы живы. Но если бы когда-нибудь раньше они были, то не обязательно носили бы брюки и брюки, вечно брюки. Знаете, кентавры очень любят ощущать...

— Терпение, Дан,— сказала она.— Они не приросли ко мне.

— Только на это я и надеюсь,— сказал он, ускоряя шаг.

Сквозь редкую цепочку окружавших Центр добровольцев они прошли беспрепятственно, никто даже не попытался задержать их, а Милов, к тому же, все еще носил на груди дубовый лист. Широкие стеклянные двери распахнулись перед ними, пропустили и захлопнулись. И сразу показалось, что все беды и опасности, пожары и убийства, свидетелями которых они были, на самом деле не существовали, что сами они выдумали и поверили в них, как Граве — в убийство Евы. На самом же деле везде царил порядок, и разумная жизнь текла, как ей и полагалось, и можно было спокойно думать о своей работе и своей любви. Потому что здесь, в обширном вестибюле Кристалла, где лежали ковры и на стенах висели подлинники кисти мастеров, и сиял мягкий, неназойливый свет, и стояла крепкая, благословенная тишина, — где, одним словом, все выглядело так же, как и неделю, и месяц, и год назад — здесь можно было почувствовать себя защищенным всею той силой, которая была у остального, пока еще (хотелось надеяться) жившего нормальной жизнью мира. Хотя как раз в устойчивости остального мира Милов был не очень-то уверен.

— А я думал, здесь яблоку упасть некуда,— сказал он, остановившись посреди вестибюля.

— Ну, Кристалл достаточно велик... Дан, а вам не

(147) кажется, что мы уже приехали? Пожалуйста, здесь мне неудобно...

Он бережно опустил Еву на пол и с удовольствием перевел дыхание.

— Бедный мой кентавр,— сказала она и провела рукой по его грязной от пота и пыли, колкой щеке.— Извините меня.

— Нет, не так,— сказал он.— Спасибо. Спасибо за первобытное ощущение: я вдруг почувствовал себя мужчиной не только по первичным признакам.

— Зато теперь я принимаю на себя роль женщины и хозяйки дома. Вам нужны ванна, бритва и гардероб. Потом нам не помешает что-нибудь выпить и немного поесть.

— Лазурная перспектива,— согласился он.— Но это потом. Прежде всего отведите меня на радиостанцию. Необходимо как можно скорее оповестить весь мир. Скорее всего, это уже сделано, однако я не знаю, в какой степени здесь понимают ситуацию: глядя из этого райского уголка, кажется, трудно составить верное представление.

Ева покачала головой.

— Вы не знаете наших порядков, Дан. Никто и близко не подпустит вас к микрофону и не примет от вас ни единого слова без разрешения администрации. И никто не даст вам этого разрешения прежде, чем вы убедите их в необходимости этого...

Что-то неуловимо изменилось в ней, когда она оказалась внутри Кристалла: там, в дороге, она была только женщиной, а тут — еще и человеком, работающим в Центре и подчиняющимся его порядкам.

— Черт бы побрал ваших бюрократов,— сказал Милов.— Ладно, ведите, я им в двух словах объясню...

— В двух словах они не поймут. Научная администрация, Дан, консервативнее любой другой. И до тех пор, пока вы больше всего напоминаете беглого каторжника, с вами и разговаривать не станут, и я ничем не смогу помочь. Я ведь хозяйка около своих гермобоксов, а для всего Центра — величина столь малая, что никто даже не заметит, если я вообще исчезну.

— Ну! Супруга самого Рикса...

— Рикс — это звучит там, в городе. А для Центра он всего лишь обосновавшийся здесь бизнесмен, далеко не из самых крупных.

Разговаривая, она медленно, припадая на ногу, вела его к стене, в которой виднелись двери лифтов. Он попытался было воспротивиться, но тут же понял, что она права. Ладно,— подумал он,— у нас есть форс. Мы опередили пехоту, пожалуй, часа на четыре.

Ему показалось удивительным, что где-то еще могут работать лифты; но здесь исправно вспыхнул зеленый трамвайчик, и видно было, как кабина заскользила сверху по прозрачной шахте.

— Фантазмагория! — не удержался он.— Я начинаю всерьез бояться, что ваши шефы могут не понять, насколько дела плохи.

— Вы и сами уже не так уверены, правда?

Он промолчал.

Они вышли на двадцать втором. Широким пустым коридором добрались до ее отделения. Дежурная сестра сидела на своем месте у пульта — с головы до ног в голубом, накрахмаленная, спокойная, уверенная в себе.

— Добрый вечер, доктор Рикс.— Тонкие брови сестры выразили нечто вроде удивления.— Вы с больным? Секунду, я вызову доктора Нулича, чтобы отправить пациента в клинику...— Она говорила с акцентом.

— Нет нужды, сестра Пельце. Душ и что-нибудь, во что можно его переодеть.

— Только не в пижаму, пожалуйста,— попросил Милов.

— Позвоните в клинику, пусть там посмотрят в гардеробной — может быть, у кого-то из больных найдется подходящее.

— Там мало что осталось, доктор. Почти всех боль-

ных сегодня вывезли эти... местные. Остались только иностранцы.

— Скажите, сестра, может быть, мне самой сходиться в гардероб.

Привычка к подчинению возымела действие.

— Наши палаты — те, что для родителей — пусты. Душ можно принять там. А вы сами, доктор? Похоже, что вы попали в катастрофу.

— Не мы одни, сестра.

— Знаете, наши палаты едва удалось отстоять: сейчас в Кристалле так много людей — ученых со всех концов Центра, жены, дети... Странно, гостиница почти пуста. Так нет, всех привезли сюда. Теперь они в кабинетах, гостиных, комнатах для переговоров... Но у нас, к счастью, тишина: дети.

— Их не увезли вместе с больными?

— Кто бы позволил!

— Хорошо. Я пойду к себе, приведу себя в порядок. Дан, когда будете готовы — приходите ко мне, сестра вас проводит.

Она пошла, стараясь хромать как можно меньше. Милов смотрел вслед, пока сестра не окликнула его:

— Мистер Дан, пожалуйста — я уже пустила воду.

Она с неодобрением посмотрела на автомат Милова. — А это можно оставить здесь — потом выйдете и заберете.

— Да, конечно, — спохватился Милов. Усмехнулся: — Когда насмотришься на происходящее в городе, кажется странным, что где-то еще есть вода в кранах.

— Мы не зависимы от властей, — сказала гордо сестра Пельце.

— Дай-то Бог, — пробормотал Милов, направляясь в палату. Перед тем, как идти в ванную, заглянул в комнату — кровать была застлана свеженьким, пестрым, с острыми складками бельем. Сейчас бы отключиться минутку на шестьсот, — подумал он мечтательно. — Да если бы еще не в одиночку... Но, похоже, в этой жизни выспаться больше не придется, да и ничего другого тоже. Ему все яснее становилось, до чего незащищенным был Центр; если действительно придется защищать его — задача может оказаться непосильной: стеклянные двери — и никакого оружия, нечем обороняться, да и некому. Это ведь не военная база на чужой территории... Что может спасти? Только вмешательство со стороны. Но там ничего не знают, и узнают наверняка слишком поздно. Ладно, а вымыться все-таки не мешает...

Он так и сделал, стараясь не совершать лишних движений, и почувствовал, что боль во всем теле начала униматься по мере того, как Милов расслаблялся, выгонял из себя напряжение. Когда он вышел из ванной, одежда оказалась в палате. Дисциплина тут у них почище армейской, — усмехнулся он, — но в медицине, наверное, только так и можно — если всерьез работать, если не для формы. — Он глянул на себя в зеркало. — Все-таки совсем иное впечатление. Правда, автомат к этому костюму как-то не идет. И все же без него — никуда. Вот патронов бы еще раздобыть — выйти, ограбить добровольцев, что ли, пока к ним еще не подошла подмога?

Сестра Пельце снова осуждающе покосилась, когда он подхватил автомат и закинул за спину. Однако не сказала ни слова. Они дошли до замыкавшей коридор перегородки с дверью. В полутемной палате Ева сидела за столиком, опираясь подбородком о кулаки — посвежевшая, причесанная, в халате. Компьютер. Приборы, экраны со струящимися кривыми. Еле уловимое дыхание каких-то механизмов...

— Вот они, — сказала Ева, и Милова поразила прозвучавшая в ее словах нежность женщины, у которой, видно, своих детей не было — а не просто сострадание врача. Она встала и подвела Милова к прозрачным камерам, в которых мирно спали младенцы, дыша воздухом, какого более не существовало в окружающем мире: чистым воздухом, диким, нецивилизованным, пер-

(188) зобитным. Вот они, — подумал Милов, чувствуя, как комок возникает в горле, — те, ради кого следует сломать эту цивилизацию, сделать из нее что-то, пригодное для жизни. Не только для них, конечно. Для всех. И самих себя. Но это они принесли нам сообщение, подали сигнал: медлить больше нельзя. Они просигналили... — те, кому следовало, не обратили на него внимания...

— Идемте, Ева, — сказал он. — Где там ваши вседержители?

— Сейчас все собрались в ресторане. Очень кстати, не правда ли?

— Лучше бы они собрались на радиостанции, — ответил Милов.

— Там бы нас не накормили.

— Хозяйка дома, — улыбнулся он.

— Нет, к сожалению. Будь я хозяйкой, сразу дала бы вам микрофон. Но должна ведь женщина хотя бы накормить своего любовника?

— Я уже любовник? — спросил он.

— Будешь, — сказала Ева, — куда ты денешься.

Большой зал ресторана оказался битком набитым — одни ели, другие сидели за бутылкой вина или чего-нибудь покрепче, но везде разговаривали; видимо, неопределенность положения Центра все же ощущалась и тревожила если не всех, то многих. Разговоры велись на разных языках: в предчувствии опасности люди сознательно или бессознательно группировались землячествами. Заграница, — подумал Милов. — Наши бы наверняка засели в конференц-зале, тут, надо думать, не один такой, а эти, видишь — в ресторане, не привыкли, как мы: с президиумом, с докладчиком... Зато там сразу было бы ясно, где начальство, а тут я даже не пойму, кто директора, а кто лаборанты...

Ева, видно, в этом все же разбиралась, и уверенно вела Милова по сложной траектории между расставленными, могло показаться, в полном беспорядке столиками. Он успевал уловить обрывки разговоров — на тех языках, какие понимал:

— Когда вернусь в Кембридж, подниму кампанию протеста...

— В конце концов, Германия вложила в этот Центр так много, и мы ведем здесь важнейшие разработки...

— ...И вы понимаете, Смит, это семнадцатая элементарная частица, я полагаю...

— ...Накупила кучу барахла. И если нас будут вывозить отсюда вертолетами, то придется все бросить. Но комп я все-таки постараюсь вытащить...

Земляки, — с удовольствием подумал Милов, прислушиваясь к русскому языку. Но сейчас не было времени даже окликнуть соотчичей, поздороваться с ними.

— ...Глупости, ничего не случится. Они еще принесут извинения, вот увидите. Государственный секретарь, я уверен, уже...

— Обождите минутку здесь, Дан, — сказала Ева. — Сперва я представлю вас заочно, — и она, почти не хромая, направилась к столику, стоявшему в едва уловимом, но все же отдалении от прочих. Милов остановился. Рядом несколько столиков было сдвинуто вместе; здесь, судя по разнообразию акцентов, компания была интернациональной.

— ...Ну, а чего же вы ждали? Да я в любой миг могу перечислить все преступления, какие мы совершили и продолжаем совершать по отношению к природе. Только это займет не часы — дни, недели... Возьмите хотя бы все Красные книги. Везде! Леса. Мировой океан. Почвы. Ископаемые. Воздух. Флора. Фауна. Озон. Даже космос успели уже изрядно запакостить...

— Прискорбно, конечно, и все же это не повод для эксцессов. Просто — такова жизнь, и другой она быть не могла.

— Такой ее сделали — при нашем усердном спешествовании. Не дав себе труда подумать — должна ли она быть такой.

Еще один:

— Да, мы исправно выполнили все, что было пред-
сказано за сотни лет до нас...

— Ну конечно, вы же коммунист, кого начнете ци-
тировать сейчас — Ленина или Маркса?

— Всего лишь Ламарка, успокойтесь. Того самого,
Жана-Батиста. Он сказал примерно так: «Назначение че-
ловека, похоже, заключается в том, чтобы уничтожить
свой род, сперва сделав земной шар непригодным для
обитания».

— Чепуха. Возьмите хотя бы продолжительность
жизни: когда раньше она была такой? Когда раньше
планета была в состоянии прокормить столько людей?
Можно привести сотни возражений! Вы просто песси-
мист...

— Возражать мне легко. А вы возразите им!

— А кто «они» такие?

— Да все остальные. Кто верил нам или в нас, не
задумываясь, шел за нами, полагая, что мы-то уж зна-
ем, куда ведем. Люди. Человечество, если угодно. Надо
быть совершенными идиотами или слепцами, чтобы не
видеть, что именно к такой развязке идет дело. Потому
что человечеством все больше овладевал ужас. А ужас,
когда достигнута его критическая масса, взрывается.
Это было ясно уже годы назад!

— Кому ясно? Вам, допустим, было ясно? Мне, на-
пример — заявляю и клянусь! — ничего подобного и в
голову не приходило! Вам было ясно — вот и предупре-
дили бы. Что же вы тогда молчали?

— Да потому что я, как и все мы, получил нормаль-
ное современное воспитание, научившее нас думать
одно, говорить другое и делать третье — то, что все
делают. Все катились под гору — и я катился со всеми
заодно, и, как любой из нас, старался съехать как мож-
но комфортабельнее...

— Да перестаньте! Пусть мы и нанесли некоторый
ущерб, не отрицаю, но в наших силах — все исправить.
Дайте мне только время...

— Берите, берите все время, сколько его есть и
будет до окончания веков, я не жаден, дарю вам веч-
ность. Но вот дадут ли вам время они? Понявшие, что
надежды на нашу совесть тщетны, цивилизация сильнее
совести — и что если они хотят сохранить хотя бы те
воздух и воду, какие еще существуют сегодня, то им
надо стрелять в нас с вами, громить лаборатории,
взрывать заводы и станции, раскалывать головы с оп-
тимально организованным серым веществом... Они не
хотят больше, чтобы взрывались реакторы, рушились
плотины, шли желтые дожди, выбрасывались удушли-
вые газы, чтобы ширилась ОДА...

— Опять-таки позвольте усомниться: уже был
СПИД — и никто не начал стрелять.

— Потому что там речь шла все-таки о природном
явлении. Хотя в наших условиях эта локальная болезнь
быстро стала повсеместной. Но вот ОДА — уже цело-
ком наших рук дело...

— Да к чему валить все на нас? Уничтожение при-
роды начали не мы, его начали еще кроманьонцы —
уничтожали целые виды животных!

— Учтите: природа вовсе не беззащитна, она и сама
может постоять за себя. У нее есть охранительные
средства, и в их числе — то стремление к самоуничто-
жению, которое сидит в нас изначально. Да-да, колле-
га, и эпидемии прошлых веков, и ядерные бомбы на-
шего времени, и взрыв СПИДа, и ОДА, и даже нынеш-
нее выступление против нас — все это способы, какими
природа стремится защитить себя от человека — при
помощи человека же.

— Перестаньте! Самоубийство — в том, чтобы пы-
таться уничтожить все наши достижения! И человече-
ство на это не решится.

— А я вот давно говорил: цивилизация изжила себя.
Ее пора свергивать. Но без лишней резкости и торо-
пливости, иначе в мире начнется такое...

— Началось уже. Только вы никак не хотите понять

(149) этого. Наступает хрустальная ночь. Вы помните, хотя
бы из курса истории, что такое была хрустальная ночь?

— Знаете ли, я могу обидеться. В моей семье, сре-
ди моих недавних предков... Я еврей, в конце концов!

— Вот она и повторилась, только наша ночь — ночь
Черного хрустала: недаром Черным Кристаллом назы-
вается это здание... А вместо евреев будут уничтожать
ученых и всех, кто хоть как-то содействовал нашим свер-
шениям. Ужасно, несправедливо? Согласен. Но уже ни-
чего не поделаешь, процесс пошел.

— Ну, не думаю. Нет, нет. Но знаете что? Мне ка-
жется, пришла пора писать письмо главам государств —
наподобие того, как написал Рузвельту Эйнштейн...

Наконец-то Ева вернулась к Милову. Он посмотрел
на нее с нежностью.

— Пойдемте, Дан, — она взяла его за руку. — Они
вас выслушают.

— Слово я за подачкой пришел, — буркнул Милов.

— Не обижайтесь: они так привыкли. Уже одно то,
что вы не ученый...

Шестеро сидевших за столом потеснились, и, как
будто без всякого сигнала, официант тут же подставил
еще стул; место для Евы нашлось еще раньше.

— Ну, господин Милов, чем вы хотите нас напу-
гать? — почти весело обратился к нему тот, напротив
которого Милов оказался.

— Я волею судеб возглавляю этот питомник гениев
и инкубатор открытий...

Они слушали Милова внимательно, не перебивая.
Он старался говорить как можно короче и вырази-
тельнее.

— Итак, вы хотите использовать нашу станцию,
чтобы обратиться к правительству всего мира и преду-
предить их об опасности? Скажу сразу: нам положение
не представляется столь трагичным. И мы уже со-
общили о том, что здесь произошло. Так что мы по-
лагаем: остается лишь спокойно ждать. Не сомнева-
юсь, что правительствами будут предприняты все не-
обходимые действия.

— Нельзя ли уточнить: что именно вы сообщили?

— Только факты: местные власти выразили несо-
гласие с пребыванием нашего Центра на их террито-
рии и требуют его ликвидации; местное население про-
явило некоторую несдержанность, в результате чего
пострадал поселок ученых, однако посягательств на
их жизнь не было — если не считать двух или трех
спонтанных проявлений... Вообще вопрос, как вы по-
нимаете, весьма спорный. Существует соглашение с
правительством этой страны, так что переговоры бу-
дут весьма долгими, а мы тем временем спокойно про-
должим нашу работу.

— Однако, того правительства больше нет.

— Но нет и никакого другого.

— Прошлой ночью сожгли поселок; в следующую,
может быть...

— Это нереально: ни одно новое правительство
не станет начинать свою деятельность с таких по-
ступков.

— Боюсь, что вы не поняли главного: в стране
устанавливается — или уже установился — новый режим,
фашистского типа. Могу напомнить: один из основных
признаков таких режимов — полная бесконтрольность
внутри и обильная дезинформация, направленная как
вовнутрь, так и вовне. Я уже рассказывал вам, что нам
с доктором Рикс едва удалось предотвратить диверсию
против Центра. А у вас ведь и реактор на ходу!

— Ну, он в полусотне миль отсюда, там полная
автоматизация, ни одного человека. Ну хорошо, су-
машедшие могут найтись везде, и мы вам очень
благодарны — вы подвергались немалому риску... Что
же касается характера, который имеет новый, как вы
говорите, режим, то, простите, в это трудно поверить.
В наши дни, в нашем мире...

— А взрыв плотины?

Теперь говорили все шестеро, разговор стал об-
щим.

— Ну, знаете ли, слова сумасшедшего — еще не доказательство. Просто бред. Тем более, как вы сами рассказали, он считал, что совершил... некоторые действия, но, как оказалось...

— Да, да. Я был на станции буквально несколько дней назад — согласитесь, что такую диверсию нельзя провести без подготовки, плотина — не автомобиль; а там абсолютно ничего не было заметно. Другое дело — уровень воды повышался, действительно, быстрее обычного, и если при постройке плотины были допущены ошибки или злоупотребления...

— Я тоже не верю в гипотезу преднамеренного взрыва. Слишком уж... романтически.

— Вот именно — чересчур пахнет кинематографом.

— Во всяком случае, мы не можем выступить с заявлением такого рода. Наш престиж...

— Да поймите же! — Милов, утратив обычное спокойствие, едва не кричал, по сторонам уже стали оборачиваться. — Процесс может стать глобальным! Изменение характера цивилизации, отказ от многих производств, регулирование населения — все это неизбежно, и если этим немедленно не займется правительства, то сделают другие — как это случилось здесь. В борьбе со всеобщим страхом молчанье и бездействие — плохое оружие! А другие тем временем говорят и действуют — но цели у них свои, совсем не те, что у нас...

— Дорогой друг, мы понимаем, что увиденное в городе не могло не подействовать на ваше восприятие событий, на ваше воображение — тем более, что вы, как — м-м...

— Скажите: полицейский!

— Ну, назовем хотя бы так, — вы, естественно, должны болезненно воспринимать всякое отступление от принятого порядка — согласитесь, что профессиональное мышление полицейского не может быть чрезмерно широким и демократичным; зато мы, ученые, привыкли... Одним словом, мы не допустим никакого использования нашего радицентра — во всяком случае, пока обстановка не прояснится.

— Может оказаться слишком поздно, — сказал Милов мрачно.

— Мы так не думаем.

Бесполезно, — подумал Милов. Он встал.

— Благодарю вас, господа, за то, что вы меня выслушали.

— Господин Милов, — услышал он сказанное вдогонку. — Нам хотелось бы, чтобы вы не расхаживали здесь с оружием. Мы не привыкли, и к тому же это могут увидеть женщины, дети...

— Я приму это к сведению, — сказал Милов учтиво. Ева тоже встала и догнала его.

— Я с вами, Дан.

— Доктор Рикс, — сказал кто-то из шестерки, — нужно, чтобы мистер Милов как следует отдохнул, пришел в себя. Позаботьтесь об этом.

— О, разумеется, — сказала она, улыбаясь. — Поужинаем, Дан, и поднимемся ко мне.

Он взглянул на нее. Да пропади все пропадом, — подумал он. — Почему мне должно хотеться большего, чем остальных? Мне сейчас ничего, кроме нее, не нужно. Я-то выкручусь, и ее хоть на руках, хоть в зубах, но вытасу, а эти — пусть подышают под облаками вместе со своими мнениями и традициями. Зато те, кому удастся выжить, поймут, наконец, что к чему...

Они поднялись на лифте, подошли к ее двери.

— Чувствуй себя, как дома, — сказала она.

Стояли уже сумерки, когда они снова вышли в коридор. Там, внутри, они не говорили о том, что наверняка предстояло в ближайшие же часы; вообще говорили мало, больше молчали, как если бы хотели

до конца насладиться тишиной, с которой — понимали они — скоро придется распрощаться. И вышли потому, что Ева вдруг сказала: «Смешно, но я жутко голодна. Зря мы не взяли ничего с собой. Спустимся, поедим чего-нибудь». «Если там еще осталось, — с сомнением пробормотал Милов. — У многих, знаешь ли, перед смертью возникает страшный аппетит». «Почему перед смертью?» — Ева тревожно поглядела на него, пытаясь заглянуть в глаза, но уже слишком было темно, а света они не зажигали, и она не смогла понять их выражения. «Потому что те нападут, — невесело ответил он, — а здешний люд — никудышные вояки, да и оружия нет». Эти слова окончательно вернули их в тот мир, что находился за стенами комнаты. Ева включила свет, поправила прическу перед зеркалом. Милов поцеловал ее, закинул автомат за спину, и они вышли. По дороге Ева сказала: «Давай заглянем ко мне на миг». Они заглянули. «Сестра, все в порядке?» — спросила Ева строго. «Все в порядке, доктор Рикс. Вот только тут звонили — искали вас». «Кто?» Сестра посмотрела на экран. «Он назвался Гектором. Просил передать, что ждет вас и господина в ресторане. Если я не ошибаюсь, это тот самый корреспондент, американец, который...» «Спасибо, сестра», — сказала Ева. Прошла вдоль гермобоксов, останавливаясь, внимательно вглядываясь, и трудно было понять — просто ли она наблюдает спокойным взглядом врача, или же прощается со своими крохотными пациентами.

В ресторане было еще больше людей, чем в прошлый раз, теперь тут сидели женщины, и дети, и стоял небообразимый шум, а найти свободное местечко оказалось нелегко.

— Не просто будет искать здесь Гектора, — сказал Милов.

— К чертям Гектора, — сказала Ева. — Я хочу есть.

Кое-как они уселись. Официанты куда-то исчезли, но фрак метрдотеля Милов углядел в царившем хаосе. С трудом удалось заполнить его к столу.

— Вы решили уморить нас голодом? — строго спросила Ева.

— О, мадам... Просто беда: у нас ничего нет! Все съедено, и сегодня не привезли ни горсточку продуктов! У нас не осталось ни одной машины, все они увезли больных еще утром и не вернулись, а поставщики и не показывались. Говорят, что-то происходит, мадам, и я готов в это поверить, и я в отчаянии, и не знаю, что делать...

— А вы пошарьте в холодильниках, — мрачно посоветовал Милов.

— Бесполезно. Мы никогда не оставляем продукты на завтра, нельзя кормить гостей несвежим...

— Ну, хоть что-нибудь, — сказала Ева самым нежным голосом, излучая обаяние.

— Ну, разве что... — Не решаюсь выговорить — может быть, яичницу? Допускаю, что осталось еще с дюжину яиц.

— Давайте все, что найдете, — сказал Милов, придав голосу оттенок угрозы. — И я надеюсь, не все еще выпито?

— С этим пока благополучно, такие продукты не портятся. Я сделаю все, что в моих силах...

И действительно, яичница возникла, и еще какие-то обрезки ветчины, какие в нормальное время никто не решился бы предложить клиентам. Но сейчас все годилось.

— А, вот вы! А я разыскиваю вас по всему Кристаллу...

— Погодите, Гектор, дайте доесть, — попросила Ева.

Журналист внимательно изучал их лица.

— Ну что ж, я так и думал, что без этого не обойдется. Но, откровенно говоря, удивлен, что вы все-таки нашли друг друга. От души поздравляю!

— Принимаю,— сказал Ева.— И не ждите, Гектор, что я стану смущаться. И Дан тоже.

— Я? Да я лопаюсь от гордости,— сказал Милов.— Ладно. Гектор, удалось вам добраться до армии? Дадут они связь? Или уже дали?

— Категорический отказ. Никакой надежды. Но кое-что все же удалось выпросить. Оружие. Полный грузовик. Старое, но еще стреляет. И патроны, конечно.

— Прелестно,— сказал Милов.— Кто только будет стрелять? Ну, а здесь что вы успели сделать?

— Побеседовать с начальством.

— У меня с ним, как пишут в газетах, не возникло взаимопонимания.

— Меня тоже сначала слушали очень скептически. Но я их расшевелил, потому что у меня нашелся аргумент, какого у вас не было. Вы ведь лишь предположительно говорили о том, что на Центр могут напасть. Ну, а я видел отряды собственными глазами. Пришлось немножко попетлять по дорогам. Стягиваются со всех сторон. И сейчас они уже недалеко отсюда.

— Добровольцы? Если только они, то чем черт не шутит — таких солдат и тут полно, может, и отобьемся. А вот если вступят волонтеры...

— Думаю, что подойдут и они, но сильно опасюсь, что их первым объектом будет электростанция — чтобы оставить Центр без энергии, простейшая логика диктует такой образ действий. А потом уже могут подойти и сюда — к тому времени, как это их ополчение докажет свою неспособность... Волонтеры, видите ли, честолюбивы. Везде свои сложности...

— Вернемся к начальству.

— Охотно. Моя информация заставила их призадуматься, и они поручили мне разыскать вас. Так вот, Дан, ученые мужи созрели для того, чтобы предоставить нам радио. Мы с вами должны составить текст. Давайте работать.— Движением руки смахнул посуду на пол — никто, кажется, даже не услышал звука, не оглянулся, не подбежал, — вытащил из кармана крохотный диктофон, поставил на стол.— Нет, пожалуй, на таком звуковом фоне мы и сами себя не поймем.— Он вынул блокнот, раскрыл.— Ну, вперед. Что для начала?

— К правительствам и народам всех стран...— начал Милов.

— К мужчинам и женщинам всего мира,— сказала Ева.

— Ну, конечно,— усмехнулся Гектор.— Решающее слово всегда остается за женщиной.

— Потому что оно правильно,— сказала Ева.

— ...Теперь вы поняли, насколько положение серьезно. Не только здесь, где беда уже произошла, и не только наши жизни в опасности. Так будет и у вас. В вашей стране. На вашей улице. В вашем доме. События будут развиваться быстро, очень быстро. Вы должны успеть предотвратить их. Спасти природу, не забыть о человеке. Руководствоваться разумом и требовать того же от вашего правительства. Вы не должны опоздать! И еще... мы просим спасти нас. Мы ведь тоже очень хотим жить...

Закончив, Ева откинулась на спинку стула. Красная лампочка погасла. Передача закончилась.

— Хорошо,— сказал оператор из своего отсека.— И записалось нормально. Будем повторять непрерывно.

— Пока есть энергия,— негромко проговорил Милов.

— Кажется, мы ничего не забыли,— сказал Гектор.

— Но решится ли хоть одно правительство выбросить десант? — усомнился Милов.— Это ведь не просто. Существует международное и всякие другие права...

Гектор пожал плечами:

— Поживем — увидим. А пока давайте послушаем эфир. Лондон? Вашингтон, Ди си? Или кого-нибудь поближе?

Они внимательно прослушали известия. Полным ходом шла подготовка конференции по Ближнему Востоку. Снова — в который уже раз — кто-то из великих спортсменов был уличен в употреблении допинга. Министры иностранных дел встретились в штабквартире НАТО, посвященное предстоящей встрече в верхах. Экипаж орбитальной станции чувствовал себя прекрасно...

«Из Намурии сообщают...»

— Ага! — воскликнул Гектор.

«Власти провинции, в которой расположен Международный научный центр ООН, потребовали его закрытия. Данные наблюдений со спутников позволяют предположить, что столица все еще залита водами, хлынувшими из водохранилища после прорыва плотины. Связь со страной по-прежнему прервана, и новых сообщений, в том числе и о судьбе правительства, не поступало. Правительства некоторых стран привели в готовность спасательные отряды, однако еще не ясно, будет ли им разрешен въезд на территорию страны. Остальные ее районы внешне не пострадали, в них наблюдаются активные действия населения. Погода на завтра...»

Гектор выключил приемник:

— Мы, конечно, слишком много захотели: чтобы сразу...

— Вы должны что-то сделать! — сказала Ева.— Придумайте же, вы ведь умные люди!

— Пойду раздавать оружие,— сказал Гектор.— Можете, Дан? По-моему, все остальное, что могли, мы сделали.

— Теперь вы должны сказать: «И можем умереть с чистой совестью», — добавила Ева иронически.

— Черта с два,— сказал Милов и обнял ее за плечи.— У нас еще все впереди.

— Миссис Рикс и джентльмены,— сказал шеф Центра.— Последний вопрос: как мы используем наш вертолет? Он дает нам возможность спасти хотя бы несколько ученых — людей с мировым именем. Цвет науки. И некоторые, уже законченные работы. Я наметил вот кого... — Он прочитал фамилии.— Боюсь, что это последний и единственный способ. Надежда, что мир отзовется на наш крик отчаяния, пока не оправдалась — и никто не может сказать, оправдается ли вообще. Так что иного решения, я полагаю, быть не может.

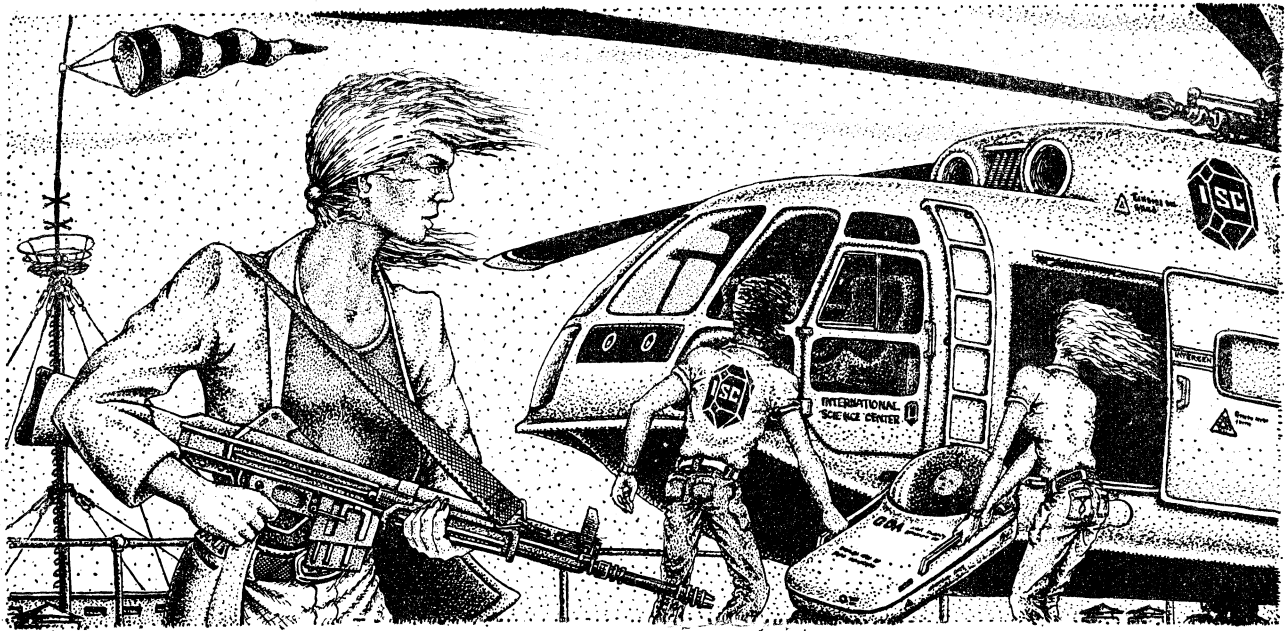
— Не только может,— сказала Ева,— но и должно быть. Дети. Вертолет оборудован кислородной установкой для их перевозки. До границы — час полета, а еще час — от границы до ближайшей клиники с гермобоксами. Надо спасать детей. Почему вы не подумали о детях?

— Было бы по меньшей мере странно, если бы мы не подумали о них,— ответил шеф.— Но мы решили, что они нужнее здесь. Как ни неприятно говорить это, однако они оказались как бы в роли заложников. Это ведь их дети — тех, кто нападает. И нигде в стране больше нет установок для устойчивого обеспечения их жизни. Дети находятся в Кристалле. И это обстоятельство может спасти Кристалл, если даже погибнет все остальное.

— А станция? — спросил Милов.— Если они взорвут ее, ни о каком жизнеобеспечении и речи не будет.

— Мы рассчитываем, что на станцию покушаться не станут. Взорвать ее — значит, вызвать сильнейшее радиоактивное заражение местности. Это не в их интересах, не так ли?

— Вы полагаете, что они руководствуются логи-



кой,— ответил Милов,— а это не так. Сейчас это — клубок эмоций. И еще одно обстоятельство: взрыв и заражение потом свалят на вас, и оно послужит еще одним доказательством бесчеловечности науки.

— Хватает и подлинных доказательств,— негромко проговорил кто-то из ученых.— К чему еще выдумывать их? Ну что же, ваша логика подсказывает, что мы ни в коем случае не можем позволить им хозяйничать на станции. Можем ли мы защитить ее?

Милов покачал головой.

— Значит, в критический момент придется уничтожить ее отсюда. Вы, мистер Милов, может быть, не знаете, но наша станция покоится на плите, прикрывающей шахту глубиной в милю с лишним. Мы заглушим реактор и взорвем плиту. Станция провалится, а потом сработают заряды, обрушивающие породу.

— И мы останемся без энергии,— сказал Милов.

— Да. Останемся без энергии.

— И дети погибнут,— сказала Ева.— Самыми первыми.

— Да и не спасут они никого и ничего,— добавил Гектор.— Потому что народу еще утром объявлено, что дети вывезены. Их даже показывали с балкона.

— Но это же неправда! — сказал шеф.

— Объясните это им, когда они начнут стрелять. Наступило молчание.

— Вряд ли кто-нибудь из нас,— сказал один из администраторов, человек, известный всем, ветеран физики, чье имя стояло третьим в списке,— согласится спасти свою жизнь за счет ребенка. Меня, Майк, во всяком случае вычеркните. Я всю жизнь старался оставаться порядочным человеком, и, думаю, это мне в общем удавалось — зачем же на склоне лет... И я вам ручаюсь, Майк: при такой дилемме не согласится никто. Среди нас есть люди более способные, есть — менее, но подлецов я здесь не встречал.

— Джек,— сказал шеф.— А может быть, это у вас просто срабатывает комплекс вины?

— Вот если я воспользуюсь вашим предложением, такой комплекс просто убьет меня. А так... да, каждому из нас можно осудить многое в своей жизни и работе, но я человек религиозный и отвергаю самоубийство в любой форме. Нет, Майк, я просто действую в соответствии с логикой. А вы на моем месте?

(122)

— Вы же слышали, Джек,— сказал шеф,— что меня в списке не было. Я капитан, и сойду последним или — пойду ко дну. А вы, Анатолий — вы тоже есть в списке...

— Естественно, что я там есть,— сказал названный по имени ученый.— Но вот тут мой соотечественник,— он подмигнул Милову,— засвидетельствует, что мы — народ далеко не трусливый. Могли бы и не спрашивать, Майк.

— Боюсь, что вы правы,— сказал шеф и медленно разорвал список.— Следовательно: дети и обслуживающий их персонал. Я имею в виду и детей сотрудников Центра — по принципу возраста: самые младшие, столько, сколько возьмут пилоты. А возглавите вы, доктор Рикс.

— Ни за что! Я все сделаю, погружу их, но долететь они могут и без меня. В Центре множество женщин...

— Вы отвечаете за этих детей,— сказал шеф.— Без вас я просто не позволю отправить их. Нам же не жест важен — важно, чтобы они выжили!

— Дан, скажи им,— она прижалась к Милову,— объясни, что я не могу!..

— Ничего, родная,— тихо сказал Милов,— сможешь. Я понимаю, что сейчас остаться тут куда легче, чем улететь. На этот раз тебе придется труднее, чем всем нам. Но не спеши отпевать нас: мы еще не покойники, и не собираемся стать ими.

— Не хочу, не могу без тебя,— бормотала она, нимало не стесняясь присутствовавших.— Только что мы... Ни за что!

— Лети, Ева,— сказал Милов.— Сам-то я выпутывался и не из таких еще передраг. Это твои дети, ты сама говорила.

— Доктор Рикс,— сказал шеф.— Никто не расторгал контракта с вами, вы здесь работаете и, следовательно, выполняете мои распоряжения. Извольте заняться эвакуацией детей. Чтобы, самое позднее, через час машина была в воздухе.

— Час двадцать, быстрее невозможно,— сказала Ева, утирая слезы.

— Ну, вот и умница,— сказал Милов.— Идем, мы тебе поможем.

«Аэлита»-90

— Если все же придется взорвать станцию, долгой осады мы не выдержим,— сказал шеф.— Кондиционирование, подача воды, все, что нам нужно — прекратится. И у нас нечего есть.

— Но если они ворвутся,— сказал Гектор,— все кончится еще скорее. Только не надо иллюзий, шеф: они будут убивать. Нужно время, чтобы они пришли в себя.

— Или чтобы кто-то выбросил десант,— сказал старик, которого звали Джепом.

— Наше слабое место — ворота,— сказал Анатолий.— Они не рассчитаны на осаду. Ничто тут не рассчитано на осаду, но ворота — вообще чистая декорация.

— И еще стеклянный подъезд...

— Ну, тут легче: двери не столь уж велики,— сказал Гектор.— Я в этом кое-что смыслю: бывал в Бейруте, в Анголе, в Афганистане... Радио еще работает?

— Передает непрерывно,— сказал шеф.— И будет, пока стоит станция. Ну что же, пора спускаться, джентльмены. По-моему, там уже началась перестрелка.

Куд-да! — подумал Милов, нажимая на спуск.— Вот то-то! Нет, это, конечно, не «калашников», — думал он дальше.— Но для одиночной стрельбы — ничего, годится. А хорошо я устроился. Очень приятный ветерок. Вообще, чудесная ночь. Ночь черного хрустала — так, кажется, говорил тот, в ресторане?

Он находился в том из помещений второго этажа, которое нависало над подъездом со стеклянными дверями. Окно, наклоненное вниз, как и все окна нижней половины Кристалла, было разбито, чтобы удобнее было стрелять; оно доходило до самого пола, и Милов лежал, опираясь на локти. Очередная атака была только что отбита, и нападавшие вновь отступили за бетонный забор, где находились в безопасности от пуль. Менее сотни стрелков защищало Кристалл, но каждый из них находился в своем помещении, и наступающим казалось, что обороняющихся много. Это не на моей совести, — думал Милов, глядя на тело, лежавшее вблизи ворот, ярко, как и все подступы к подъезду, освещенное сильным прожектором — одним из тех, что были установлены по периметру Кристалла в самой широкой его части.— Это на совести тех, кто взбаламутил и послал сюда несчастных дилетантов — они даже по прожектору попасть не могут... Ничего, воевать можно, только — долго ли? Если не будет десанта, наше дело проиграно, это ясно. Хорошо, что станция работает — значит, до нее еще не добрались. А когда доберутся — нам придется куда солонее... Боюсь, что волонтеры пошли именно туда: они-то понимают, что втемную нам куда труднее будет отстреливаться. Хотя — и тогда света будет, пожалуй, больше чем достаточно...

Наверное, света хватило бы, потому что на территории Центра многое уже горело — одно догорало, другое только занималось еще, третье горело вовсю, как будто зданиям надоела неподвижность, полета захотелось, полета — пусть и в виде пламени и дыма, пусть — в последний в своем существовании раз. Горело, выло, шипело, разлеталось густыми брызгами, пламена были где синие, где — зеленые, фиолетовые, желтые, оранжевые, белые — знатнейший получался фейерверк. Ветер дул от реки, и временами горящие куски и клочья чего-то, как бы лохмотья пламени, долетали до подножия Кристалла, догорали и бессильно гасли. Но гигантская глыба хрустала стояла еще неповрежденной, если не считать разбитых окон; в какие-то мгновения Милову казалось, что и Кристалл сейчас расколется, грянет обломками, осколками, дребезгами во все стороны, — то, наоборот, неизвестно откуда возникла вера в то, что — устоит, выстоит, всех

перестоят, будет висеть до той поры, пока правительства всех сопредельных и отдаленных стран не перестанут чесать в затылках и начнут отдавать распоряжения. Но так ли получится или иначе, — думал Милов, используя минуты передышки, одновременно заряжая обоймы, — молодец Ева, что не побоялась улететь. Она-то уж теперь в безопасности, за нее мне не страшно — и поэтому я могу воевать совершенно спокойно. Если уцелею — дома с меня, конечно, три шкуры спустят за вмешательство во внутренние дела чужой страны; но это не чужие дела, это и наши, сейчас все общее, потому что планета стала общей. А вообще — сейчас я не домашний, сейчас я ооновский, и защищаю институт, принадлежащий ведомству, в котором я работаю. Так, вот оно, — подумал он, потому что пол под ним слегка содрогнулся, и прожекторы разом погасли, а за бетонной оградой раздался радостный вой.— Станция конец! Сейчас, сию минуту надо им кинуться — пока мы еще не привыкли к новому освещению. Из-за забора, из темноты — и сразу на штурм дверей. Ага! Вот они! Ну, покажите, какие вы вояки...

Он стрелял, когда ему почудился шорох позади, за спиной, в комнате — не тот глухой стук, с которым врзались в стену влетавшие в окно пули, а именно шорох: кто-то неуверенно пробирался в темноте. Кому-то жить надоело, — подумал он, — или за патронами пришел? Нет уж, самому нужны...

— Эй, ты! — крикнул он.— Ползком двигайся, если уж такой настырный. Чего тебе? Стрелять надо, а не ползать!

— Погоди. Я сейчас.

— Ева?!

Она улеглась рядом. Выпустила очередь. Откуда у нее автомат? Хотя это мой автомат, по голосу узнаю. А патроны откуда взяла?

— Ева, патроны откуда?

— Привезла с собой? Как ты тут ведешь себя? Скромно?

— Кто тебе позволил вернуться?

— Никто не запрещал. Дело я сделала. А летчики тоже люди, и у них здесь товарищи...

— Ну погоди, негодная, я тебе... Стреляй, стреляй!

Наступавшие не выдержали и на этот раз. Откатились. Снова наступила передышка.

— Иди сюда, Ева.

— Зачем?

— Наложу взыскание.

Он поцеловал ее — насколько хватило дыхания.

— Ох, Дан... — сказала она.

— Ты абсолютно распутная, моя любимая женщина, — сказал он.— Без тебя тут так спокойно стрелялось.. Значит, довезла?

— Конечно же.

— Что там слышно?

— Слышно нас. Уже зашевелились. Пока я там возилась с малышами, прошли даже слухи о том, что готовится десант...

— Если бы!

— Но сверху мы видели — люди все еще идут сюда. Пилоты говорят, что это волонтеры.

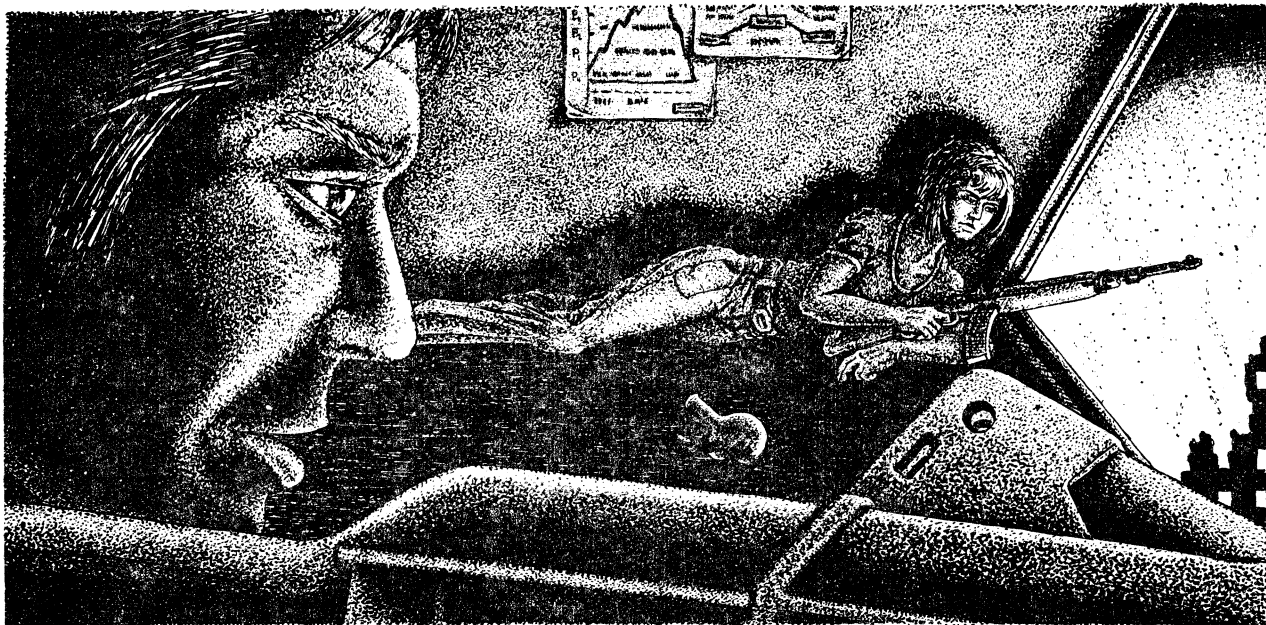
— Далеко они?

— Нет, не очень уже. Знаешь, они не идут, они бегут, и через час-полтора могут оказаться здесь.

— Профессионалы, — сказал Милов.— Против волонтеров нам тут долго не продержаться. Они и вооружены лучше, и, главное — сноровка не та. Так что... Ты смотри: мало получили — опять собираются! Знаешь что, отдай-ка мне автомат, вот тебе карабин, тебе ведь все равно...

— Даже лучше, — сказала она.— Держи. Вот патроны.

— Ну, теперь я кум королю, — сказал он.



Перестрелка длилась несколько минут — и снова впереди опустело.

— Когда придут волонтеры, нечем будет стрелять, — сказал Милов. — На это они и рассчитывают: победить малой кровью. наших, по-моему, поубавилось — большинство ведь тоже воюет на уровне здешних добровольцев. Ты уж, пожалуйста, будь добра, не щеголай геройством, не суйся под пули — тут не дикий Запад. О большем даже не прошу.

— Потому что понимаешь, я ведь и правда не уйду от тебя. Не могу. Когда-нибудь, может, сумею, а сейчас — нет. Ты понимаешь это? Серьезно?

— Знаешь, — сказал он, — после того, что у нас с тобой было, и правда можно, наверное, умирать спокойно: ничего лучшего в жизни не было и не будет. Но — хочешь смеяться, хочешь нет — я все-таки надеюсь на здравый смысл человечества. Если даже где-то в правительствах сидят дураки или рохли, то не обязательно же на смену им должны прийти фашисты: бывает, что возникают и умные... И вот я надеюсь, что они успеют. Они должны успеть, понимаешь?

Ева не успела ответить: снова началась атака. Милов бил прицельно, короткими очередями. Он видел, как падали люди, и ему было жаль их, но он знал, что иначе нельзя.

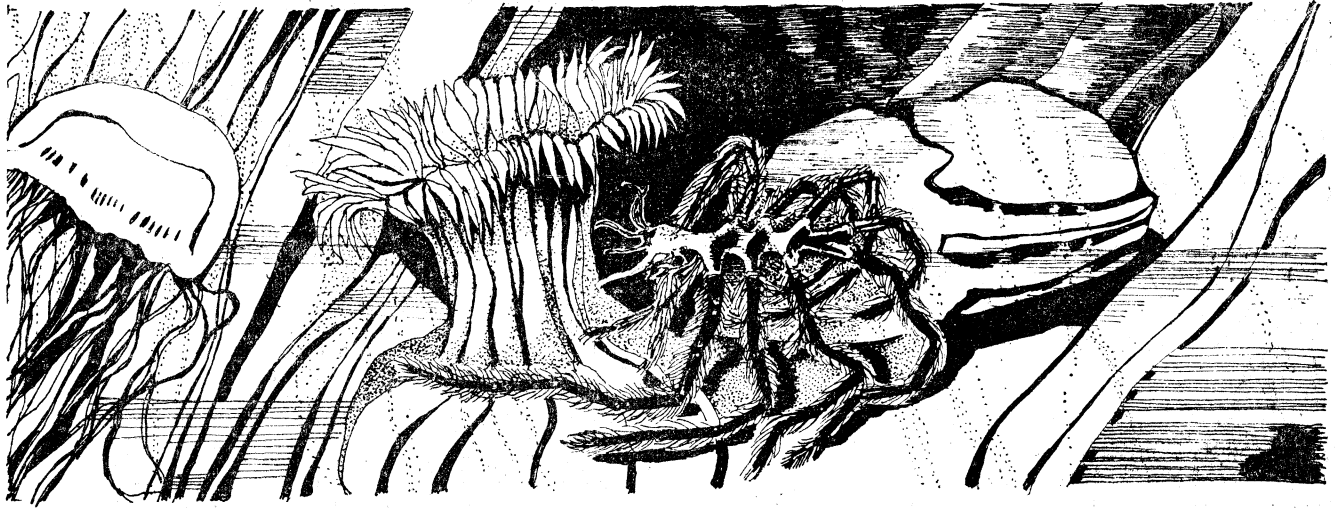
Они там, в мире, должны помнить, — думал он. — Ради всех любимых женщин, ради всех детей, которые должны дышать — они там, везде, должны понять. И должны успеть сделать все, пока еще не стало поздно. Пока вместо них это не начнут делать другие — в своих интересах. И у себя дома должны успеть, и тут тоже. Должны успеть! — думал он, нажимая на спуск. — Должны успеть! Должны успеть...

АЭЛИТА-89 в оценке читателей

Предложив читателям оценить по пятибалльной системе нашу прошлогоднюю фантастику, приводим результаты опроса.

Обработано 400 открыток и писем, полученных редакцией к концу апреля. Среднего балла мы не выводили — ни для отдельных произведений, ни для «Аэлиты-89» в целом. Повторяем оглавление годового комплекта; в скобках после каждого названия дано общее количество оценок, а следом — разбивка по баллам: от «пятерки» до «единицы».

1. В. Малов. Под Солнцем Матроса Селкирка (400: 94, 189, 99, 12, 6).
2. А. Больных. Видеть звезды (398: 220, 133, 31, 11, 3).
3. А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Жук в муравейнике (399: 137, 155, 79, 13, 15).
4. А. Ульяновский. Колесо (398: 17, 87, 185, 49, 60).
5. Н. Копылов. Невидимки (397: 14, 75, 170, 63, 75).
6. Л. Арабесков. Конкурс мистера Гопкинса (395: 7, 45, 167, 79, 97).
7. С. Другаль. Язычники (399: 182, 141, 57, 10, 9).
8. В. Васильев. Садовая, 7 (400: 77, 151, 123, 24, 25).
9. Л. Смирнова. Багровые пятна (398: 29; 101, 157, 82, 29).
10. Т. Титова. Было море звезд (397: 40, 123, 138, 69, 27).
11. Н. Резанова. Вид с горы (394: 54, 136, 134, 41, 29).
12. Н. Леонов. Некролог (398: 34, 89, 137, 76, 62).
13. Ю. Блохин. Банзай (396: 45, 110, 141, 57, 43).
14. П. Калмыков. Школа мудрых правителей (398: 143, 100, 75, 22, 58).
15. А. Фисенко. Счастье (397: 21, 97, 122, 86, 71).



**Александр
ХАКИМОВ**

Рис.
Дмитрия
Лебедихина



МОРСКОЙ ПАУК

Было время отлива. Вода Татарского пролива отступила, подчиняясь лунному притяжению, и прибой бился далеко от берега, метрах в ста. Морское дно обнажилось: открылись зеленые острова водорослей, где обитатели моря сомкнули створки раковин, зарылись в песок, втянулись в норки. Они ждали, когда море вернется. Зато там, где осталась вода, жизнь продолжалась.

Устроившись в центре огромной лужи — этаким естественном аквариуме, — я склонился над актиниями. Актинии — удивительные животные, больше похожие на причудливые цветы. Одним концом они сидят на камне или раковине, на другом конце — рот, окруженный венчиком щупалец. Эти «цветы» чаще всего растут колониями, происходят почкованием от одной прародительницы.

Я наблюдал за охотой актиний. Их щупальца мгновенно схватывали мелкую живность и, парализовав ее ядовитыми крапивными нитями, отправляли в выпячивающуюся глотку. На моих глазах в хищные щупальца угодило немало добычи. Но и на актиний есть охотник...

На одной из актиний я заметил морского паука.

Это было самое приятное существо из всех, мною виденных. Тело его малюсенькое, зато ноги — огромны, восемь очень длинных, толстых, многосуставчатых ног. В них находятся отростки кишечника, который не вполне умещается в миниатюрном тельце. Вопреки названию, морские

пауки не имеют ничего общего с обычными пауками, разве что внешний вид и восьминогость (есть, правда, морские пауки с десятью и даже двенадцатью ногами). Ученые назвали этих животных пантоподами, что значит «многоколенчатые», и, по моему, правильно: они как бы составлены из множества члеников, суставов, коленец... Морской паук, на которого я сейчас смотрю, тоже был таким. А назывался он, как я помнил, нимфон. Полосатый нимфон. Он действительно был полосатым, вернее, его ноги. Это потому, что сквозь покровы ног просвечивал кишечник с полупереваренной пищей.

Я нашел в своей корзине пустую стеклянную банку, зачерпнул воду вместе с морским пауком и поднес банку к глазам.

Нимфон упал на дно склянки, растопырив свои многоколенчатые ходулы. Достигнув дна, он забегал по нему, но вскоре затих.

Теперь я прекрасно видел его сбоку. Помимо ног обнаружился: едва заметное тельце, голова с хоботком, четырьмя глазками и парой шевелящихся щупиков, похожих на усики насекомых, пара клешней. Помесь паука и рака. Ракопаук. И теперь была видна еще одна пара ног, длинных и тонких, торчащих из-под головы нимфона. И к каждой из этих ножек — у самого основания — прилеплено по два шаровидных комочка. Это были яйца морского паука, будущее потомство, которое он всегда носит с собой. Я прики-

нул — сейчас июнь; где-то через месяц из яиц выведутся личинки. Они привяжутся к родителю паутинными нитями (вот еще одно сходство с обычными пауками!) и станут расти, не покидая его. И пойдет бродить морской паук (папаша, между прочим!), густо обвешанный своими морскими паучатами.

Не всякого пантопода можно посадить в банку. Есть куда крупнее нимфона. Особенно крупны глубоководные морские пауки. А в морскую пучину они проникли до семикилометровой глубины. Кормятся же эти многоколенчатые создания Природы соками губок и актиний. Кстати, именно от этого занятия я оторвал моего нимфона.

Он не был мне нужен. Опустив банку в воду, я перевернул ее. Морской паук выпал из банки и стал медленно погружаться.

Перебирая конечностями, нимфон пошел по морскому дну, ощупывая дорогу перед собой усиками. Так он шагал, пока на его пути не оказалась колония актиний. Щупики нимфона дотронулись до ближайшей, пробежали по венчику. Тут же морской паук ухватил актинию клешнями и вбуравил в нее свой хоботок.

Вот и конец морскому хищнику, похожему на цветок! Минут через десять-пятнадцать нимфон основательно высосет актинию — у него глотка что твой насос — и станет переваривать ее в своих ногах...

Я решил ему не мешать.

г. Баку



ПРАЗДНИК ДЕТЯ КРАСНОГО

Александр РЫЖОВ

Павел Петрович Бажов называл Урал золотой копилкой фольклора. Это относится и к Зауралью — настоящему заповеднику русской песенной культуры, где и до сего дня сохранились уникальные образцы народного творчества.

В XVII веке Зауралье заселялось преимущественно крестьянами из европейского Поморья, а в последующие годы — из губерний Средней полосы России и юго-западных областей, а также Украины и Белоруссии.

В далекую древность уходят корни календарных народных праздников и обрядов. В них — забота об урожае, мечта об изобилии. Люди верили: чем веселее гулянье, тем богаче будет урожай.

В 1981 году в городе Кургане возрожден новый праздник — проводов весны и встречи лета, древней основой которого является календарный праздник «семика». Основа семицкой обрядности — культ расцветающей растительности, а символом праздника народ сделал березку. Еще в начале века семик был одним из самых любимых летних праздников сельской молодежи. В день праздника девушки и молодые женщины ходили завивать венки. Они собирались группами в разных концах села и с песнями направлялись в березовый лес. По пути часто останавливались у домов односельчан, исполняли песни, частушки, скоморошины, а молодые девушки, наряженные цыганками, выпрашивали яйца, сдобу, пиво...

В березовой роще взору представлялась удивительная картина: на фоне бущущей молодой зелени — девушки в ярких «матерниках», в файшонках, с разноцветными шальями на плечах, с лентами в косах. И песни, песни, песни...

Ишо седни у девушек праздничок,
Да и люли, вы и люли, люли.
Что(й) семик-от чесной, семик праведной,
Да и люли, вы и люли, люли.
Ты не радуйся, сосенка,
Не к тебе мы идем,
Да и люли, вы люли, люли.
Уж ты, белая березонка, радуйся,
Да и люли, вы и люли, люли.

У праздников — свои имена. Этот называется «Праздник лета красного». Как правило, он проводится в начале лета и приурочивается к заключительным показам областных фестивалей, праздников и конкурсов фольклорного творчества Зауралья. Он полюбился и стал традиционным не только в Кургане, но и в других городах и районных центрах области.

Народные исполнители из села Чернавское Притобольского района показывают, как в старину отмечался праздник завершения весенних работ и встречи лета. Мудро было выбрано время. Страда весенняя закончена, есть пауза до сенокоса. Можно повеселиться, набраться сил для новой страды до самой осени.

Один из самых интересных фольклорных коллективов — из села Глядянского того же района, восстановивший и с большим успехом показывающий некогда бытовавшие в Притоболье святочные игрища. Словно повернув время вспять, попадает зритель на праздник в старую зауральскую деревню. Тут и мужики в рубахах навыпуск, подпоясанных красными кушаками, в картузах и хромовых сапогах, с расшитыми кружевными портянками навыпуск, и «сударушки» в старинных юбках с оборками. Они не выступают, не играют, не вспоминают, они живут на сцене.

Другой фольклорный коллектив из притобольного села Ялым восстановил яркое, красочное представление «Ялымская свадьба», которое было показано в Москве и Ленинграде. Ялымцы стали дипломантами ВДНХ СССР. Бывший председатель колхоза в селе Ялым Иван Константинович Попов не только умелый и опытный организатор, но и талантливый, виртуозный музыкант-балалаечник, много сделал для пропаганды Ялымского фольклорного ансамбля, состоящего из замечательных песенниц, добивается, чтобы их дар передавался молодежи.

Ленинградский режиссер С. Овчаров снял музыкальный фильм по мотивам русского фольклора «Небывальщина». Стояла трудная задача: на исходе XX века найти не тронутый временем фольклор. Искали в отдаленных деревнях Севера, Центрального Нечерноземья, Урала. Нашли в Притобольном и Шатровском районах Курганской области. Особенно блеснул самобытностью коллектив из села Яутла Шатровского района. Вот что пишет об этом режиссер С. М. Овчаров: «Курганцы не только снимались, они записывали свои песни и частушки на звуковую пленку. Композитор фильма Игорь Мациевский, ученый-фольклорист, порадовался их врожденной профессиональности, гибкости и «откликаемости» на самые неожиданные, непривычные музыкальные задачи». Во время съемок яутлинцы дважды выступали со своей программой в Доме Ленинградского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, в институте театра, музыки и кинематографии и имели огромный успех. Яутлинцы пели прогосные песни: «Долинушка ты, долина», «Жил-был во Франции богатенький король», «Сырой бор горит», святочные «Ты шкатулка, шкатулка моя», «Вечерняя капустка», колыбельные. Вот один из отзывов музыковеда-фольклориста Е. Разумовской: «Фольклорный ансамбль села Яутла — явление редкое и выдающееся для нашего времени. В его репертуаре сохранились уникальные образцы развитых лирических многоголосых песен. В них поражает свободное «цветное» соединение голосов, яркость тембров, разнообразие мелодических линий... свадебные, святочно-игровые и колыбельные песни — яркие свидетельства богатства местного традиционного фольклора».

Фильм «Небывальщина» на всех трех просмотрах в Кургане, Ялыме и Яутле был встречен восторженно, с радостью и даже с гордостью за своих односельчан-артистов.

По традиции каждый фольклорный праздник, посвященный проводам весны и встрече лета, заканчивается подведением итогов и награждением участников. Звучат последние куплеты, замолкают балалайки и гармони, девушки опускают на воду березовые венки. Прощай, праздник, до новых берез, до новой июньской зари, до новой травы!

Какое будущее у этого праздника? М. Г. Екимов, большой энтузиаст фольклора, видит его так: «Хотелось бы, чтобы, как и «Проводы русской зимы», «семик» («Здравствуй, лето красное») проводился не только в областном и районном центрах, но и в деревнях, у истоков фольклора».

На вкладке фото автора





ПРАЗДНИК ЛЕТА КРАСНОГО

Зауральский родничок. Поэт Светлана Безгодова

В конце праздника девушки бросают венки на воду.





штейн, многие деятели культуры. Мэр Нью-Йорка Джеймс Уокер встречал там прибывшего художника: «Приветствовать профессора Рериха в Америке является для города Нью-Йорка большой честью... Вы принадлежите этому городу, как вестник объединения человечества... Вы всегда стремились установить братство и взаимопонимание среди народов всего мира...»

В Гималаях (Кулу) в 1928 году им основан институт под названием «Урусвати». Там были развернуты исследования по истории Азии, ее искусству, по охране биосферы, в области медицины и ботаники. Изучалась, как одна из важнейших, и проблема повышения урожайности, проводился отбор засухоустойчивых растений. Обрабатывалось множество коллекций, гербариев, проходил обмен научной информацией с ботаническими садами и заповедниками Европы и Америки.

Был налажен регулярный обмен информацией с ВИРОм — Всесоюзным институтом растениеводства,

НА ТРОПАХ МАНЬЧЖУРИИ

Фото
из семейного архива

«Научились ли вы радоваться препятствиям! — какое мощное сознание звучит в этом бодром призыве!»

Н. К. РЕРИХ. «Сердце Азии»

Эдуард МОЛЧАНОВ

Осенним вечером, когда мокрый снег бинтовал асфальт, тренер Алексей Андреевич Костин принес в шахматный клуб Свердловского Дома офицеров старую фотографию... Мало ли снимков хранят люди в альбомах и показывают от случая к случаю друзьям? Но этот, пожалуй, может считаться раритетом не только семейным...

В просторной Маньчжурской степи, покрытой пожухлой от солнца и ветра травой, остановились трое по-походному одетых мужчин и загорелый местный подросток. Один из группы, седебородый, с чуть откинутой дорожной тростью в правой руке, — узнаётся сразу. Его считали мудрецом, ведающим сокровище от обычных людей. Пока были силы, не мог он жить без странствий.

Тысячи картин, тысячи статей, тысячи пройденных километров. Пакт, получивший название от его имени, был разработан специалистами международного права и одобрен Лигой наций в 1930 году. Зна-

чение этого пакта для международного сотрудничества отмечал президент Соединенных Штатов Америки Франклин Делано Рузвельт.

...На фотографии у путешественника эпически спокойный лик, какие можно встретить у горцев или степняков, несколько отрешенный, усталый взгляд. Взгляд, о котором даже ходили легенды, что обладает он чудодейственной силой, достаточной, чтобы успокаивать и исцелять душевные раны людей и оживлять увядшие растения.

...«Плотный, подвижный, русский каждым словом своим, мыслями, улыбкой, но в глазах его, живых и смеющихся, чуть раскосых, в широких скулах проглядывает след азиатской крови», — так писал по возвращении его из многолетнего Центральноазиатского путешествия известный среди русского зарубежья литератор Лев Любимов.

В Новом Свете был открыт музей картин русского художника. Почетными членами музея стали Рабиндранат Тагор, Альберт Эйн-

которым руководил в те годы Николай Иванович Вавилов. Великий ученый, путешественник, собиравший образцы растений в Афганистане и Корее, Южной Америке и Абиссинии, он считал гималайские районы одними из интереснейших. В письмах Вавилову Рерих дружески общал сведения о растительности Гималаев, посылал материалы. Они, очевидно, были использованы и в рукописи той последней книги, которую писал Вавилов, уже находясь в заключении, и которая вместе с автором так и не вышла из тюремных стен.

Далеко не однозначным было на Родине и отношение к самому художнику.

«Полукоммунист, полубуддист», — так отзывался о нем ленинский нарком по иностранным делам Г. В. Чичерин, приняв в дар книги и ларец с землей, взятой с могил великих мудрецов Индии. Но Чичерин знал художника еще по Петербургскому университету и оказывал ему всемерное содействие.

Ценил Рериха и Горький. Еще в 1917 году, при Временном правительстве, они вместе работали в Комиссии по делам искусств, созданной Петросоветом. Когда же «буревестник» вернулся в Россию из Сорренто и ему были переданы картины Рериха, «писатель № 1» говорил о них теперь лишь так: «Любопытные вещи»... И картины поместили в столовой.

Внешне расположение к творчеству Николая Константиновича проявлял всеяльский Луначарский. Однако в 1926 году организовать выставку картин художника в Москве не удалось.

В глазах властей автор картин продолжал выглядеть руководителем организованной на американские средства некоей непонятной экспедиции, прошедшей к тому же через английскую Индию и китайский Синьцзян, а короче говоря, не имеющих советского подданства.

С тревогой всматривался в новую Россию и Николай Константинович, наблюдая, как методично уничтожают памятники культуры, чинят помехи научным исследованиям. В самой готовности сдвинуть горы, повернуть вспять реки, покорить тайгу и стерилизовать память народную — не заключалось ли стремление, чтобы тайна возникновения некой лихой силы была погребена навеки? Это он разглядел.

Не существовало для него раскалывающего нацию постулата о двух культурах на родной земле, о борьбе двух наук, о гегемонии соцреализма. Настоящая литература и живопись никогда не считались лишь «зеркалом жизни».

«Что бы ни происходило в мире, какие бы ни наступали потрясения, но летопись культуры должна протекать неприкосновенно. Истинные ценности человечества должны быть не только охранены, они должны быть рассказаны со всею справедливостью и обоснованностью. Ведь не нуждаемся в легковесных восторгах и не заслуживаем несправедливого, неоснованного оплевывания. Каждое приближение к русскому искусству, начиная от его древнейших периодов, для внимательного исследователя даст необыкновенно разнообразный и увлекательный материал.

Об искусстве ли думать?! Да, да, именно об Искусстве и Культуре нужно думать во все времена жизни, и в самые тяжкие. Во всех условиях нужно хранить то, чем жив дух человеческий».

Это было сказано им более полувека тому назад и выдержало испытание временем. Эхо услышалось нынче и в «Правде», сообщившей 11 октября 1989 года, что возвращен Рериха наконец находят у нас «благогатную почву и развитие». Создана ассоциация «Мир через культуру». В Москву съехались писатели, фило-

софы, общественные и религиозные деятели разных стран, чтобы принять участие в ее работе. Рериховское Знамя Мира (три красных круга, заключенные в красную окружность на белом фоне, — символ прошлых, настоящих и будущих достижений человечества в потоке Вечности) было поднято на конференции «Мир через культуру».

Но вернемся к выцветшему снимку из фамильного архива.

Кто же спутники Рериха?

Датируется фотодокумент 1935 годом. Тогда вместе с сыном Юрием Николаевичем художник отправился в новую научную экспедицию — морским путем в Китай через Филиппины и Японию. Затем путь уводит их во внутреннюю Монголию, в Маньчжурию.

Неизменного спутника отца, известного ученого-востоковеда, знатока многих языков Юрия Николаевича Рериха на этой фотографии нет. Он сам вел фотосъемку. Однако в двух шагах слева от художника стоит еще один Рерих — Владимир Константинович, младший брат. С детских лет он, как свидетельствуют биографические источники, увлекался сельским хозяйством, ухаживал за конем, — деловое начало было свойственно Рерихам.

Судьба распорядилась так, что впоследствии он стал офицером. В дни Октября, когда художник находился на лечении в городке Сорвала (Финляндия), Владимир Константинович оставался в Петрограде с матерью и сестрой. Он был очевидцем, но не участником революционных событий, считал невозможным нарушить присягу, примкнуть к восставшим. Но — «кто не с нами, тот против нас» — с такими не церемонились.

...В Харбине, столице русской эмиграции на Дальнем Востоке, его знали многие. Владимир Константинович стал помощником брата, в Маньчжурской степи на нем держались все хозяйственные дела экспедиции. Этот стройный, не утративший офицерской выправки немногословный человек в защитном френче, перепоясанный армейским ремнем, в галифе и высоких сапогах, был неутомим, склонялся над камнями и травами, собирал и упаковывал коллекции минералов, засухоустойчивых злаков и растений, залечивающих раны и болезни. Оторванный навсегда от Родины, он продолжал нести свой тяжкий крест, походную службу.

Каким образом попал на Урал редкий снимок?

Этим мы обязаны Алексею Андреевичу Костину и его покойному брату — Анатолию (на снимке он стоит плечом к плечу с Владимиром Константиновичем, держа в руках саперную лопатку и кожаный футляр с каким-то прибором).

Родился Анатолий в 1911 году в семье железнодорожного служащего. После окончания гражданской войны попал вместе с родителями в Китай. В Харбине отец работал в управлении КВЖД. Немало сил родители приложили, чтобы дать сыновьям образование. После окончания местной гимназии Анатолий учился в Институте ориентальных наук (высшее учебное заведение, созданное в городе русскими эмигрантами). Позднее поступил туда и Алексей.

Испытывали ли они ощущение неполноценности, неравенства по сравнению с другими, живущими в Китае, и коренным населением?

Харбин и Шанхай были особыми городами, русские эмигранты жили там отдельно от китайцев и не считали себя «людьми без национальности». «Здесь шумят чужие города, и чужая плещется вода, и чужая светится звезда», — пел эмигрантам одну из самых популярных своих песен Александр Николаевич Вертинский, мечтая о возвращении на Родину. Надеялись на это и в семье Костиных, грехов на родной земле за ними не было.

Будучи любителем природы, Анатолий вступил в созданное русскими же эмигрантами Общество изучения Маньчжурского края, в котором состояли служащие КВЖД, студенты и сотрудники политехнического, педагогического, юридического и ориентальных наук институтов. Экспедиционно-изыскательские работы на станциях Ашихэ, Маозршань, Эрдзяндзянцзы, Барим (на восток и на запад от Харбина) позволили ему зарекомендовать себя в качестве способного востоковеда и ботаника, что открывало путь в правление общества. Статьи Анатолия Андреевича о флоре и фауне Маньчжурского края привлекли внимание председателя общества профессора Авенариуса и были опубликованы в научной периодике.

Председатель общества, вероятно, в ответ на просьбу прибывшего в Харбин Н. К. Рериха и рекомендовал пригласить в экспедицию молодого дипломированного востоковеда. Однако маршруты исследований вызвали подозрение японцев (их войска занимали тогда Маньчжурию), и работы экспедиции в районах, прилегающих к КВЖД, в 1936 году прекратились. Эти обстоятельства снова привели Н. К. Рериха на берега реки Бнас, к подножию Гималаев, где продолжалась творческая и научная деятельность.

Судьба же его молодого коллежского сотрудника имела далеко не во всем благополучное продолжение. Он остался в Маньчжурии. Выбора почти не было. Поскитавшись в поисках работы, Анатолий Андреевич нашел место бухгалтера-экономиста в фирме «Торговый дсм И. Я. Чурина и К^о»

(совместное русско-китайское коммерческое предприятие, экспортировавшее в Европу чай, рис, сою, пушнину и даже фазанов).

В годы второй мировой войны Анатолий Андреевич совместно с братом, переехавшим для работы в страховой компании в Шанхай, установил связи с «Союзом возвращения на Родину». После разгрома Советской армией Квантунской группировки японских войск и освобождения северного Китая возвращение в Россию состоялось, однако для старшего из братьев Костиных не так, как он предполагал.

Две «пятiletки» пришлось ему отбухать на «ударных северных стройках» в зоне Ивдельлага и на приисках Красноярского края. В этих обстоятельствах, возможно, фотодокумент, о котором наш рассказ, мог сыграть в глазах чекистов того времени роль доказательства в «деле» Анатолия Андреевича (существовал снимок, конечно, не в единственном экземпляре, и его предъявляли арестованному). Ну как же, налицо сотрудничество с офицером-эмигрантом, общение с художником, которого даже позднее, в те годы, когда автор этих заметок учился в университете, клеймили на лекциях как непротилвенца-мистика, коварного перебежчика и твердолобого буддиста. Да разве в реальных основаниях было дело?

Вряд ли могли простить вдохновители и поборники разного рода «великих переломов» то, что писал Н. К. Рерих в 1937 году: «Напрасно невежды будут уверять, что мир Тагора и Толстого утопичен. Трижды неправда. Какая же утопия в том, что не нужно убивать и разрушать? Какая же утопия в том, что нужно знать и напитывать все окружающее просвещением? Ведь это все вовсе не утопия, но сама реальность. Если хотя бы в отдельных притушенных искрах не проникал в потемки земной жизни свет красоты, то и вообще жизнь земная была бы невысказима».

...В 1956 году Анатолий Андреевич Костин был, наконец, освобожден с полной реабилитацией. Осмотрелся, махнул рукой на большие города и переехал в Хакасию. В поселке Абаза коротал век с женой и дочерью. Не удалось этому талантливому русскому человеку, так удачно начавшему в экспедиции Н. К. Рериха научную стезю, продолжить ее. Все же и на закате дней своих следовал он, думается, совету встреченного в юности великого наставника: «Припадай к земле, мы слышим. Земля говорит: все пройдет, потом хорошо будет. И там, где природа крепка, где природа не тронута, там и народ тверд без смятения».



«БЕЛЫЕ ПЯТНА»

ИСТОРИИ

Владислав
ДЕБЕРДЕЕВ

Ф-1: ЗНАКОМЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

Про него говорили: «Это же феномен в авиации, он будет последним бипланом в мире». Авторы подобных высказываний ошиблись: после его рождения появилось и поднялось в небо немало летательных аппаратов с «правыми и левыми полукоробками несущих плоскостей». Но в одном авиасракулы оказались правы. Крылатая биография самолета Ф-1 стала поистине феноменальной. Вот уже более сорока лет он (правда, в несколько модифицированном виде) верно служит народному хозяйству нашей страны.

Знатоки, историки авиации, пожалуй, удивленно и даже возмущенно воскликнут: «Что это еще за зверь — самолет Ф-1, и с чем его едят? Мы такого не знаем!» Не будем дальше интриговать читателей.

Речь идет о нашем старом знакомом — биплане Ан-2. Ф-1 — так окрестил свое детище в его еще «утробном» развитии, то есть на стадии пресекторирования, родитель этой первой своей машины Олег Константинович Антонов.

Прославленный впоследствии конструктор, родоначальник многочисленного семейства АНов, в годы войны был заместителем у А. С. Яковлева и работал в Новосибирске. Тогда Антонов и начал создавать свое КБ (опытно-конструкторское бюро), и первенцем молодого творческого коллектива стал самолет-биплан, получивший кодовое наименование «изделие Ф-1».

Это была военная модификация нынешнего небесного долгожителя. Ф-1 проектировался и создавался как самолет-разведчик. И поэтому от теперешней своей ипостаси отличался прежде всего тем, что в месте перехода верхней части фюзеляжа в киль была расположена обтекаемая каплевидная застекленная кабина стрелка-радиста.

Первые с этой машиной мне довелось познакомиться в 1944 году, когда учился на втором курсе Новосибирского авиационного техникума. Тема моей курсовой работы была: «Технологический процесс сборки каркаса верхнего крыла изделия Ф-1». А через полтора года (это было уже осенью 1945 г.) нас, группу учащихся, направили в ОКБ О. К. Антонова на практику.

В то же время самолет Ан-2, теперь уже в привычном нам гражданском варианте — поскольку война кончилась, проходил статические испытания. В частности, мне довелось быть свидетелем того, как на специальном стенде в одном из цехов завода «рвали» фюзеляж первенца антоновской серии.

На самой испытательной площадке находилось лишь несколько человек. А мы, «посторонние зрители», наблюдали этот ответственный момент метров с тридцати. Хорошо помню, что когда росла статическая нагрузка, приближаясь к критическому пределу прочности, Олег Константинович внешне оставался совершенно спокойным. И только его лицо выдавало сильнейшее внутреннее напряжение: оно было таким же белым, как и перкалевый халат отца рождавшегося «в муках» авиамладенца.

Двукрылый младенец родился крепышом, умельцем. Как показала вся его дальнейшая летная жизнь, у него богатая гамма профессий: воздушного такси и «химик», «скорая помощь» и «пожарник», «геофизик» и... и... Словом, и швец, и жнец.

Уже пятый десяток лет знакомый незнакомец Ф-1, он же Ан-2, несет бессменную вахту в небе страны. И поскольку достойной, равноценной ему замены пока не предвидится, — кто знает, может быть, и в самом деле эта машина окажется «последним из могикан» славного когда-то племени бипланов...

ВЕРИТЬ ЛИ ВЕРЕ ПРОКОФЬЕВНЕ?

НА ГРАНИ
ФАНТАСТИКИ

Рис. Дмитрия Лебедихина

Павел ПЕТУХОВ,
доктор технических наук

За рубежом создана наука — уфология, которая изучает неопознанные летающие объекты. Их исследуют в США, Франции, Японии и Китае. Наша страна отстала в изучении НЛО, как это было в свое время с кибернетикой и генетикой...

В прошлом году при Совете научных и инженерных обществ ВЦСПС создан Комитет по проблемам энергоинформационного обмена в природе во главе с академиком В. Казначеевым. При этом комитете — уфологическая комиссия, ее возглавляет кандидат технических наук В. Г. Ажажа. Комиссия координирует работу многочисленных организаций и энтузиастов, систематизирует факты появления НЛО в разных областях нашей страны и просит присылать ей описания наблюдений или контактов с НЛО по адресу: 119034, Москва, Курсовой проулок, 17, Комитет по ЭОИ в природе, уфологическая комиссия.

По зарубежным данным, НЛО наблюдали на Земле уже несколько тысячелетий. Видели НЛО до 100 миллионов человек, а количество их насчитывает 100000 единиц. Однако не все НЛО — НЛО...

В газете «Известия» 23 сентября 1977 года появилась заметка под названием «Неопознанное явление природы». Жители г. Петрозаводска ранним утром увидели огромную «звезду», посылавшую снопы света. Звезда-«медуза» медленно плыла к городу. В действительности это был искусственный спутник Земли «Космос-955, запущенный с космодрома Плесецк в Архангельской области. «Медуза» образовалась за счет освещения солнечным светом газопылевого облака, создаваемого двигателями ракеты-носителя.

Но есть ли доказательства того, что инопланетяне посещают Землю? Обратимся к экспозиции НЛО на ВДНХ. Кроме многочисленных фотографий, здесь приведены два факта...

Летом 1976 года рабочие из поселка Ертом (Коми АССР) нашли у реки Вашка беловатый обломок металла величиной с кулак. Рабочие заметили, что при ударе обломок искрит. Находку исследовали в НИИ. Оказалось: цезия в металле 67,2 %, лантана — 10,9 %, неодима — 8,78 %. Есть небольшое количество железа и магния, урана, молибдена и других элементов. Сплав — искусственного происхождения? На Земле цезий и лантан встречаются редко и отдельно. По продуктам распада элемента тория сплав, из которого получен обломок, не более 30 лет. Он имеет следы обработки, а «деталь», из которой этот обломок, походит на колесо. Сплав получен, по-видимому, методом прессования под огромным давлением. Однако на Земле нет еще таких мощных прессов. Вывод: «деталь» сделана инопланетянами.

В Приморском крае 29 января 1988 года многие жители г. Дальнегорска наблюдали пролет над городом неизвестного летательного аппарата, затем потерпевшего аварию. Специалисты обнаружили его остатки. Сплав, из которых они изготовлены, не имеет аналогов. Этот металл можно условно назвать «сеточкой» — своего рода металлическая губка.

Исследования показали, что в металле проложены нити из кварца диаметром 17 микрон, внутри которых помещены золотые проволочки...

Неопознанные летающие объекты имеют различные формы. В газете «Советская культура» представлено 32 формы конструкций этих летательных аппаратов («тарелки», «диски», «шары», «цилиндры» и др.). Скорость их движения достигает 16 тысяч километров в час, причем стартуют они без разгона и останавливаются мгновенно. НЛО могут совершать разнообразные движения, в том числе менять мгновенно направление полета на 180 или 90°. Положим, что скорость НЛО будет меньше 16 тысяч, а только 3600 км в час. Тогда НЛО имеет скорость 1 км в сек. Допустим, что время мгновенной остановки НЛО составляет 0,1 сек. Тогда его ускорение равно тысяче земных ускорений. А как хорошо известно, если ускорение человека, допустим, космонавта, равно трем ускорениям, то его вес возрастет в три раза. Большого ускорения человеческое тело не может выдержать, так как могут нарушиться физиологические функции (сжатие мозга, отлив крови из тех частей тела, которые находятся ближе к цели полета). Поэтому тела космонавтов всегда расположены перпендикулярно направлению движения ракеты во время ее разгона. Следовательно, НЛО в своем движении не подчиняется закону инерции Ньютона, ибо ни один металл, из которого изготовлен НЛО, не может выдержать силы инерции, превышающей в 1000 раз вес его конструкций.

На Западе создана общественная организация «Икуфон» — межконтинентальная связь по исследованию и анализу галактических кораблей. Она собрала книгу наблюдений за НЛО, составленную из рассекреченных документов, хранящихся в ряде государств и военных организаций. В ней приводятся также сведения о контактах НЛО с людьми.

Так, двое человек, находившихся на крыше крепости в США, получили ожоги третьей степени при пролете «огромного оранжевого светящегося диска». Врачи считают, что ожоги произошли от ультрафиолетового света.

Фермер Анессно Бермудес из провинции Анолейма в Колумбии 4 июля 1969 года подал сигнал карманным фонариком пролетавшему над ним серебристому объекту. Аппарат ответил вспышкой света, 6 июля Бермудес в тяжелом состоянии был госпитализирован и умер от поражения гамма-излучением.

5 июня 1979 года японский истребитель «Фантом», посланный на перехват красно-оранжевого дискообразного объекта, был сбит.

Рассмотрим контакты граждан СССР с инопланетянами.

Киевлянка Вера Прокофьевна с подругой Александрой Степановной и шестилетней дочерью 4 июля 1989 года в сумерки подошли к Днепровской протоке Киевского гидропарка. Там они увидели лодку с тремя существами. На них была серебристая одежда, и они были одинаково бледными, с длинными волнистыми волосами русо-золотистого цвета. «Мы у них спросили — вы туристы? Они на

русском языке с каким-то старинным акцентом ответили: «Мы приехали с другой планеты. Где наша планета? Это вашему разуму непостижимо. Когда будете такими, как мы, узнаете. Мы каждый день берем одного человека с Земли к себе. И вас тоже возьмем. Здесь рядом наш корабль». Они нас повели к кораблю. Мы хотели кричать, но сил не было, нас притягивало, как к магниту. Когда они смотрели на нас, по всему телу словно иголочки покалывали. Корабль походил на огромную бочку, сверху — круглая антенна. Мы стали их просить нас не брать. У нас семьи, дети. Они нас отпустили». Вера Прокофьевна повторила свой рассказ перед видеокамерой. Возможно, женщинам все это могло быть введено в сознание.

Есть ли контакты землян с Космосом? По нашему мнению, есть. 24 декабря 1989 года, в канун Рождества, в телепрограмме «7 дней» был показан сеанс передачи энергии жителям нашей страны экстрасенсом Геллертом из Англии. Цель передачи — исправление хода часов любых типов и марок. До сеанса наш корреспондент из Лондона попросил телезрителей достать сломанные часы и положить их перед экранами телевизоров. Экстрасенс произнес фразу о том, что часы должны пойти. И что же? 7 января корреспондент московского телевидения сообщил о том, что на телевидение пришли тысячи телеграмм, в которых сообщалось о фактах исправления часов. Он попросил заранее, чтобы телезрители подготовили снова неисправные часы для сеанса Геллерта, уже 7 января. Действительно, этот экстрасенс попросил через нашего корреспондента в Лондоне, чтобы мы сказали слова: «Часы должны пойти». И в Свердловске, и в других городах области жители сообщили об исправлении хода часов.

Какой же энергией пользуется экстрасенс Геллерт при нахождении полезных ископаемых, починке сломанных часов и при остановке хода знаменитых лондонских часов Биг-Бен? Ответа ученые на это не дают. Но чудо ли способность Геллерта производить невероятные эксперименты? Может быть, и не чудо. Если предположить, что экстрасенс Геллерт пользуется космической энергией...

Чтобы прояснить наши предположения, приведем данные о Ванге — болгарской прорицательнице. У нее побывали десятки людей с мировыми именами. Все они уходили от старой незрячей женщины потрясенными. Она видит конкретные лица, хотя и слепая. Она видит будущее какого-либо посетителя, как на кинолентке, и «читает» его мысли вне зависимости от расстояния. Языкового барьера у нее нет. Она говорит, что дар ясновидения запрограммирован высшими силами, от которых слышит «голос». Эти силы — прозрачные фигуры, как бы тени на воде.

Ванга может входить в контакт с этими силами по своему желанию, но чаще — по их. С ее точки зрения, человек состоит из нескольких взаимосвязанных сил — эфирных, физических и умственных. Она «видит» умершего человека и слышит его.

Ванга утверждает, что существуют объединения с более высоким уровнем знания, чем людские. Человеческая цивилизация — детская цивилизация по сравнению с Космической. НЛО Ванга признает.

Есть ли в нашей стране люди, которые сообщаются с Космическими цивилизациями?

Алан Чумак в своем интервью корреспонденту газеты «Вечерний Владивосток» говорит о том, что он «слышит голос». Откуда этот голос? Почему А. В. Чумак, по образованию журналист, теперь стал лечить людей? Откуда у него появились знания о болезнях и главное — энергия, которую он передает за тысячи километров по телевидению миллионам телезрителей? Наши ученые и ученые из других стран обходят этот жгучий вопрос, как и «дар» прорицательницы Ванги. Жаль, что в печати появились слишком «критические» публикации, особенно по сеансам А. М. Кашировского, направленные на срыв лечебного воздействия той энергии (по-видимому, космической), которой обладают эти люди.

Теперь — о Е. П. Блаватской. Эта замечательная женщина родилась в знатной дворянской семье в 1831 году и

умерла в 1891 году. В молодости у нее способностей к учебе не было. Особенно трудно давалась математика. Семнадцати лет она, неожиданно для родных, выходит замуж за Блаватского, который по возрасту годился ей в отцы. Пошла она на этот шаг не по любви, а по расчету, чтобы быстрее обрести независимость. Через несколько месяцев после свадьбы, покинув мужа, она отправляется путешествовать и в конце концов уезжает в Гималаи, где прожила семь лет.

После Тибета с Блаватской произошла разительная перемена, испугавшая ее сестру В. П. Желиховскую. В Тибете она училась у Гулаб-Лалл Синга, которого называла Мастером, а по-индийски — Махатмой. Блаватская была феноменальна. Она умела вызывать звуки, похожие на звон хрустальных колокольчиков, выводить из строя электроприборы, читать письма в нераспечатанных конвертах (как Роза Кулешова). Однако основной феномен Блаватской состоит в том, что она стала обладать способностью писать крупные научные работы за короткие отрезки времени. Так, на написание книги «Тайная доктрина» из двух томов в две тысячи страниц она затратила меньше 2-х лет, снабдив ее подробными комментариями, ссылками на многие источники. Другую книгу — «Разоблачения Изиды» из нескольких томов она написала за семь месяцев. На написание этих работ в наше время потребовался бы штат научно-исследовательского института.

В «Тайной доктрине» стыкуются история и мифы, поэзия и физические формулы, намекающие на «огненного джина», заключенного в атомном ядре.

Давала ли на этот счет ответ сама Блаватская? Да. Она писала сестре В. П. Желиховской: «Передо мной проходят картины, древние рукописи, числа, я только списываю и так легко пишу, что это не труд, а величайшее удовольствие». Честь авторства она себе не приписывала. Блаватская, по-видимому, обладала «внутренним» зрением, позволяющим ей читать книги из уникальной и необычной библиотеки всех времен и народов. Она уверяла, что тексты ей даются в зеркальном отображении. Чтобы воспринимать и разбираться в них, требовались тренировки и внимание. Следовательно, история нам дает факт передачи знаний Блаватской от какого-то «источника». Этот «источник», по нашему мнению, — Высший Космический разум или цивилизация. Отрицать факт феномена Е. П. Блаватской невозможно...





Открывая неба красоту

Виталий
КАЛМЫКОВ

Нешадно палило июньское солнце. Аэродромная трава поникла, пожелтела. Деревья стояли притихшие, усталые. Мы, десять человек, сидим в тени под крылом самолета, обливаясь потом и кляня «небесную канцелярию».

Страшно хочется пить, но воды нет. Вернее, она есть, но идти далеко, в аэродромную сторожку, а нам нельзя: с минуты на минуту Миша Негов должен передать по радиации разрешение на вылет.

Сегодня День молодежи, и нас попросили выполнить показательные прыжки на стадион. Негов, инструктор, летчик-парашютист, находится сейчас в городе, за тридцать километров от нас и «командует парадом». Он должен в точном соответствии с программой праздника подать нам команду на вылет.

Словно черт из табакерки, из-за хвоста самолета появился командир звена.

— Как настроение, орелики? — весело спрашивает он.

— Бо-одрое-е, Алексей Дмитриевич, — утробным голосом отвечаем мы.

Смеется:

— Идем ко дну? — И уже серьезно интересуется: — Высотомеры установили?

— Само собой!

— Проверьте еще раз, иначе работать будет трудно.

Мы это знаем. Дело в том, что аэродром находится на 120 метров выше над уровнем моря, чем площадка приземления, поэтому еще раз проверяем установку высотометров.

Жарко-о!

— Алексей Дмитриевич, — тоном умирающего спрашивает командира Саша Русанов, — вылет скоро?

— Как, вы еще не в самолете? — деланно удивляется тот. — А ну, марш!

Вялости как не бывало.

— Ура! — кричим мы, вскакивая. — Ур-ра!

Парашютный спорт... Волнующее, ни с чем не сравнимое чувство охватывает тебя, когда ты покидаешь борт самолета и остаешься наедине с небом — огромным и дружелюбным.

Сюда каждый приходит по-разному. Несколько лет назад после такого же показательного выступления, когда мы, только что приземлившись, с распушенными куполами в руках выходили со стадиона к ожидавшему нас автобусу, меня кто-то дернул за рукав. Я обернулся. Рядом стоял невысокий паренек, почти мальчишка.

— Дяденька, — волнуясь, негромко произнес он, — скажите, пожалуйста...

Неужели за последние годы я так постарел? Или это просто старит каска?

— Меня зовут Виталием Владимировичем.

— Виталий Владимирович, — парнишка взял себя в руки, — скажите, пожалуйста, где можно научиться прыгать?

— Тебе сколько лет, земляк? — поинтересовался я.

— Семнадцать, — моментально ответил он и потупил взгляд. — Почти... Трех месяцев не хватает.

Во вторник у меня начинались занятия в парашютной

секции с группой перворазников, то есть юношей и девушек, которые после прохождения теоретического курса обучения должны были совершить свой первый в жизни прыжок. Поэтому я спросил:

— Во вторник в шесть вечера ты свободен?

— Да-да! Конечно! — поспешно ответил он. — Свободен!

— Тогда приходи... — И назвал адрес. — Будешь заниматься в моей группе.

Я видел, как радостно заблестели его глаза.

Почему я взял его к себе, хотя группа у меня была набрана полностью? Просто в нем я увидел себя таким же шестнадцатилетним пацаном.

...Перед окончанием десятого класса, когда до выпускных экзаменов оставались считанные недели, ко мне как-то пришел товарищ, Валера Лебедько.

— Буду прыгать, — заявил он с порога.

— В сторону? — засмеялся я.

— Не угадал. У нас в ремесленном организовалась парашютная секция. Я записался. В конце мая первый прыжок.

— Здорово! — искренне позавидовал я. — Я где-то читал, что настоящий мужчина должен хотя бы один раз прыгнуть с парашютом.

— Представляешь, — загорелся Валера, — высоко-высоко летит самолет. И около двери — я. Как Василий Романюк. Есть такой известный испытатель парашютов.

— Слышь, Валер, — неожиданно для себя спросил я, — а мне записаться можно?

— Вряд ли. Тебе только шестнадцать, а прыгать разрешается с семнадцати.

Видя, что я расстроился, предложил:

— Впрочем, давай поговорим с инструктором. Может быть, согласится.

Уговаривать инструктора пришлось долго.

— Черт с тобой! — наконец сдался он. — Ты, я вижу, настырный. Спрыгнешь с галереи — будешь заниматься.

Рядом с рудоуправлением проходила галерея, соединявшая штольно с дробильно-сортировочным участком, на который электровозы вывозили медный колчедан. С земли она казалась не очень высокой, но когда я залез наверх, то почувствовал неприятный холодок под сердцем: три метра показались непомерно большой высотой.

— Ладно, слазь, — сказал инструктор. — Молодец, смело забирался.

«Не дожدهшься!» — подумал я и, оттолкнувшись от края галереи, прыгнул вниз, почувствовав на мгновение беспомощность своего тела. Удар о землю был сильным, но это уже не смутило: было ясно, что у меня хватит воли выпрыгнуть из самолета.

Мы жили в маленьком горнячком городке Медногорске, где своего аэроклуба не было. Раз в год прилетал самолет из Орска с инструкторами и ведущими спортсменами. Инструкторы аэроклуба принимали зачеты, а спортсмены выполняли показательные прыжки. После сдачи зачетов прыгали местные ребята.

И вот наступил этот день...

Едва набрали высоту, открыли дверь. Поток воздуха рванулся в фюзеляж, поднимая с коврика пыль и приятно обдувая лица. Стало свежее. Саша Русанов, или попросту Саньч, начал готовить к выброске пристрелочные парашюты. По ним мы будем рассчитывать прыжок. Лева Медведев, притулившись у пилотской кабины, закрыв глаза, делает вид, что безмятежно спит. Со стороны может показаться, что его мало волнует предстоящий прыжок. Но мы-то знаем, что это не так: в любую секунду он готов сбросить с себя тихую расслабляющую дрему и ринуться навстречу раскрывшей свои объятия земле. Просто на него, как, впрочем, и на меня, мерное дыхание мотора нагоняет сонливость. Вообще-то, если бы постороннему человеку пришлось сравнить поведение в самолете опытных спортсменов и перворазников, то он легко обнаружил бы различия.

Перворазники... Я люблю наблюдать за ними в самолете. Там видно, кто чего стоит. Один сидит с восковым окаменевшим лицом мумии. Другой, наоборот, возбужден, резки его движения; кто-то пытается говорить, петь, чтобы хоть как-то заглушить волнение; кто-то неестественно смеется... А прыгать-то все равно страшно! За двенадцать лет занятий парашютным спортом мне приходилось видеть всяких: и отказчиков, и не уверенных в своих силах. Но почему-то меня всегда бесит показная бравада. Иной перед прыжком дрожит, словно замерзший шенок у чужой подворотни. «Поможешь» такому «герою» выйти за борт, он приземлится и — пошел наш посол по свежий рассол: мы-де тоже пахали. Противно!

Прыгать страшно всем. И в этом не стыдно признаться. Стыдно не побороть в себе этот животный страх. Ведь ты — человек!

...Под крылом — город. Не надо быть эстетом, чтобы увидеть красоту своего города с высоты птичьего полета. Будь на то моя воля, в приказном порядке обязал бы градостроителей смотреть на свое творение сверху. Вот уж поистине «большое видится на расстоянии».

Сегодня мы выполняем всего три упражнения. Группа Левы покажет «змеюку». Аля Русанова, кстати, с Саньчем они не однофамильцы, и Людмила Лепшилова — «каплю». Я, Саньч, и мой лучший друг баламут Димка Ветров — «эстафету».

Стадион. Море народа. Наверное, такое же столпотворение вызывали показательные полеты знаменитого Уточкина. Сочинский пляж в самое напряженное время года в сравнении со стадионом показался бы необитаемым островом.

Подходы к стадиону трудные: улицы с нескончаемым потоком машин и паутиной сетью троллейбусных линий, высокие здания и прочие «прелести», приземление на которые обычно не вызывает прилива положительных чувств. Ветер здесь почему-то дует всегда в одном направлении, и каждый раз перед приземлением на малой высоте приходится проходить над крышей пятиэтажного дома, в котором расположена прокуратура, поджмая ноги. В общем, подыскать запасную площадку в случае непопадания на стадион довольно трудно. Поэтому молодежь на подобные показательные выступления не допускают. Прыгают только опытные спортсмены-корифеи, как нас называют в аэроклубе.

Выброшен первый пристрелочный. Он приземлился метрах в трехстах от стадиона. Второй попадает на футбольное поле. Мы это видим, но Алексей Дмитриевич, взглянув из кабины, показывает нам большой палец, поднятый вверх. Миша Негов уже проинформировал его. Я даже представил, как он, стоя у рации, говорит в микрофон: «Ноль первый! Я — ноль пятый. Пристрелочный в норме».

В третьем заходе должен прыгать Мефодий. И здесь я вынужден сделать отступление, чтобы познакомить вас с одиннадцатым участником показательных выступлений.

Несколько лет назад во время сборов Аля принесла

на аэродром кота. Девчата отмыли его, расчесали, налили в блюдце молока. Кот оказался красавцем: пушистый, с большими зелеными глазами. Долго думали, как назвать его. Наконец по общему согласию окрестили Мефодием.

А через неделю Аля привела на аэродром собаку. Здоренный, в треть человеческого роста пес стоял в парашютном городке, терпеливо ожидая, пока его выскребут. Мефодий степенно ходил вокруг него и на правах старожилы пофыркивал. Пса назвали Пафнутием.

— Что вы с этими животными делать будете? — интересовались летчики-спортсмены.

— Мефодия я возьму домой, — решила Аля.

Димка пристроил Пафнутия:

— Пес останется на аэродроме. Мы его зачислим в штат аэроклуба сторожем — будет охранять стоянку.

Аля неожиданно пришла мысль:

— А еще они будут заниматься парашютным спортом!

Идея захватила всех!

— Чудесенько! — восторгался Димка. — Белка и Стрелка летали в космос, а у нас Мефодий и Пафнутий будут прыгать.

Саньч принес клеенчатый метр и снял с будущих парашютистов мерку. Дней через десять он изготовил из 44-миллиметровой капроновой ленты добротные подвесные системы собственной конструкции. Мефодия решили бросать со стабилизирующим парашютом, а Пафнутий должен был прыгать с двумя пристрелочными.

И вот наступил день первого прыжка. Аля взяла Мефодия на руки, а Димка на поводке потянул за собой упиравшегося пса. В это время Алексей Дмитриевич прибавил двигателю обороты, мотор взревел, и — не выдержало собачье сердце: Пафнутий зарычал, вырвал поводок и изо всех сил стал улетевать от ревущего «зверя».

— Стой! Стой, трус! — кричали ему вслед.

Куда там! Хвост колесом, пыль столбом.

А Мефодий прыгнул. Поскольку первый раз страшно, Аля просто-напросто вышвырнула его из самолета. После прыжка за проявленное мужество он получил добрый кусок ливерной колбасы из стартового пайка. Наевшись, гордо ходил по старту, приносивался к парашютам и с презрением поглядывал на своего друга, на шею которого болталась дощечка с надписью: «Трус и отказчик Пафнутий».

Аля записала на магнитофон рев прогреваемого мотора и под этот аккомпанемент стала заниматься с Мефодием в парашютном городке, где стоял макет фюзеляжа АН-2. Скоро он уже не боялся самолета, сидел спокойно и, как казалось, с чувством собственного достоинства. А еще через некоторое время, благодаря наземной подготовке и тренировочным прыжкам, стал прыгать самостоятельно: стояло в фюзеляже открыт дверь и легонько шлепнуть его по заду, Мефодий соскакивал с сиденья, смешно семенил к дверному проему и нырял вниз. Прыжки ему понравились.

Занятия продолжались.

— Он скоро лучше вас прыгать будет, — издевались летчики.

Им вторили планеристы:

— Мефодий при приземлении на лапах устоял, — говорили они кому-нибудь, — а ты расплылся, как кисель, по всему полю.

Аля в долгу не осталась. Наступило возмездие.

Однажды вечером в парашютном городке собрались все спортсмены, находившиеся на сборах. Вечер был теплый и тихий, звенела гитара, ребята пели, крутились на лопинге, прыгали на батуте, травляли анекдоты.

— Внимание! — потребовал тишины Димка. — Новый аттракцион! Спешите видеть! Только один сеанс! Прошу всех к макету!

Аля вынесла из палатки кота, в полном снаряжении, залезла в макет фюзеляжа и посадила Мефодия на сиденье. Все с интересом наблюдали за происходящим.

— Мефодий — попросила Аля, включив магнитофон, — покажи, пожалуйста, как прыгают летчики.

Кот сидел, не обращая на публику ни малейшего внимания.

— Приготовиться, — скомандовала Аля.

Мефодий резко соскочил с сиденья, засеменил к двери, но в полуметре от нее остановился в нерешительности и замяукал.

— Спрашивает, обязательно ли прыгать, — перевел Димка.

— Пошел!

Мефодий не шелохнулся.

— Ты что, не слышал? Пошел!

Мефодий попятился назад.

— Ах, так! — театрально разозлилась Аля. — Я тебя сейчас выкину!

На эти слова Мефодий отреагировал оперативно и весьма своеобразно: подбежав к дверному проему, он двумя лапами уперся в боковую обрез двери, будто больше всего на свете боялся, что его на самом деле выкинут.

— Охо-хо! — стонали планеристы.

— Браво, Мефодий!

— Неправда! — возмущались летчики-спортсмены, хотя, пожалуй смеялись громче всех.

Так Мефодий стал общим любимцем, но сам привязался только к Але, всюду следовал за ней по пятам, а когда она уходила на прыжок, терпеливо дожидался, в кругу, узнавая ее в воздухе. Вот он-то и прыгнул сегодня в третьем заходе. Миша Негов рассказывал позднее:

— Когда выбросили «Ивана Ивановича», я объяснил по радио, что это пристрелочный парашют, по нему делается расчет прыжка. О том, что под вторым куполом снижается мешочек с песком, зрители догадались сами. А третий...

— Парашютист! — кричали одни. — Видите: шевелится!

— На точность идет, — со знанием дела объясняли другие.

— Хорошо работает!

Купол снижался. В какое-то мгновение все поняли, что это кот.

— Прыжок выполняет молодой, но уже подающий надежды парашютист по имени Мефодий, — объявил Негов. — До этого он 54 раза покидал борт самолета.

Что тут было, описать трудно. Стадион ревел, улюлюкал, свистел, звенел хохотом. «Мо-ло-дец! Мо-ло-дец!» — скандировали трибуны.

Такой шумный прием смутил тонкую натуру Мефодия: приземлившись, он, волоча за собой парашют, испуганно засеменил под трибуны, подальше от бурных оваций.

Теперь наш черед. Первой идет «капля». Аля и Людмила изготавливаются к прыжку: поправляют каски, потуже притягивают запасные парашюты. Димка на коленках ползает у правого обреза двери — рассчитывает прыжок. «Посахали!» — наконец говорит он, и девочки покидают борт. И сразу же открывается один купол.

«Капля» с земли смотрится эффектно. Из-за большой высоты зрители не видят, что отделилось два человека. Они видят один открывшийся парашют, под которым, по логике вещей, должен спускаться один парашютист. Но их-то двое! Открылся только парашют Людмилы, а Аля, крепко держась за подвесную систему, спускается «пассажиром» под ее куполом. Секунд через двадцать, разжав руки, она летит вниз, как в теплый весенний день срывается с сосульки капля.

— А-ах! — одновременно выдыхает стадион, полагая, что парашютист выпал из подвесной системы, и сейчас на глазах произойдет что-то страшное, непоправимое. Взгляды зрителей прикованы к стремительно несущейся к земле точке.

Но Аля не думает разбиваться. Выждав еще десять секунд, выдерживает кольцо, и вот уже над ней полусферой вспыхивает оранжевый цвет купола. В Сибири такие цветы называют жарками. Во время их цветения лесные поляны выглядят так, будто кто-то разбросал по ним горячие угли.

— Подъем, орёлики, — подражая Алексею Дмитриевичу, говорит Лева.

Самолет делает четвертый разворот и выходит на «боевой» курс.

«Змейка» — красивое упражнение. Вы видели когда-нибудь детскую игрушку-змейку, собранную из отдельных сегментов? Вот на этом принципе и строится упражнение: пять человек, а в некоторых случаях и больше, отделившись от самолета, несутся к земле, держа друг друга за ноги. В свободном падении «змейку» начинает болтать с такой силой, что, бывает, последний в этой цепочке парашютист задевает ногами голову первого. Иногда создается «эффект кнута»: «змейку» складывает и резко распрямляет. В этот момент перегрузка становится так велика, что порой не выдерживают руки: пальцы разжимаются, и цепочка рвется. Но на этот раз ребята выполнили упражнение без сучка и задоринки.

Наша очередь. Высота 2800 метров. Эстафета... Смысл воздушной эстафеты такой же, как и у легкоатлетов — передача эстафетной палочки. С той лишь разницей, что воздушная эстафета передается в свободном падении, когда ты летишь к земле со скоростью 200 километров в час; каждая секунда приближает встречу с ней на 50—55 метров.

— Ну, держись, старик! — предупреждает Димка. — Спируую на тебя — только ловить успевай.

Расчетная точка. Саныч кивает головой, говорит: «До встречи» — и, включив секундомер, ложится на поток. Через секунду покидаю борт я. Еще через секунду — Димка.

За секунду самолет успевает пройти около пятидесяти метров, а парашютист еще несколько метров пролетит вниз. Поэтому между спортсменами получается разрыв и по высоте, и по горизонту.

Под небольшим углом начинаем подходить друг к другу. Поток воздуха, упругий и неподатливый, бьет в лицо, оттягивает кожу; щеки Саныча студенисто дрожат, и он похож сейчас на хомячка, набившего рот зерном. Я, разумеется, выгляжу не лучше. Но себя-то я не вижу! Несколько раз брал с собой в воздух зеркальце, да все как-то за работой не было времени в него заглянуть.

Три метра... два... метр... тридцать сантиметров... Сейчас оба мы испытываем огромное желание протянуть руки вперед: я, чтобы передать, а Саныч, чтобы принять эстафету. Но этого делать нельзя. Малейшее лишнее движение, и нас, словно пушинки, раскинет потоком в разные стороны. И тогда — «повтори-не понял», то есть начинай все заново.

Стыковка.левой рукой держусь за Саныну подвесную систему, а правой передаю эстафету. Убедившись, что палочку он взял крепко и не выронит ее, разжимаю руки. Поток моментально откидывает в сторону, а сверху уже коршуном налетает Димка. Саныч, перевернувшись на спину, наблюдает за нами.

Если смотреть за эстафетой с земли в бинокль, то открывается захватывающее зрелище. Прежде всего поражает та легкость, с которой спортсмены, разделенные десятками метров, будто по мановению волшебной палочки сходятся в одной точке, ни на что не опираясь, ни от чего не отталкиваясь. Но волшебство бывает только в цирке или в сказках. Главным же условием нашего «волшебства» становится знание законов физики и аэродинамики. И труд.

...Димкина эстафетная палочка появилась откуда-то справа из-за плеча. Перехватываю ее и бросаю короткий взгляд на секундомер: с момента отделения прошло пятнадцать секунд. На соревнованиях это упражнение мы выполняем в два раза быстрее. Но сейчас работаем «на зрителя», чтобы дать людям возможность понять и почувствовать прыжок.

До раскрытия купола еще уйма времени — 25 секунд. 1250 метров пути. Можно расслабиться и падать просто так, ничего не делая, просто нестись к утопающей в дрожавшем мареве земле, каждой клеточкой ощущая упругость встречного потока и любясь красками родного горюда, своей земли...



Эдгар БЕРРОУЗ

*Рис. Николая Мооса
и Елены Пьянковой*

Ум человека

Среди подданных Тарзана лишь один самец дерзал оспаривать его власть. Это был сын Тублата, Теркоз. Но он так боялся острого ножа и смертоносных стрел нового властелина, что осмеливался проявлять свое недовольство только в мелочном непослушании и в постоянных коварных проделках. Тарзан знал, однако, что Теркоз только выжидает подходящего случая, чтобы внезапной уловкой вырвать власть из его рук, и потому всегда держался настороже.

Снова жизнь обезьяньего племени потекла по-прежнему. В новинку было только то, что, благодаря выдающемуся уму Тарзана и его охотничьей ловкости, снабжение продовольствием шло теперь гораздо успешнее, и еды было больше, чем когда-либо прежде. И потому большинство обезьян было очень довольно сменой правителя.

Тарзан по ночам водил племя на поля черных людей. Здесь по указаниям своего мудрого вождя обезьяны досыта ели, но никогда не уничто-

жали того, что не могли съесть, как это делает мартышка Ману и большинство других обезьян. Поэтому, хотя чернокожие и досадовали на постоянный грабеж их полей, но набеги обезьян не отвлекали у них охоты обрабатывать землю, что несомненно случилось бы, позволь Тарзан своему народу разорвать плантации.

Тарзан много раз пробирался по ночам в поселок. Время от времени он возобновлял там запас стрел. Скоро заметил он и пищу, которую негры теперь постоянно ставили под деревом, и стал съедать все, что чернокожие оставляли для неведомого божества.

Когда дикари убедились, что пища исчезает за ночь, они пришли в еще больший ужас, так как ставить ее для снискания благосклонности бога или черта — это одно, но уже совершенно другое, когда дух действительно является в поселок и поедает жертвоприношение! Это было неслыханно и наполняло их суеверные умы всякого рода смутными страхами. Периодическое исчезновение стрел и странные проделки, творимые невидимым существом, довели чернокожих до такого состояния, что жизнь их в новом поселке сделалась невыносимой. Мбонга и его старейшины стали усиленно поговаривать о том, чтобы навсегда оставить деревню и искать новую, более спокойную, местность поглубже в джунглях.

Черные воины в поисках места забирались все дальше и дальше на юг, в самую глубь лесов. Появление этих разведчиков стало серьезно беспокоить племя Тарзана. Тихое уединение первобытного леса было нарушено новыми странными криками. Не было больше покоя ни для зверей, ни для птиц. Пришел человек...

Другие животные приходили и ночью и днем, скитаясь по джунглям — свирепые, жестокие звери, но более слабые их соседи только на время убегали от них, чтобы тотчас же вернуться, когда минует опасность.

Не то — человек! Когда он приходит, многие более крупные животные инстинктивно покидают местность и чаще всего уже никогда не возвращаются. Так поступали и большие антропоиды. Они бежали от человека, как человек бежит от чумы.

Некоторое время племя Тарзана еще держалось вблизи бухты, потому что их новый царь и думать не хотел о том, чтобы навсегда бросить сокровища маленькой хижинны.

Однажды несколько человекоподобных встретили многочисленных чернокожих на берегу ручья, в течение многих поколений служившего привычным местом водопоя, и увидели, что черные люди расчищают джунгли и сооружают множество хижин. После этого обезьяны не захотели больше оставаться у бухты, и Тарзан увел их в глубь страны, на много переходов дальше, в место, еще не оскверненное ногой человека.

Но раз в месяц Тарзан, быстро перепрыгивая с ветки на ветку, мчался в свою хижину, чтобы провести там день с книгами, а также, чтобы пополнить запас стрел. Последняя задача становилась все более трудной, так как чернокожие стали прятать на ночь свои стрелы в житницы и жилые хижинны.

Тарзан днем должен был усиленно наблюдать,



куда будут спрятаны стрелы. Дважды входил он в хижины, пока их обитатели спали на своих циновках, и похищал стрелы из-под самого носов воинов. Но этот способ показался Тарзану слишком опасным, и потому он предпочитал ловить одиноких охотников своими длинными смертоносными петлями. Обобрал с них оружие и украшения, он бросал ночью трупы с высокого дерева на середину улицы поселка. Эти случаи опять до того напугали чернокожих, что если бы не месячная передышка между посещениями Тарзана, внушавшая им каждый раз надежду, что больше набегов не будет, они вскоре опять покинули бы свой новый поселок.

Чернокожие пока не заметили хижины Тарзана на далеком берегу, но обезьяна-человек жил в постоянном страхе, что во время его отсутствия они найдут ее и разграбят его сокровища. Поэтому он стал проводить все больше времени близ жилища своего отца и реже бывал среди обезьян. Наступил момент, когда члены его общины стали страдать от его частого отсутствия; то и дело возникали ссоры и распри, которые только верховный вождь мог мирно уладить. Некоторые из старейших обезьян завели разговор с Тарзаном по этому поводу, и он после того целый месяц не отлучался из племени.

Обязанности верховного вождя у антропидов не трудны и не многочисленны. После полудня придет, например, Така и пожалуется на то, что старый Мунго увел у него его новую жену. Тогда дело Тарзана созвать всех обезьян, и если окажется, что жена предпочитает своего нового супруга прежнему мужу, он приказывает, чтобы так и было, или же велит Мунго дать Таке в обмен одну из своих дочерей. Обезьяны считают окончательным всякое решение вождя, каково бы оно ни было, и удовлетворенные возвращаются к своим занятиям.

А то прибежит с криком Тана, прижав руку к боку, из которого хлещет кровь. Она жалуется, что Гунто, муж ее, зверски ее укусил. А вызванный Гунто говорит, что Тана ленива, не хочет носить ему жуков и орехов или отказывается чесать ему спину. И Тарзан бранит их обоих, грозя Гунто смертоносными стрелами, если он будет продолжать истязать Тану, а Тана со своей стороны должна дать обещание исправиться и лучше исполнять свои женские обязанности.

Так все и идет. По большей части это маленькие семейные распри, которые, если их не уладить, могут, однако, привести к значительным ссорам и даже иногда к расчленению племени.

В конце концов Тарзану это стало надоедать. Он понял, что верховная власть значительно ограничивает его свободу. Его страстно тянуло к морю, озаренному ласковым солнцем, к прохладной комнате уютно построенного дома и к нескончаемым чудесам многочисленных книг.

Когда Тарзан возмужал, он понял, что становится чужим в своем племени. Их интересы все больше расходились с его интересами. Обезьянам были чужды странные и чудные грезы, которые мелькали в деятельном мозгу их человека-вождя. Их язык был так беден, что Тарзан даже не мог говорить с ними с многих новых истинах, которые раскрыло перед его жадными взорами че-

ние. Он не мог сообщить им и о честолюбии, тревожившем его душу.

У него уже не было друзей и товарищей. Ребенок может водить знакомство со многими странными и простыми существами, но для взрослого человека необходимо некоторое, хотя бы внешнее, равенство ума, как основа для дружбы. Будь жива Кала, Тарзан всем бы пожертвовал, чтобы остаться с ней. Но теперь, когда ее не было, а резвые друзья детства превратились в свирепых и грубых животных, он чувствовал, что ему гораздо более по душе спокойное одиночество хижины, чем докучливые обязанности вождя стаи диких зверей.

Однако желание Тарзана отказаться от верховенства над племенем сильно задерживалось ненавистью и завистью Теркоза, сына Тублата. Тарзан не мог заставить себя отступить перед лицом злорадствующего врага. Он понимал, что на его место будет избран вождем Теркоз, так как свирепое животное уже давно установило право своего физического превосходства над немногими самцами-обезьянами, которые осмелились встать против его жестоких задираций.

Тарзану хотелось сломить волю этого злобно-го зверя, не прибегая к ножу или стрелам. Его сила и ловкость настолько возросли вместе с его возмужалостью, что он стал подумывать: не сможет ли он победить грозного Теркоза в рукопашной схватке? Если бы только не огромные боевые клыки, дававшие такое превосходство антропиду перед плохо вооруженным в этом отношении Тарзаном!..

Но однажды обстоятельства сложились так, что Тарзан смог спокойно сделать выбор: либо остаться в племени, либо уйти из него, не запятнав своего авторитета.

Случилось это так.

Племя разбрелось в поисках пищи. Пронзительный крик раздался в то время, когда Тарзан, лежа около прозрачного ручья, пытался поймать руками увертывающуюся рыбу.

Обезьяны быстро помчались в сторону сигнала тревоги и застали Теркоза, державшего за волосы старую самку. Он с остервенением избивал ее. Тарзан подошел к нему и поднял руку, требуя прекратить драку. Самка принадлежала не Теркозу, а старому самцу, лучшие дни которого уже давно миновали, и он не мог защищать свои права. Теркоз знал, что поступает против закона своего племени, избивая чужую жену. Но, обуянный жадностью, он воспользовался слабостью мужа самки, чтобы отобрать нежного молодого грызуна, пойманного ею.

Когда Теркоз увидел Тарзана, приближающегося к нему без лука в руках, он принялся еще сильнее колотить бедную самку, надеясь этим вызвать раздражение ненавистного властителя. Тарзан не повторил своего предупреждения, он просто кинулся на Теркоза.

С тех пор, когда Болгани, вождь горилл, так страшно истерзал его, не приходилось Тарзану выдерживать такого боя. На этот раз нож Тарзана едва ли мог противостоять сверкающим клыкам Теркоза; зато небольшое силовое превосходство обезьяны было почти уравновешено изумительной ловкостью и быстротой человека.



Но в конечном счете, антропоид имел на своей стороне некоторое преимущество, и если бы не оказалось другой силы, которая повлияла на исход битвы, Тарзан, приемыш племени обезьян, молодой лорд Грэйсток, так и умер бы неведомым диким зверем в экваториальной Африке. Но было то, что возвышало Тарзана над всеми его товарищами в джунглях — человеческий разум. Он уберег Тарзана от железных мускулов и жадных клыков Теркоза.

Их схватка продолжалась всего несколько секунд, а они уже катались по земле, колотя, терзая и разрывая друг друга — два больших свирепых зверя, бьющихся насмерть. Теркоз имел дюжину ножевых ран на голове и груди, а Тарзан обливался кровью. Его скальп был в одном месте сорван с головы и висел над глазом, заслоняя ему обзор. Но молодому человеку удавалось пока удержать ужасные клыки противника вдали от своего горла. Во время борьбы у Тарзана созрел хитрый план: он обойдет Теркоза и, впившись ему в спину зубами и ногтями, будет до тех пор наносить ему раны ножом, пока враг не умрет.

Маневр был удачно осуществлен, потому что глупое животное не поняло его намерения и не пыталось предупредить его. Но когда Теркоз понял, что противник схватил его так, что ни зубами, ни кулаками его не достать, он стремительно опрокинулся на спину. Тарзану оставалось только отчаянно цепляться за скачущее, вертящееся, изгибающееся тело. Нож был выбит у него из рук тяжелым толчком о землю, и Тарзан остался беззащитным. Совершенно случайно рука его оказалась пропущенной под руку Теркоза, а предплечье и кисть легли вокруг шеи. Это был полунельсон, современный прием борьбы, на который случайно натолкнулся несведущий обезьяна-человек. Но разум мгновенно подсказал, насколько ценно сделанное им открытие. От этого приема зависела жизнь или смерть.

Он постарался добиться подобного же положения для левой руки, и через несколько минут бычья шея Теркоза затрещала под двойным нельсоном, Теркоз замер. Круглая голова обезьяны была вынуждена медленно пригнаться к груди все ниже и ниже. Тарзан понимал, чем все это кончится. Еще минута — и сломается шея. И вот тогда на счастье Теркоза в Тарзана заговорила та самая способность, которая помогла ему одолеть обезьяну — способность рассуждения.

«Если я его убью, — подумал Тарзан, — какая мне будет от этого польза? Лишу племя могучего бойца, вот и все. Если Теркоз будет мертв, он ничего не будет знать о моем превосходстве, а живой — он всегда будет примером для других обезьян».

— Ка-го-да? — зашипел Тарзан в ухо Теркозу, что означало: «сдаешься?» Не получив ответа, Тарзан усилил давление, вызвав ужасающий крик боли у зверя.

— Ка-го-да? — повторил Тарзан.

— Ка-го-да! — закричал Теркоз.

— Слушай, — сказал Тарзан, слегка ослабив хватку. — Я, Тарзан, верховный вождь обезьян, могучий охотник, могучий боец. Ты сказал мне: «Ка-го-да». Это слышали все. Не ссорься больше ни со своим вождем, ни со своими соплеменника-

ми, или в следующий раз я убью тебя. Понял?

— Ху, — подтвердил Теркоз.

— Ну, теперь довольно с тебя?

— Ху, — сказала обезьяна.

Тарзан выпустил его, и через несколько минут все снова занялись своими делами, будто не случилось ничего, нарушившего спокойствие в их первобытном лесном пристанище. Но в сознании обезьян глубоко укоренилось убеждение, что Тарзан — могучий боец и странное создание. Странное потому, что в его руках была жизнь врага, и вместо того, чтобы его убить, он сохранил ему жизнь.

На закате, когда все племя собралось вместе, Тарзан сказал старым самцам.

— Вы опять убедились сегодня, что Тарзан, вождь обезьян — самый великий среди вас, — сказал он.

— Ху, — ответили они в один голос. — Тарзан великий.

— Тарзан, — продолжал он, — не обезьяна. Он не похож на вас. Его пути — не ваши пути, и потому Тарзан уходит в логовище своего рода близ вод большого озера. Вы должны избрать себе нового вождя. Тарзан больше не вернется.

Его собственный род

Утром Тарзан, сильно страдавший от нанесенных Теркозом ран, направился на запад к морскому берегу. Он двигался очень медленно, провел ночь в джунглях и добрался до своей хижины лишь через сутки.

Несколько дней он набирался сил, выходя наружу только для того, чтобы утолить голод плодами и орехами.

Вскоре Тарзан совершенно выздоровел. Только на лице остался ужасный полузаживший шрам. Начинаясь под левым глазом, он шел поперек всей головы и кончался над правым ухом. Это был след, оставленный Теркозом, сорвавшим с него скальп.

Времени было много, и Тарзан попытался смастерить плащ из шкуры Сабор, пролежавшей все время в хижине. Но кожа затвердела как дерево. А так как он ничего не знал о дублении, ему пришлось отказаться от давней мечты.

Тогда он решил отобрать одежду у кого-нибудь из чернокожих в поселке Мбонги, потому что решил всеми возможными способами отличаться от существ низшего порядка. По его мнению, не было более верного признака принадлежности к человеческой породе, чем украшения и одежда. С этой целью он собрал различные побрякушки, снятые им когда-то с убитых черных воинов. Кроме них, он повесил золотую цепочку с осыпанным бриллиантами медальоном его матери, леди Элис, а за спиной, на ремне, приладил колчан со стрелами, снятый им с какого-то из побежденных им чернокожих. Талию Тарзан украсил поясом из небольших полосок необделанной кожи. Он сам смастерил его, так же, как и самодельные ножны, в которые вкладывал отцовский нож. Длинный лук, принадлежавший Кулонге, висел за его левым плечом.

Теперь молодой лорд Грэйсток выглядел весь

ма оригинально и воинственно. Его густые черные волосы падали сзади на плечи, спереди они были неровно подрезаны охотничьим ножом, чтобы не лезли в глаза. Его прямая и прекрасная фигура, мускулистая, как у отборных римских гладиаторов, гармонично сочетаясь с мягкими и нежными очертаниями эллинического бога, говорила с первого же взгляда об удивительном соединении огромной силы с гибкостью и ловкостью.

Тарзан, приемыш обезьян, являлся олицетворением первобытного человека, охотника, воина. С благородной посадкой красивой головы на широких плечах, с огнем ума в прекрасных и ясных глазах, цивилизованному человеку он легко мог показаться полубогом древнего первобытного леса.

Но Тарзан и не думал об этом. Он досадовал, что у него не было одежды и что он не может показать всем обитателям джунглей, что он человек, а не обезьяна. Часто в его ум закрадывалось серьезное сомнение, не превращается ли он в обезьяну?

Разве волосы не начали пробиваться у него на лице? У всех обезьян волосатые лица, а единственные люди, которых он видел — чернокожие — совершенно безбородые, за немногими исключениями.

Правда, в книжках ему приходилось видеть рисунки людей с зарослями волос вокруг губ, на щеках и подбородке, но тем не менее Тарзан боялся. Почти ежедневно точил он свой острый нож, соскабливая и выскребая свою молодую бороду, чтобы с корнем уничтожить этот унижительный признак обезьяны. Таким образом он научился бриться, правда грубо и мучительно, но, тем не менее, удачно.

Почувствовав, что совершенно поправился после кровавого боя с Теркозом, Тарзан ранним утром направился к поселку Мбонги. Он небрежно шел по извилистой тропе в джунглях, вместо того, чтобы передвигаться по деревьям, и неожиданно столкнулся лицом к лицу с черным воином. Взгляд выпученных от изумления глаз дикаря был почти кошачий. Прежде чем Тарзан успел снять свой лук, воин повернулся и с криком тревоги побежал по тропе. Тарзан бросился в погоню по деревьям и через несколько минут увидел впереди отчаянно бегущих людей.

Тарзан их легко обогнал, и они не заметили ни того, как он бесшумно несся над их головами, ни того, как он притаился на низкой ветке, под которой пролегал тропы. Тарзан дал пройти двум первым воинам, но когда третий приблизился, тихая петля охватила черное горло и была затянута ловким движением.

Негр испустил душераздирающий крик, и его товарищи, обернувшись, увидели, что содрогающееся тело точно по волшебству медленно поднимается в густую листву над ними. С криками ужаса они бросились бежать еще быстрее, надеясь спастись.

Тарзан молчаливо и быстро покончил со своим пленником, снял с него оружие, украшения и — о, счастье! — прекрасную повязку с бедер. Он тотчас же надел ее на себя.

Вот теперь он, наконец, одет так, как подобает человеку. Никто не сможет больше сомневаться в его высоком происхождении. Как приятно

было бы вернуться сейчас к своему племени, выставив напоказ перед их завистливыми глазами этот удивительный наряд!

Взвалив тело чернокожего на плечо, он неторопливо двинулся по деревьям к маленькому, обнесенному частоколом поселку, потому что опять нуждался в стрелах.

Подобравшись к палисаду, Тарзан увидел возбужденную толпу, окружающую обоих беглецов, которые, дрожа от страха и усталости, рассказывали неслыханные подробности своего приключения.

— Мирандо,— говорили они,— шел вперед неподалеку от них, внезапно он побежал, крича, что страшный человек, белый и голый, преследует его. Они тоже побежали.

Затем снова раздался пронзительный крик ужаса Мирандо, и когда они обернулись, то увидели потрясающее зрелище — тело их товарища летело вверх, в деревья, руки и ноги его судорожно бились в воздухе, а язык высывался из открытого рта. Ни одного звука не произнес он больше, и около него не было видно решительно никого.

В поселке началась паника. Но мудрый старый Мбонга сделал вид, что не верит их рассказу.

— Вы поведали нам длинную сказку потому, что не посмели сказать правды. Вам стыдно признаться, что когда лев прыгнул на Мирандо, вы удрали, бросив его. Вы трусы!

Едва Мбонга кончил говорить, как над ним в ветвях дерева раздался громкий треск. Все со страхом взглянули вверх. Зрелище, представившееся их глазам, заставило содрогнуться даже мудрого старого Мбонгу: переворачиваясь и извиваясь, с вершин пролетело тело Мирандо и с глухим стуком распласталось у их ног. Туземцы, как один, бросились врассыпную и исчезли в окружающих зарослях.

Тарзан смело вошел в поселок, возобновил запас стрел и съел пищу, заготовленную дикарями для усмирения гнева таинственного злого духа.

Прежде чем уйти, он перенес тело Мирандо к воротам поселка и поставил его у изгороди так, что казалось, будто его мертвые глаза смотрят из-за ограды на тропу, ведущую в джунгли.

Много раз пытались безумно испуганные аборигены войти в поселок мимо страшного, скалившего зубы мертвого их товарища, пока все же осмелились. Когда они увидели, что пища и стрелы исчезли, то поняли, что Мирандо погиб потому, что видел страшного духа джунглей. Это объяснение показалось им самым разумным. Все, кто встречал этого ужасного бога лесов, умирали.

Они решили также, что пока они будут снабжать божество стрелами и пищей, оно не причинит им вреда, нужно только не встречаться с ним. И потому Мбонга постановил, чтобы рядом с пищей клали и приношение стрелами этому Мунанго Ксевати. С тех пор так и повелось.

Если вам когда-либо случится побывать в этом поселке, затерянном в африканских джунглях, то и вы, несомненно, увидите перед крошечной тростниковой хижинкой, построенной у ограды поселка, небольшой горшок с пищей, а рядом



колчан с хорошо смазанными отравой стрелами.

Тем временем Гарзан неторопливо шел домой. Подходя к отлогому берегу, где стояла его хижина, он увидел необычайное зрелище.

В зеркальной воде бухты стояло большое судно, а на берег была вытащена небольшая шлюпка. Но самым удивительным было то, что между берегом и его хижиной сновало несколько похожих на него белых людей. Гарзан подкрался к ним по деревьям почти вплотную.

Их было десять человек. Смуглые, загорелые от солнца их лица были грубы и неприятны. Они столпились вокруг лодки, громко и сердито споря и сильно жестикулируя. Один из них, низкорослый чернобородый человек со скверным, подлым лицом, напоминал Гарзану крысу-Памба. Он положил руку на плечо гиганту, стоявшему рядом, которому все остальные горячо возражали, и отвлек его внимание, тыча пальцем в глубину джунглей. Гигант повернулся, чтобы взглянуть в указанном направлении, и в этот же миг чернобородый с подлым лицом выхватил из-за пояса револьвер и выстрелил ему в спину.

Великан всплеснул руками над головой, колени его подогнулись, и без единого звука он замертво свалился на землю.

Выстрел, первый, когда-либо слышанный Гарзаном, вызвал в нем удивление, но и этот непривычный звук не мог заставить его вздрогнуть.

Поведение белых чужеземцев — вот что более всего смутило его. Он сдвинул брови и нахмурился, глубоко задумавшись. «Хорошо сделал я, — подумал Гарзан, — что сдержал свой первый порыв броситься навстречу и приветствовать этих белых людей, как братьев!»

Очевидно, они ничем не отличались от черных людей и были не более цивилизованы, чем обезьяны, и не менее жестоки, чем Сабор.

Одно мгновение все стояли и молча смотрели на маленького человека с отталкивающим лицом и мертвого великана. Затем один из них засмеялся и хлопнул чернобородого по спине. Опять пошли длинные разговоры и жестикуляции, но ссоры прекратились.

Что-то решив, они столкнули лодку, прыгнули в нее и стали гребти к большому кораблю, на палубе которого Гарзан разглядел множество других фигур.

Когда люди с лодки поднялись на борт, Гарзан спрыгнул на землю и пополз к хижине.

Проскользнув в дверь, он увидел полный погром. Книжки и карандаши валялись на полу, оружие и другие вещи тоже были повсюду раскиданы. От захлестнувшего его гнева свежий шрам на лбу Гарзана внезапно выступил ярко-малиновой полосой на смуглой коже.

Быстро подбежал Гарзан к шкафу и стал там шарить в углублении на нижней полке. «А!» — облегченно вздохнул он, когда вынул оттуда металлический ларчик, и, открыв его, нашел нетронутыми свои величайшие сокровища — фотографию улыбающегося молодого человека с энергичным лицом и загадочную черную книжечку.

Вдруг его четкое ухо уловило слабый, но незакомый звук.

Подбежав к окну, Гарзан увидел, что с большого корабля спущена на воду рядом с первой

еще одна шлюпка. Много людей, перелезая через борт большого судна, садились в лодки. Несколько минут Тарзан наблюдал, как в шлюпки спускали разные ящики и тюки. Когда они отчалили от корабля и направились к берегу, обезьяна-человек схватил кусок бумаги и написал на нем карандашом несколько строк прекрасно выведенными печатными буквами. Эту записку он прикрепил к двери острым сучком, затем, взяв драгоценный жестяной ларчик, стрелы и столько копий и луков, сколько смог унести, поспешил к двери и исчез в лесу.

Лодки врезались в серебристый песок, и на берег высадились разношерстная публика. Их было около двадцати, и по правде говоря, большинство состояло из позорного сброда отъявленных негодяев. Но некоторые резко отличались от них. Например, пожилой человек с седыми волосами и с большими очками в широкой оправе. Его слегка сутулые плечи были облачены в дурно сидящее на нем, но безукоризненно чистое пальто. Блестящий шелковый цилиндр на голове еще больше подчеркивал нелепость его одеяния в глуши африканских джунглей. Вторым высадился высокий молодой человек в парусиновом костюме, а после него — пожилой человек с очень высоким лбом и суетливыми манерами. Затем на берег вышла громадного роста негритянка, необычайно пестро и крикливо одетая. Она испуганно таращила глаза на джунгли и на толпу ссорившихся матросов, выгружавших из лодок тюки и ящики. Последней на берегу оказалась девушка лет двадцати. Молодой человек, стоявший у носа лодки, высоко поднял ее над волною и перенес на сушу. Она молча поблагодарила его славной улыбкой.

Вся группа безмолвно направилась прямо к хижине. Было очевидно, что участь этих людей была решена прежде, чем они оставили корабль. Впереди шли матросы с ящиками и тюками. Они опустили свои ноши на землю, и один из них заметил записку, приколотую Тарзаном к двери.

— Стой, товарищи! — крикнул он. — Что это такое? Этой бумаги здесь не было час тому назад.

Остальные матросы столпились вокруг, вытягивая шею над плечами передних. Но так как почти все они были неграмотны, один из матросов обратился к низенькому старику в пальто и цилиндре.

— Эй вы, профессор! — подзвал он его насмешливо, — шагните вперед и разберите-ка эту дурацкую записку.

Старик медленно подошел к матросам в сопровождении своих спутников. Поправив очки, он взглянул на прибитое к дверям объявление и затем пробормотал себе под нос, уходя: «Весьма замечательно, весьма замечательно».

— Стойте, старое ископаемое! — крикнул матрос, обратившийся к нему за помощью, — разве мы вас позвали, чтобы вы про себя читали, что ли? Вернитесь назад, дохлая развалина, и прочтите нам записку громко!

Пожилой господин остановился и, повернувшись, сказал:

— Ах, и то правда! Милостивый государь, тысячу раз прошу извинения. Это была рассеянность с моей стороны, да, сильная рассеянность.



Записка в высшей степени замечательна, в высшей степени замечательна!

Он опять взглянул на записку, перечел ее про себя и, по всей вероятности, повернулся бы и снова пошел, размышляя над ее содержанием, если бы матрос не схватил его грубо за ворот и не проревел ему в самое ухо:

— Читайте громко, старый идиот! Громко!

— Ах да, в самом деле, в самом деле! — вежливо ответил профессор и, еще раз поправив очки, прочел вслух:

«Это дом Тарзана, убийцы зверей и многих черных людей. Не портите вещи, принадлежащие Тарзану. Тарзан следит.

Тарзан из племени обезьян.»

— Что за черт, какой Тарзан? — крикнул матрос.

— Он, очевидно, знает по-английски, — ответил молодой человек.

— Но что значит: «Тарзан из племени обезьян?» — воскликнула молодая девушка.

— Не знаю, мисс Портер, — сказал он. — Может быть, мы открыли обезьяну, сбежавшую из лондонского зоологического сада, которая привезла в свои родные джунгли европейское образование. Каково ваше мнение об этом, профессор Портер? — добавил он, обращаясь к старику.

Профессор Портер поправил очки:

— Да, в самом деле, это в высшей степени замечательно, в высшей степени замечательно! — сказал он. — И мне нечего добавить. — С этими словами профессор медленно направился к джунглям.

— Но, папа, — воскликнула девушка, — вы еще ничего не объяснили нам!

— Тихе, тихе, дитя, — ответил профессор Портер ласковым и снисходительным тоном. — Не затрудняйте вашу хорошенькую головку такими тяжелыми и отвлеченными проблемами. — И он опять медленно стал прохаживаться взад-вперед, устремив глаза под ноги и заложив руки под развевающиеся фалды пальто.

— Думаю, что выживший из ума старый чудак столько же знает, сколько и мы, — проворчал матрос с крысиным лицом.

— Извольте быть вежливым, — воскликнул молодой человек, поблдев от гнева. — Вы убили своих офицеров и ограбили нас. Мы в вашей власти, но я заставляю вас относиться с должным почтением к профессору Портеру и к мисс Портер или голыми руками сверну вашу подлую шею.

И он так решительно подошел к матросу, что тот, хотя у него было два револьвера и достаточно внушительного вида нож за поясом, отступил в смущении.

— Проклятый трус! — полетело ему вдогонку. — Вы никогда не посмеете убить человека, пока он не повернется к вам спиной. Да и тогда даже вы не осмелитесь в меня выстрелить. — И, сказав эти слова, молодой человек демонстративно повернулся спиной к матросу и беспечно пошел, как бы испытывая его.

Рука матроса медленно потянулась к рукоятке одного из его револьверов, и глаза зло блеснули. Его товарищи смотрели на него, но он все колебался. В душе он был еще большим трусом, чем предполагал Уильям Сесиль Клейтон.

Из густой листвы находящегося вблизи дерева два зорких глаза внимательно следили за каждым движением пришельцев.

Тарзан видел, какое изумление вызвала его записка, и хотя он и не мог понять ни одного слова из разговора этих странных людей, но жесты и выражение лиц сказали ему многое.

Поступок чернобородого с крысиным лицом, убившего одного из своих товарищей, уже тогда вызвал в Тарзане сильное отвращение. А теперь, когда он увидел, что матрос ссорится с красивым молодым человеком, враждебность его к нему усилилась. Тарзан никогда до того дня не видел действия огнестрельного оружия, хотя знал об этом кое-что из книг. Но когда он заметил, что «крысья морда» хватается за рукоять револьвера, он вспомнил ссору у лодки и, конечно, счел, что молодой человек будет тоже убит.

И Тарзан положил отравленную стрелу на лук, нацелился в него. Но зелень была так густа, что он тотчас же понял, что стрела непременно будет отклонена листьями. И тогда вместо стрелы он пустил со своего воздушного наседа тяжелое копьё.

Клейтон отошел на какие-нибудь десять шагов. Матрос с крысиным лицом уже вытащил наполовину револьвер, остальные матросы с напряженным вниманием следили за происходившим.

Профессор Портер скрылся в зарослях, за ним последовал и суетливый Самюэль Т. Филандер, его секретарь и ассистент.

Негритянка Эсмеральда выбирала багаж своей госпожи из груды тюков и ящиков у дверей хижины, а мисс Портер, повернувшись, пошла за Клейтоном, но вдруг что-то заставило ее обернуться к матросу.

В это мгновение почти одновременно произошло три события: матрос выхватил револьвер и прицелился в спину Клейтона, мисс Портер вскрикнула, а длинное, с металлическим острием, копьё сверкнуло сверху, как молния, и пронзило насквозь правое плечо человека с крысиным лицом. Револьвер бесцельно разрядился в воздух, а матрос сжегился и вскрикнул от боли и ужаса.

Клейтон обернулся и побежал к месту происшествия. Перепуганные матросы с револьверами в руках вглядывались в джунгли. Раненый стонал и корчился на земле.

Клейтон незаметно поднял упавший револьвер и спрятал его у себя на груди, затем подошел к группе матросов.

— Кто это мог быть? — шепнула Джен Портер, и молодой человек, обернувшись, увидел, что она стоит почти рядом, с широко раскрытыми от изумления глазами.

— Думаю, что этот Тарзан, из племени обезьян, хорошо следит за нами, — ответил он неуверенным тоном. — Не знаю, для кого было предназначено это копьё. Если для Снайпса, то в этом случае ваш обезьяний друг — друг на самом деле. Но, клянусь Юпитером, где ваш отец и мистер Филандер? Здесь есть кто-то или что-то в этих джунглях, и это что-то, кем бы оно ни было, вооружено. Мистер Филандер! Профессор! Мистер Филандер! Сюда! — крикнул юный Клейтон.

Ответа не было.

— Что же нам делать, мисс Портер? — лицо

молодого человека выражало недоумение и нерешительность:— Я не могу оставить вас здесь одну с этими разбойниками, и вы, конечно, не можете рисковать и идти со мной в джунгли. Но кто-то же должен отправиться на поиски вашего отца. Он способен бесцельно бродить, не обращая внимания на опасность и на выбор дороги. А мистер Филандер лишь чуточку менее непрактичен, чем он. Вы простите меня за откровенность, но жизнь всех нас в такой опасности, что, когда мы разыщем вашего отца, ему надо будет внушить, что он подвергает риску и вас и самого себя своею рассеянностью.

— Вполне согласна с вами, — ответила девушка, — и нимало не обижаюсь. Бедный милый папа отдал бы жизнь за меня, не колеблясь ни минуты, если б только ему удалось на мгновение задержать свое внимание на таком легкомысленном предмете. Но удержать его от опасности можно только приковав на цепь к дереву. Бедный, милый папа, он такой непрактичный!

— Эврика! — вдруг воскликнул Клейтон. — Умеете ли вы обращаться с револьвером?

— Умею. Почему вы спрашиваете?

— У меня есть револьвер. С ним вы и Эсмеральда будете в сравнительной безопасности в хижине, а я же пойду разыскивать вашего отца и мистера Филандера. Итак, зовите Эсмеральду, а я поспешу на розыски. Они еще не могли уйти далеко.

Джен Портер последовала совету, и когда Клейтон увидел, что дверь плотно закрылась за женщинами, он направился в джунгли.

Матросы пытались вытащить копьё из раны товарища. И наконец справились с этой задачей. Клейтон подошел и попросил одолжить ему на время револьвер, пока он будет разыскивать в джунглях профессора.

Матрос с крысиным лицом убедился, что он еще жив и к нему вернулось все его бывшее нахальство. Сквернословя через каждое слово, он отказал Клейтону в каком бы то ни было огнестрельном оружии. Со времени убийства прежнего предводителя Снайпс взял на себя роль вождя, и никто из товарищей не оспаривал его авторитет.

Клейтон только пожал плечами, подобрал копьё, произвешее Снайпса, и, вооруженный этим первобытным оружием, углубился в джунгли. Каждые несколько минут он громко звал профессора и его ассистента. Из хижины женщины слышали, как звук его голоса становился все слабее и слабее, пока его совсем не поглотил шум леса...

Когда профессор Портер и его ассистент Самюэль Филандер, после долгих настойчивых переговоров последнего, решили вернуться к лагерю, они уже, хотя этого и не сознавали, безнадежно заблудились в диком и запутанном лабиринте джунглей. Еще чудо, что они направились к побережью Африки, а не к Занзибару — в глубь Черного континента.

Когда они добрались до берега и не нашли лагеря, Филандер стал уверять, что они находятся севернее места своей высадки, в то время как на самом деле они были в двухстах ярдах южнее нее. В голову этих непрактичных теоретиков ни разу не пришло громко крикнуть, чтобы привлечь

внимание друзей. Вместо того, с непоколебимой уверенностью, созданной дедуктивными рассуждениями, основанными на ложной предпосылке, мистер Самюэль Т. Филандер крепко ухватил за руку профессора Архимеда Кв. Портера и, несмотря на слабый протест старого джентльмена, повлек его по направлению Кейптауна, находящегося в тысяче пятистах милях к югу.

Едва Джен Портер и Эсмеральда почувствовали себя в безопасности за дверью хижины, первой мыслью негритянки было забаррикадировать ее изнутри. Она обернулась, чтобы поискать что-нибудь для этой цели. Но взгляд, брошенный на окружающую обстановку, вызвал у нее крик ужаса, и, подобно испуганному ребенку, черная великанша подбежала к своей госпоже, чтобы спрятать лицо на ее плече.

Джен Портер, обернувшись на этот крик, увидел причину его — лежащий на полу скелет мужчины. Другой взгляд — и она увидела второй скелет на постели.

— В каком мы страшном месте! — прошептала пораженная девушка. Но в голосе ее не было паники.

Освободившись от цепких объятий все еще орущей Эсмеральды, Джен Портер перешла через всю комнату, чтобы заглянуть в маленькую колыбель, предполагая наперед, что она увидит, прежде, чем крошечный скелетик открылся перед нею во всей своей жалостной и трогательной хрупкости. О какой страшной трагедии говорили эти бедные кости? Девушка вздохнула при мысли о том, какие случайности могут ожидать ее и друзей в этом роковом месте, какие призраки таинственных и, быть может, враждебных существ реют над нею. Но она пересилила себя и, нетерпеливо топнув маленькой ножкой, постаралась отогнать мрачные предчувствия. Затем, обратясь к Эсмеральде, велела ей прекратить вопли.

— Замолчите, Эсмеральда, замолчите сию же минуту! — крикнула она. — От вашего крика только хуже. Господи, я никогда не видела такого большого младенца!

Она dokonчила эти слова с грехом пополам с дрожью в голосе, вспомнив о трех мужчинах, пропавших в глубине мрачных джунглей, на покровительство которых она так рассчитывала.

Вскоре девушка увидела, что дверь была оборудована внутри тяжелой деревянной перекладиной, и после нескольких попыток соединенные силы обеих женщин помогли наконец вдвинуть ее на место в первый раз за последние двадцать лет.

Крепко обнявшись, они сели на скамейку и стали ждать.

Во власти джунглей

Клейтон исчез в зарослях, а бунтовщики принялись спорить о своих дальнейших намерениях. В одном они были согласны, что им следует быстрее вернуться на стоящий в бухте «Арроу», чтобы обезопасить себя, по крайней мере, от копей незримого врага. Когда Джен Портер с Эсмеральдой баррикадировались в хижине, трусливая шайка уже поспешно гребла к своему кораблю в двух лодках, доставивших их на берег.



В этот день Тарзан увидел столько всего, что его голова шла кругом. Но самым удивительным зрелищем было для него — лицо прекрасной белой девушки. Она из его собственной породы — в этом он не сомневался! Да и молодой человек, и оба старика были именно такими, какими рисовало его воображение. Наверно, и они так свирепы и жестоки, подобно другим людям, которых он встретил. Тот факт, что они были безоружны, служил, вероятно, объяснением, почему они еще никого не убили. Быть может, они повели бы себя точно так же, будь у них в руках оружие.

Тарзан видел, как молодой человек поднял упавший револьвер раненого Снайпса и спрятал его, он подсмотрел также, как он осторожно передал его девушке, когда та входила в хижину.

Тарзан не понимал мотивов их поступков, но, так или иначе, молодой человек и оба старика ему интуитивно понравились, а к молодой девушке он почувствовал странное непонятное влечение. Что же касается черной толстухи, то она, очевидно, каким-то образом имела отношение к молодой девушке, и потому тоже ему нравилась.

К матросам, в особенности к Снайпсу, Тарзан определенно чувствовал ненависть. Он понял по их угрожающим жестам и по выражению скверных лиц, что они были врагами симпатичных ему людей, и потому решил тайно за ними присматривать.

Тарзан дивился, почему мужчины пошли в джунгли, но ему и в голову не могло прийти, что можно заблудиться в спутанной чаще низколесья, которая для него была так же ясна, как для нас главная улица в родном городе. Тарзан быстро помчался по направлению, избранному Клейтоном, чтобы узнать, какое у того могло быть дело в джунглях. Вскоре он достиг белого человека, доведенного почти до изнеможения. Тот прислонился к дереву, вытирая со лба пот. Обезьяна-человек, надежно скрытый за ширмой листвы, сидел и внимательно изучал этот новый экземпляр своего собственного рода. По временам Клейтон громко кричал, и Тарзан понял, что он ищет стариков.

Тарзан собрался было сам идти на поиски пропавших, как вдруг заметил желтый блеск гладкой лоснящейся кожи леопарда Шиты, осторожно пробиравшегося сквозь заросли к Клейтону. Тарзан отчетливо слышал шуршание трав и удивлялся, почему белый человек не насторожился. Могло ли быть, чтобы он не слышал громких шорохов? Никогда раньше Тарзан не видел Шиту таким неуклюжим. Но белый человек по-прежнему ничего не чуял. Шита приготовился к прыжку, и вдруг с высоты раздался пронзительный и леденящий кровь боевой крик человека-обезьяны. Шита повернулся и, с треском ломая ветви, исчез в кустах.

Клейтон вскочил, содрогаясь. Кровь застыла у него в жилах. Никогда еще такой ужасающий крик не раздирал ему уши. Будучи далеко не трусом, Уильям Сесиль Клейтон, старший сын лорда Грэйстока из Англии, почувствовал в этот миг в душной жаре африканских лесов ледяные пальцы страха на своем сердце. Треск кустов под прыжком громадного тела, кравшегося так близко от него, и звук ужасного крика сверху испы-

тали до последних пределов мужество Клейтона. Он не мог знать, что этому крику он был обязан жизнью и что издавший его — двоюродный брат, настоящий лорд Грэйсток.

День склонялся к закату, а Клейтон, растерянный и упавший духом, был в страшном затруднении. Он не знал, как ему лучше поступить: продолжать ли поиски профессора Портера, подвергая себя почти верной гибели в джунглях ночью, или же вернуться в хижину, где, по крайней мере, он мог быть полезен, защищая Джен Портер от опасностей, угрожавших ей со всех сторон. Ему не хотелось возвращаться в лагерь без ее отца, а еще более не хотелось оставлять ее одну беззащитной среди бунтовщиков с «Арроу» и сотни других неведомых опасностей джунглей. «Возможно, — думал он, — профессор и Филандер уже вернулись. Да, это более чем вероятно». Он решил в любом случае идти к лагерю и убедиться в этом прежде, чем продолжать дальнейшие поиски. И, спотыкаясь в густом колючем сланнике, он двинулся по направлению, где, как ему казалось, находилась хижина.

К своему удивлению, Тарзан увидел, что молодой человек идет все дальше — прямо к поселку Мбонги, и понял, что пришелец заблудился. Это казалось почти невероятным, но разум подсказывал ему, что ни один человек не отважится сознательно идти в поселок жестоких чернокожих, вооружившись одним лишь копьем, которое, по-видимому, было непривычным оружием для белого человека. Он отходил к тому же и от следа стариков. Этот след он почему-то не заметил, хотя он был ясный и свежий.

Тарзан недоумевал. В свирепых джунглях незащищенный чужеземец явится легкой добычей, если быстро не вернется к побережью. Вот уже и лев Нума выслеживает белого человека, крадясь в двенадцати шагах справа от него.

Клейтон слышал, что какое-то большое животное идет параллельно с ним. Внезапно в вечернем воздухе раздался громовой рев зверя. Человек остановился, подняв копьё и вглядываясь в заросли, из которых раздался ужасный звук. Тени сгустились, темнота опускалась на землю. Боже! Умереть здесь одному, под клыками диких зверей, быть истерзанным и израненным, чувствовать горячее дыхание зверя на своем лице и когти, раздирающие грудь!

Одно мгновение все было тихо. Клейтон стоял, напряженно пригнувшись. Слабый шорох в кусте известил его, что кто-то крадется к нему. Он увидел его всего в двадцати шагах от себя — извилистое, длинное, мускулистое тело и бурую голову громадного льва с черной гривой. Животное ползло на брюхе, двигаясь вперед очень медленно. Когда глаза его встретились с глазами Клейтона, лев остановился и осторожно подобрал под себя задние лапы. В порыве мучительного отчаяния человек ждал, боясь бросить копьё, не имея сил бежать. В ветвях над его головой раздался шум. «Новая опасность», — мелькнуло у него в голове, но он не решился отвести глаз от горевших перед ним желто-зеленых зрачков. Раздался резкий звук, словно порвалась струна мандолины, и стрела вонзилась в желтую шкуру льва.

С ревом боли и гнева животное прыгнуло, но

Клейтон успел отскочить в сторону, и когда снова обернулся к обезумевшему царю зверей, то был ошеломлен представившемуся его взорам зрелищем. В тот момент, когда зверь повернулся, чтобы возобновить нападение, голый гигант спрыгнул с дерева прямо ему на спину. Как молния, рука, свитая из железных мускулов, окружила громадную шею, и большое животное, рычащее и рвущее когтями воздух, было поднято так легко, как Клейтон поднял бы комнатную собачку.

Зрелище, свидетелем которого он стал в сумеречной глуши африканских джунглей, навсегда врезалось в память англичанина. Стоящий перед ним человек являлся олицетворением физического совершенства и титанической силы. Он схватил правой рукой шею льва, в то время как левая рука несколько раз кряду всаживала нож в незащищенный бок зверя. Разъяренное животное, поднятое на дыбы, беспомощно барахталось в этом неестественном положении. Все произошло так быстро, что, прежде чем лев оправился от столь неожиданного нападения, он свалился мертвым на землю.

Тогда странная фигура победителя выпрямилась во весь рост над трупом льва и, откинув назад дикую и прекрасную голову, издала тот самый страшный крик, который несколько минут назад так испугал Клейтона.

Он видел перед собой молодого человека, совершенно голого, за исключением повязки на бедрах и нескольких варварских украшений на руках и ногах. На груди, ярко выделяясь на гладкой коричневой коже, сверкал драгоценный бриллиантовый медальон. Охотничий нож был уже вложен в самодельные ножны, и человек поднял с земли свой лук и стрелы, брошенные перед прыжком на льва.

Клейтон заговорил с незнакомцем по-английски, благодаря его за смелое спасение и приветствуя изумительную силу и ловкость, оказанные им. Но единственным ответом был уверенный взгляд и легкое пожатие могучими плечами, которое могло означать либо пренебрежение оказанной услуги, либо незнание языка Клейтона.

Закинув за плечи лук и колчан, дикий человек — таким Клейтон считал его теперь — снова вытащил нож и ловко вырезал дюжину широких полосок из туши льва, усевшись на корточках, он принялся поедать мясо, сделав знак Клейтону, чтобы он присоединился к нему.

Крепкие белые зубы с явным удовольствием вонзились в сырое мясо, с которого еще капала кровь. Но Клейтон не мог заставить себя разделить это пиршество со своим странным хозяином. Он наблюдал за ним и все более убеждался, что это и есть Тарзан, записку которого утром он видел прибитой к двери хижины.

Если это так, то он должен говорить по-английски.

Снова Клейтон пытался завести разговор с обезьяной-человеком, но в ответ услышал странные слова, похожие на бормотание марышки, смешанное с рычанием хищного зверя.

Нет, это не мог быть Тарзан: было очевидно, что он английского языка совершенно не знает.

Когда Тарзан кончил есть, он встал и, указывая на совершенно другое направление, чем то,

по которому шел Клейтон, пошел вперед сквозь джунгли.

Ошеломленный, Клейтон колебался, следовать ли за ним, потому что он боялся, не ведет ли его дикарь еще глубже в чащу лесов. Но обезьяна-человек, видя, что он не двигается с места, вернулся и, схватив за платые, тащил за собой до тех пор, пока Клейтон понял, что от него требуется. Тогда ему позволили идти добровольно.

Придя к заключению, что он в плену, англичанин, не видя иного исхода, последовал за Тарзаном. Пока они медленно пробирались по джунглям, мягкая мантия непроницаемой лесной ночи легла окрест. Кругом раздавались крадущиеся шаги мягких лап, смешанные с хрустением ломающихся веток и с дикими зовами лесных тварей, которые, как казалось Клейтону, окружали его со всех сторон.

Внезапно Клейтон услышал слабый звук огнестрельного оружия. Последовал только один выстрел, а затем наступила тишина...

В хижине на берегу две смертельно испуганные женщины прижимались друг к другу на низенькой скамейке в сгущающейся темноте.

Негритянка истерично рыдала, оплакивая несчастный день своего отъезда из дорогого родного Мэриленда, а белая девушка, с сухими глазами и внешне спокойная, мучилась внутренними страхами и предчувствиями. Она боялась и за себя, и за своих друзей, скитающихся в бездонной глубине диких джунглей, из которых теперь доносились почти непрерывно крики и рев, лай и рычание страшных обитателей, искавших добычу.

И вдруг послышался шум тяжелого тела, которое терлось о стены хижины. Девушка различала крадущиеся, мягкие шаги. На мгновение наступила тишина. Даже дикие крики в лесу стихли до слабого шепота. А затем она ясно услышала фыркание животного у двери, не дальше двух футов от того места, где она притаилась.

Инстинктивно девушка содрогнулась и прижалась ближе к черной женщине.

— Тс... тише! — шепнула она, — тише, Эсмеральда, — так как стоны и рыдания женщины, казалось, привлекали зверя за тонкой стеной.

В дверь стали царапаться. Зверь пытался насильно ворваться в хижину, но безуспешно, и опять девушка услышала, как огромные лапы мягко крадутся вокруг хижины. Снова шаги остановились — на этот раз под окном, и туда теперь устремился испуганный взгляд девушки.

— Боже! — шепнула она в ужасе. В маленьком квадратном окне, силуэтом на освещенном лунной небе, вырисовывалась голова громадной львицы. Горящие глаза ее были с сосредоточенной яростью устремлены на девушку.

— Эсмеральда, смотрите, — шепнула она. — Боже мой! Что нам делать? Смотрите! Скорей! Окно!

Эсмеральда, еще теснее прижимаясь к своей госпоже, бросила испуганный взгляд на маленький квадрат лунного света. Львица издала глухое свирепое рычание. Зрелище, представившееся глазам бедной негритянки, было чересчур потрясающим для ее натянутых нервов.

— О, Габерелле, — простонала она и соскользнула на пол.

Долго, бесконечно долго стояла львица у окна, положив на решетку лапы, и смотрела во все глаза в комнату. Наконец она решила испытать своими большими когтями крепость решетки.

Девушка почти перестала дышать, но, к ее облегчению, голова зверя исчезла, и она услышала его удаляющиеся шаги. Но львица снова приблизилась к двери, снова началось царапанье, на этот раз с нарастающей силой, пока наконец зверь не стал рвать массивные доски в полном бешенстве от желания схватить беззащитную жертву.

Если бы Джен Портер знала о неимоверной крепости двери, сколоченной часть за частью, она бы меньше опасалась за нападение львицы с этой стороны.

Могло ли прийти в голову Джону Клейтону, когда он сколачивал эту грубую, но могучую дверь, что двадцать лет спустя она защитит от клыков и когтей львицы прекрасную американскую девушку, тогда еще не родившуюся?

Целые двадцать минут зверь фыркал и бился около двери, по временам издавая дикий, свирепый рев, полный бешенства. Джен Портер услышала, что львица возвращается к окну. Установившись на мгновение, она обрушилась всей своей огромной тяжестью на ослабевшую от времени решетку.

Словно в иступлении девушка встала, держа руку на груди, с широко раскрытыми от ужаса глазами, устремленными на оскаленную морду зверя, находившегося не дальше десяти футов от нее. У ног Джен лежала в обмороке негритянка.

Девушка стояла бледная и неподвижная у глухой стены и искала какую-либо лазейку для спасения. Внезапно рука ее, крепко прижатая к груди, нащупала твердые очертания револьвера, который Клейтон, уходя, оставил ей. Быстро схватив его из-за корсажа, она, целясь прямо в морду львицы, спустила курок.

Блеснуло пламя, послышался грохот выстрела и рев боли и гнева зверя.

Джен Портер увидела, что большая туша исчезла из окна, и потеряла сознание, уронив револьвер.

Но Сабор не была убита. Пуля лишь нанесла ей болезненную рану в плечо. Только неожиданность ослепительной вспышки огня и оглушающий грохот были причиной ее поспешного, но временного отступления. Еще мгновение, и она с удвоенной яростью вернулась к решетке и принялась рвать ее когтями, но с меньшим успехом, чем прежде, так как раненая лапа почти бездействовала.

Она видела перед собой свою добычу — двух женщин, распростертых на полу, и чувствовала, что сопротивления не встретит. Мясо лежало перед ней, и Сабор оставалось только пробраться через решетку, чтобы схватить его.

Дюйм за дюймом, с трудом протискивала она через отверстие свое большое туловище. Вот прошла голова, вот пролезло здоровое предплечье, затем она осторожно подняла раненую лапу, чтобы втиснуть ее между узкими брусками. Еще минута — и длинное гибкое тело проскользнет в хижину.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ПАРАД МЕЛОДИЙ

С того момента, когда великий американец Томас Эдисон изобрел аппарат, способный воспроизводить записанную мелодию, история человеческого общества получила музыкальное оформление.

Все, кто февральским днем заглянул в краеведческий музей города Верхнего Уфалея Челябинской области, могли перенестись на крыльях мелодии в любое десятилетие XX века и даже заглянуть за его пределы. Здесь несколько дней гостила выставка «100 лет русской грампластинке».

Из последних десятилетий прошлого века донеслись до нас мелодии романсов и русских песен «Хорошо было детиншке», «Сусанин», «Я долго случая искала», «Петербургский военный марш», записанные еще на пластинках иностранных фирм.

После революции звучащие диски выпускали у нас два завода: «Апрелевский» и «Ногинский», объединенные позже в фирму «Грампластрест».

Вот они, популярные мелодии периода гражданской войны и 20-х годов: «Кирпичики», «Шахта № 3», «Песня о Чапаеве», «Винтовка», «Тачанка»... За ними следуют танцевальные ритмы: фокстрот, румба, знаменитая «Рио-Рита»...

Затем мы слышим голоса И. Козловского, С. Лемешева, Изабеллы Юрьевой, Л. Утесова; звучат «Два друга», «Орленок», «Если завтра война», неувядающие песни военных лет.

Им на смену приходят «Белокрылые чайки», «Мы с тобою не дружили», «Хороши весной в саду цветочки» и другие песни в исполнении В. Бунчикова, Г. Отса, Л. Кострицы, В. Нечаева.

В 60-е годы разрозненные заводы объединены в фирму «Мелодия». Рождаются первые долгоиграющие и стереофонические грампластинки с концертами Марка Бернеса, серией «Вокруг света» и другими.

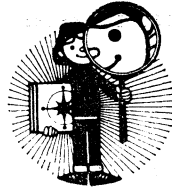
Побывать в этом музыкальном путешествии верхнеуфалеяцам помог одесский кооператив творческих работников «Диапазон», представивший грампластинки из собрания М. Н. Шершнева.

Кроме звучащей выставки, «Диапазон» предлагает также русские самовары, ямские колокольчики и светильники XVIII—XX веков.

Экспонаты «Диапазона» побывали уже во многих городах Урала, Сибири, Поволжья, Украины.

О. ПОЛЯКОВ

**МИР
НА ЛАДОНИ**



Шапки против Шляп

Что вы подумаете, увидев такой заголовок? Пожалуй, многие решат, что речь идет о противостоянии в моде «демократичных» шапок и изысканных, престижных шляп. Нет, я совсем не о головных уборах, а о... двух политических партиях. Эти имена — Шляпы и Шапки — они носили в Швеции XVIII века. Обе партии были аристократическими, отличаясь друг от друга тем, что первые (Шляпы) добивались внутренних реформ, а вторые (Шапки) стремились к войнам с Россией. В то же время, как свидетельствует «Реальный энциклопедический словарь» 1906 года издания (откуда и взяты эти сведения), «и те, и другая были подкупны», то есть, попросту говоря, продажны.

До 1738 года в Швеции господствовали Шляпы. Затем верх взяли Шапки, которые и вовлекли свою страну в войну с Россией и ее союзницей Пруссией. В результате этих военных действий, длившихся два года (1741—1743), северное королевство потеряло — по Абоскому мирному трактату — часть финской территории, которая отошла к России. Словом, Шапкам тогда крепко дали по шапке. Тем не менее они продержались у власти до 1765 года, когда с помощью русского правительства («сработала», надо полагать, подкупность-продажность) у государственного руля вновь встали Шляпы.

После этого шведские партии «головных уборов» попеременно брали власть. Их перманентная борьба привела в 1772 году к государственному перевороту, совершеному королем Густавом III с помощью Шапок и резко усилившему в стране монархический абсолютизм за счет властолюбивых притязаний аристократии.

Густав III, будучи все же в какой-то мере ставленником Шапок, продолжал их внешнеполитическую линию и в конце концов затеял очередную войну с Россией: да мы ее шапками закидаем, вернем себе господство на Балтийском море, а Швеции — славу великой мировой державы! Но и на сей раз королевство «прошляпило» войну с могучим соседом и окончательно перешло в разряд

третьестепенных стран в европейской политике.

Это падение одновременно положило конец аристократическим Шапкам и Шляпам, драматическая борьба которых продолжалась около семидесяти лет. В наши дни, как известно, королевство Швеции бессменно с 1932 года возглавляет правительство социал-демократической партии.

А. СЛАВИН

Что снится смелым!

Змей на Земле осталось совсем мало. И тем не менее многие их боятся. Есть даже люди, которых пугает одно изображение змеи или даже похожий на змею телефонный провод. А одна пациентка американского психолога Сью Вейденфелд даже убрала с полки и спрятала том энциклопедии на букву «S».

Сейчас Сью Вейденфелд лечит от страха перед змеями по методу своего коллеги по Стэнфордскому университету Алберта Бандуры. Пациенты постепенно привыкают к змеям: сначала смотрят на них с безопасного расстояния, а в конце курса иногда уже могут брать змей руками.

Один пациент перестал бояться не только змей. «У меня произошел качественный скачок», — говорит он. — Я теперь вообще ничего не боюсь».

Любопытно, что после лечения мучавшие пациентов кошмары со змеями превращаются в простые сны. «А в этих снах», — говорит Вейденфелд, — люди больше не каменеют от страха. Они становятся более смелыми и уверенными в себе». Одна пациентка, которую по ночам преследовали змеи, после лечения разорвала во сне пасть змеи голыми руками. Другая, которой все время снилось, что ее ударяют змеей, почувствовала, что хвост змеи превратился в хвост пуделя. А женщина, которая боялась змей с тех пор, как братья в детстве подложили ей трех особей в шифоньер, увидела во сне, как большой удав моет ей посуду и вытирает ее хвостом...

В. РОЩАХОВСКИЙ



ОЖЕРЕЛЬЕ КОРОЛЕВЫ И ФРАНЦИЗ ИЗ ФЕОДОСИИ



Борис
СЛУЧАНКО

Известный французский романист Александр Дюма-отец оставил нам тома книг, где в пестром калейдоскопе событий переплетаются колеты и шпаги, короли и мушкетеры, знатные дамы и авантюристки... «Заставляет ли Дюма думать?» — спрашивал А. Моруа, автор книги «Три Дюма». И отвечал — «редко...» «Мечтать? — Никогда. Лихорадочно перерывать страницы? — Всегда.»

Весь мир и сама Франция знакомилась с французской историей по романам Александра Дюма. Была эта история не во всем верна, но всегда полна самого захватывающего драматизма.

Теме Французской буржуазной революции Дюма посвятил большой цикл романов, куда вошли «Записки врача», «Ожерелье королевы», «Анж Питу» и «Графиня Шарни». Любопытно, что в противоположность многим романам, где крупные исторические события выступают как эффектная декорация, на фоне которой разворачиваются внутренне мало с ней связанные судьбы героев, в романах «Записки врача» и «Ожерелье королевы» называются конкретные имена, раскрывается сам ход революции, дается анализ причин, ускоривших ее взрыв. Правда, делает это Дюма в своей манере: он видит в исторических событиях только интриги частных лиц... По Александру Дюма, революция — дело рук умного интригана итальянца Жозефа Бальзамо, больше известного нам как провидец граф Калиостро.

Реальные события настолько тесно вписываются в ткань произведения, что порой трудно отличить правду от вымысла. Поэтому, пытаясь разобраться в них, мы не погрешим против истины, объединив многое из ранее написанного романа «Ожерелье королевы»...

Цикл романов открывается собранием вождей тайного масонского общества, поставившего себе целью свержение тирании во всем мире. На этом собрании выясняется, что перспектив на революцию во Франции нет, так как монархия Людовика XV пользуется авторитетом и любовью всех сословий. (Оставим это на совести Дома, ибо известно, что точительность короля, поглощенного охотой, празднествами и другими развлечениями, привели казну в расстройство, и в 1757 году на него было совершено покушение.) Тем не менее, взяв на себя дело «организации французской революции», Бальзамо, он же Калиостро, старается расшатать общественный строй, пытается скомпрометировать монархию в глазах народа, поддерживая могущество графини Дюбарри — одной из фавориток Людовика XV.

Роман «Ожерелье королевы» переносит нас к дням царствования Людовика XVI, и мы встречаемся в нем с новым персонажем — Жанной де Ла Мотт (она же Жанна де Валуа Бурбон), женщиной, родившейся в разорившейся семье и даже нищенствовавшей в детстве. Выйдя замуж за жандармского офицера, присвоившего себе титул графа, геронья стала именоваться графиней де Ла Мотт. Она-то со своим мужем и становится орудием Бальзамо в скандальном деле похищения ожерелья, бросившего тень на королеву Марию-Антуанетту. Королева тайно боролась против революции, добиваясь вооруженного выступления Австрии и Пруссии против революционной Франции. Как известно, война, начавшаяся в апреле 1792 года, ускорила кризис. Народ требовал низвержения короля, помогавшего интервентам. И 10 августа 1792 года народное восстание свергло монархию.

Но вернемся к роману и проследим события по Дюма.

Узнав, что придворные ювелиры Бемер и Бассанж не смогли убедить королеву купить у них ожерелье, Бальзамо вмешивается в их коммерческие дела, подключая сюда и Жанну де Ла Мотт, и кардинала Рогана, которого Мария-Антуанетта якобы «просила» взять на себя миссию посредника в переговорах с ювелирами. Находившийся в немилости у королевы кардинал только и искал повода примириться с ней. И все же он потребовал для лучшей убедительности от Жанны де Ла Мотт письменных обязательств королевы об уплате за бриллиантовое ожерелье 1600 ливров. И такие обязательства, сфабрикованные другом Жанны Рето де Миллетом, были ему предоставлены, хотя королева об ожерелье и не ведала.

А далее следует обычная для Дюма авантюризация истории. Вручив письмо королевы ювелирам, кардинал привез ожерелье Жанне де Ла Мотт, и графиня в его присутствии передала величайшую ценность какому-то лицу в соседней полутемной комнате — по ее словам, посланцу королевы. Через несколько дней ожерелье, разобранное на части, было перевезено мужем Жанны в Англию и там распродано.

Когда обман раскрылся, герои романа оказались за решеткой. Правда, судьи оправдали Рогана и Бальзамо, поскольку они «не ведали, что творили». А Жанну суд признал виновной.

Двести лет назад, 21 июня 1786 года, в Париже, на Гревской площади графиню Жанну де Ла Мотт высекли плетью. На плече у нее выжгли клеймо «v», что означало «voleuse» — воровка.

Через некоторое время графиня бежала из тюрьмы и добралась до





Англии. Здесь она предалась веселому времяпровождению и во время одной из оргий будто бы выпала из окна и разбилась насмерть. В Англии она якобы и похоронена.

Такова версия Дюма, и на этом можно бы поставить точку. Тем не менее, интерес к личности «великой авантюристки» — героине романа и реальному лицу — не угасал. Известно, что судьба этой женщины была не безразлична Фридриху Шиллеру, братьям Гонкурам, Стефану Цвейгу и Максимилиану Волошину.

Имя де Ла Мотт явно бы забылось, если бы не одно обстоятельство, всколыхнувшее не только царственных особ, но и пылкие умы литераторов...

Смерть невзрачной старушки, поселившейся в Старом Крыму в 1824 году и проживавшей там по 1826 год, всполошила Третье отделение Собственной его императорского величества канцелярии — органа высшей жандармской полиции в России. Бумагами Жанны де Гаше, так именовалась покойная, интересовался император Николай Первый. О немедленном розыске бумаг таврическому губернатору Нарышкину напоминают начальник русской жандармерии Бенкендорф, начальник генерального штаба Дибич, граф Пален.

Ведший расследование чиновник особых поручений установил, что в последнюю ночь перед смертью покойная разбирала и сжигала какие-то бумаги. Свою служанку она домой не пустила и потребовала, чтобы после смерти ее не обмывали и не переодевали — хоронили в том, в чем одета. После смерти ее все же раздели и увидели на плече, почти на спине, два неясных пятна, изображавшие две латинские буквы «v».

Так было положено начало поискам затерявшейся в темнице Альбиона графини де Ла Мотт и воскресшей в другом конце Европы графини де Гаше, тождественность которых вызывала сомнения. Предполагали, что свое второе имя графиня получила, выйдя замуж где-то в Англии или в Италии. Полагали, что, попав в Россию, она, возможно, оказывала услуги Зимнему дворцу, и этим объясняется тот факт, что после ее смерти из Петербурга в Крым следуют депеши об отыскании бумаг, хранившихся в «синей шкатулке».

Литератором, сделавшим послед-

ний мазок на поистине детективном литературном полотне, был человек, судьба которого столь же любопытна.

Это был писатель и историк, корреспондент французских и швейцарских газет Луи Алексис Бертрэн. Вот что рассказывает о нем некролог, опубликованный на пожелтевших страницах «Известий» Таврической Ученой Архивной Комиссии (журнал № 56 за 1919 год).

Отец Луи — инженер Алексис Бертрэн, избородил многие области Европы и Азии. В пятидесятых годах прошлого века он находился на службе в Оране (Алжире), где и родился в 1851 году его сын Луи, проведший первые годы с матерью. Отец Луи был в Феодосии, где намечалось строительство французской железной дороги. Надежды его там не оправдались, и он вернулся во Францию. Тем временем молодой Бертрэн поступил в муниципальную коллегию. Он окончил ее по курсу философии и литературы. Затем ему пришлось отбывать воинскую повинность в отдаленных лагерях Алжира и Сахары.

В 1887 году Луи появляется в Одессе, где преподает французский язык и литературу. Отец его незадолго до этого возвратился в Феодосию, где женился вторично — на дочери керченского градоначальника А. З. Херхеулидзе.

В девяностых годах Луи Бертрэн переехал в имение князя Херхеулидзе, где и жил с отцом до самой его кончины. К этому периоду относятся его первые сочинения. Большую роль он играл и в Феодосии, так как состоял французским, а затем турецким и испанским вице-консулом. Он был известен как историк Крыма. Среди сочинений, посвященных нашему полуострову, можно отметить «Путешествие по Крыму», изданное в Париже в 1892 и 1903 гг. и рекомендованное министром просвещения для всех французских школ. В печати появились его статьи о путешествии «по мертвым городам Крыма», о морском порте Феодосии. Интересна его неопубликованная пьеса «Неизвестный», поставленная всего один раз в Феодосии в 1906 году, сборы пошли в пользу жертв наводнения во Франции.

Из беллетристических и публицистических произведений Бертрэна известны его первый роман «Париж и Милан» и «Эммануэль де Габле»,

в котором трактуются проблемы социализма.

Луи Бертрэн отличался необыкновенной работоспособностью, и труды его всегда поражали тщательностью собранного и обработанного материала. Из его произведений наибольшее распространение получили книги «Графиня Ла Мотт-Валуа. Ее смерть в Крыму», а также «Героиня процесса «Ожерелье королевы», в которых он проявил себя прежде всего исследователем вопроса о личности героини романа А. Дюма. Суть этого дела была уже всем хорошо известна. Тем не менее Луи Бертрэн выдвинул предположение, что графиня де Ла Мотт и графиня де Гаше — одно лицо.

Вместе с хранителем Феодосийского музея древностей Людовиком Петровичем Колли Бертрэн провел тщательный осмотр вскрытой в Старом Крыму на армянском кладбище могилы, которую они признали как место успокоения Жанны де Ла Мотт. Но этим Бертрэн не ограничился. Он едет в Лондон и обращается к настоятелю Ламбертской церкви с просьбой показать ему документы с данными о кончине де Ла Мотт. Оказывается, эти документы сфабрикованы друзьями графини... А последняя бежала в Россию, где появилась под именем своего второго мужа!

Мысль о тождественности де Ла Мотт и де Гаше встретила яркую оппозицию со стороны французского писателя Френка Брентаю. Для разрешения разгоревшегося спора Луи Бертрэн обратился к авторитетному лицу, известному историку, специалисту в области истории Великой Французской революции Франсуа Олару. Олар вынес спорный вопрос на рассмотрение Французского литературного общества. Восторжествовало мнение Луи Бертрэна и Людовика Колли, к которому присоединились бытописатели Ф. Вигель, баронесса Боде и другие.

Десять лет понадобилось Луи Бертрэну, чтобы добиться признания своей версии. Его настойчивость и напористость помогли восстановить истину и доказать, что след коварной графини оборвался вовсе не в Англии, а в России...





Александр
СЕМЕНИН

Экзоты на окнах

После публикации серии рассказов о южных плодовых растениях (№ 2—4, 1989) редакция и авторы получили множество писем от читателей из Орла и Тулы, Перми и Прокопьевска, Николаева и Горловки, Барнаула и Иркутска, Белгорода и Новосибирска и многих других уголков страны.

Любители-растениеводы поделились собственным опытом разведения южных экзотов в комнатах. И почти в каждом письме — просьба выслать семена или черенки растений, о которых было рассказано. Увы, фонды оранжерей Ботанического сада УрО АН СССР ограничены. Нам не удалось удовлетворить даже половины поступивших заявок. Но выход есть. Увлеченным мы посоветовали бы объединяться в клубы любителей южных плодовых растений. Тогда проще решались бы многие проблемы: организация интересного досуга, получение нужной информации и, конечно, обмен посадочным материалом.

Авокадо

Как-то осенью в одном из грузинских сел старый садовник устроил для меня веселую сценку. Положил на траву кусочек мяса, а рядом ломтик плода, сорванного с дерева, под которым мы беседовали. И позвал: «Лукерий!» Роскошный черный кот лениво вышел из-за кучи хвороста. С достоинством подошел к хозяину, зевнул. Но вдруг повел усами и, совершив короткую перебежку, оказался у лакомой приманки. Каково же было мое удивление, когда, обнюхав мясо, Лукерий отвернулся и... с завидным аппетитом стал расправляться с неведомым мне фруктом. Конечно, я знал о котах-«вегетарианцах», которые могли съесть кусочек огурца или яблока, но чтобы предпочесть плоды мясу, когда есть возможность выбора!.. Садовник сказал, что называется удивительный плод — «авокадо».

Потом я многое узнал об этом растении.

Растет в Мексике дерево. Размером с нашу березу и с листьями крупными, как у тополя. Неприметно живет среди тропических экзотов. Ведь ни причудливой формы кроны, ни красочных цветков у него нет. Но вот созревают плоды и... наступает его черед. Без опасения ошибиться можно утверждать: в растительном мире нет другого, столь же необычного в своем роде фрукта!

Грушевидной формы плод достигает веса 2 кг и имеет то зеленую, то коричневую, а иногда почти черную кожуру. У гватемальских сортов шероховатая поверхность ее на-

поминает шкуру аллигатора, за что в Америке авокадо называют «аллигаторова груша». Внутри гигантского плода одно, величиной с грецкий орех, семя.

По вкусу «аллигаторова груша» уникальна. Ни кислот, ни сахаров в ее мякоти нет. Мы привыкли к тому, что зеленые фрукты кислы, затем, созревая, становятся слаще. А плод авокадо? Вообразите себе сливочное масло со вкусом грецкого ореха и ароматом тмина — и вы получите отдаленное представление о том, каков он на вкус. Мякоть «аллигаторовой груши» содержит до 30 процентов жиров, много белков, почти полный набор витаминов и настолько калорийна, что не уступает мясным блюдам (вот он откуда — «странный» выбор кота Лукерия!). Жители Гватемалы и Мексики с удовольствием едят бутерброды из авокадо, намазывая мякоть их плодов, подобно маслу, на хлеб.

Специалисты до сих пор в замешательстве: к чему же причислить плоды авокадо — к фруктам или овощам? Если к первым, то надо существенно расширить наши представления о вкусовых особенностях фруктов. А если ко вторым, то непривычно слышать, что растет овощ на больших деревьях. Все это позволяет выделить авокадо в какую-то третью группу плодовых растений.

Ценится авокадо не только как важная пищевая культура. Масло плодов находит применение в косметике для приготовления питательных кремов, полезно при сахарном диабете. В тропических странах некоторые виды авокадо, как быстрорастущие древесные породы, используют для закрепления склонов хол-

Связь ботанических учреждений с любителями через клубы очень плодотворна. Многие годы тесно связан с Ботаническим садом УрО АН СССР свердловский клуб цитрусоводов. Причем это сотрудничество уже давно не напоминает одностороннюю помощь: немало ценных растений, выращенных любителями, пополнили коллекцию экзотов в оранжереях Ботанического сада.

Во многих письмах читатели высказали пожелание продолжить публикацию рассказов о плодовых экзотах. Автор подготовил еще шесть очерков. Проблемы выбора перед ним не стояло — растений, которые можно вырастить у себя дома, еще очень много. Уход за «новичками» более сложен. Он потребует не только определенных знаний и навыков, но и немало терпения. Но ведь мы уже приобрели некоторый опыт, так что «переход в следующий класс», где все сложнее, но и интереснее, просто необходим. Удачи же и радости вам!

мов и для аллейных посадок вдоль дорог.

На Черноморском побережье Кавказа, где самые теплые зимы в нашей стране, ведутся опыты по акклиматизации этого экзотического растения. Здесь можно встретить деревья, посаженные еще в 30-е годы; некоторые из них достигли 15-метровой высоты и приносят неплохие урожаи. Однако из всех разводных в СССР субтропических плодовых культур авокадо наиболее теплолюбиво, так что вырастить «чудо-плод» даже на Черноморском побережье совсем непросто. Тем интереснее попытаться сделать это в оранжереях и комнатах.

Размножают авокадо семенами, черенками и воздушными отводками. Первый способ довольно прост и удобен. Надо только помнить, что семена быстро теряют всхожесть. Садить их следует сразу после извлечения из плодов — в 9—13-сантиметровые горшки, в почвенную смесь, состоящую из равных объемов песка, дерновой и перегнойной земли. Глубина посадки 2—3 см. Всходы появляются через 10—15 дней. Годовой прирост побегов может составить 50—80 см.

Черенки авокадо укореняются плохо (не более 10 процентов). Поэтому до посадки в песок или в смесь песка с торфом их в течение 16—18 часов замачивают в растворе гетероауксина (100 мг на 1 л воды).

Молодые растения ежегодно пересаживают в горшки большего размера в почвенную смесь такого состава: 2 части дерновой земли — 1 ч. перегнойной земли — 1 ч. песка. Взрослые растения пересаживают через 2—3 года.

Полив весной и летом обильный, осенью и зимой умеренный. С марта по октябрь растения подкармливают (2 раза в месяц) — поочередно полным минеральным удобрением с микроэлементами (3 г на 1 л воды) и навозной жижей (в разведении 1:10).

Являясь вечнозеленым деревом, авокадо страдает зимой от недостатка освещенности и сухости воздуха. В это время желательно досвечивать его лампами накаливания или люминесцентными трубками, опрыскивать листья теплой водой.

Первое цветение наступает на 4—5-м году жизни. Мелкие желтоватые цветки, собранные в метелки, появляются в марте-апреле. В комнатах лучше разводить сорта, не нуждающиеся в перекрестном опылении. Тогда плоды образуются даже в том случае, если у вас имеется только одно растение.



К сожалению, несоответствующие условия содержания сильно тормозят развитие авокадо, на многие годы отдалая начало плодоношения. И в этом случае даже 10—15-летние деревья все еще не цветут. Как немногие другие комнатные растения, нуждается авокадо в том, чтобы все меры ухода за ним выполнялись правильно.

Плоды созревают в октябре-декабре и, конечно, не бывают столь крупными, как у себя на родине. В комнатах их величина достигает 100—200 г. Выход полезных завязей невысок и даже у самоопыляющихся сортов редко превышает 1 процент.

Оптимальная температура воздуха: $+22 - +25^{\circ}\text{C}$ — летом, $+14 - +16^{\circ}\text{C}$ — зимой.

Поскольку авокадо — быстрорастущее растение, в комнатах его следует формировать в виде куста, проводя в первые 2—3 года многократные прищипки побегов и вырезая «на кольцо» лишние ветви, загущающие крону.

Болезни мексиканского экзота вызваны, в основном, несоответствующими условиями содержания в зимнее время, что внешне проявляется в засыхании краев листьев, образовании на них разноцветных некротических пятнышек и полосок. В теплую влажную погоду на листьях появляется тля, а в жаркую и сухую — паутинистый клещик.

НА СНИМКЕ: как у комнатного фикуса, листья у авокадо плотные и кожистые.



Рисунок Андрея ПУЛАТОВА

152

АНОНС

УРАЛЬСКИЙ

Следопыт-91

«Журнал ПУТЕШЕСТВИЙ, ПРИКЛЮЧЕНИЙ, ФАНТАСТИКИ И ОХОТЫ — такой подзаголовок имел наш предшественник — «Всемирный следопыт» 20-х годов нашего века. Мы продолжаем его традиции.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ — главный критерий наших рубрик «Проза», «Зарубежный микродетектив». В 1991 году вместе с новой историко-приключенческой повестью такого признанного мастера детектива, как Анатолий РОМОВ, мы предполагаем опубликовать произведения и иностранных мэтров (кстати, как вы, будущий подписчик, смотрите на продолжение «ТАРЗАНА»? Согласны? Сообщите нам, пожалуйста). В новом году уделим больше внимания молодежному АВАНГАРДУ.

ФАНТАСТИКА часто стыкуется с приключениями, особенно в нашем журнале. Давние наши друзья, конечно, помнят «шпионскую» серию фантастических повестей писателя-сибиряка Геннадия ПРАШКЕВИЧА («Шпион против компьютера», «Шпион в юрском периоде»). Очередные «шпионские страсти» разыгрываются в борьбе против алхимиков. Однако автор немножко слукавил: больше всего достается его герою от террористов, привязавших шпиона к взрывному устройству, и... Да что там! Сами узнаете. Если прочтете повесть «ЛОВЛЯ ВЕТРА». (Кстати, нехватка бумаги коснулась и нашего журнала: похоже, «Следопыт» в розничной продаже будет ограничен...).

В очередную, четвертую по счету самодельную книгу «Аэлита-91» (Фантастика «Уральского следопыта») вы сможете (если захотите) включить новые повести Андрея БАЛАБУХИ (ленинградский писатель в ней использует скандинавские мифы), Александра ЧУМАНОВА (сатиры больше, чем юмора), роман Семена СЛЕПЫНИНА (кровный брат «Звездных берегов») и:

«...Жутковатая пустота рассеялась. Выросли на ее месте башни города с тесными улицами, статуями рыцарей и звонкими трамвайчиками, бегущими по откосам городского холма... Картина за картиной, случай за случаем... Будто он, Шарик, сидит с Вильсоном в кинотеатре «Победа» и считает импульсом с экрана полужнакомый фильм.

— Вильсон! Ты когда-нибудь слышал о городе Реттерхальме?

— Не-а... Где это?»

Наверное, еще и тем отличаются наши «фэны» от Стастика Спицына, что о городе Реттерхальме прекрасно насыщаны, и знают, где он находится: в новом сериале фантастических повестей Владислава КРАПИВИНА, продолжением которого, после «Крика петуха» (читайте в следующем номере «Уральского следопыта»); явится «Белый шарик Матроса Вильсона» (читайте в «УС»-91).

ФАНТАСТИКОЙ казались нам совсем недавно многие реалии сегодняшней жизни. Невозможными (по независимости от редакции причинам) были «мистические» публикации о НЛО и инопланетянах, экстрасенсах и биополях, нынче чаще появляющиеся в «Уральском следопыте» под рубрикой «НАУКА И ТЕХНИКА НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ» — эту рубрику мы продолжим и в 1991 году.

Фантастикой казалась и возможность рассказать правду о многих моментах из многострадальной истории нашей страны, раскрыть ее глубоко упрятанные в спецархивах страницы. Мы делаем это, стараясь заполнить БЕЛЫЕ ПЯТНА ИСТОРИИ.

А о наших видах на ПУТЕШЕСТВИЯ И ОХОТУ читайте в следующем выпуске анонса «УС»-91.

АНОНС

Рисунок Евгении СТЕРЛИГОВОЙ

